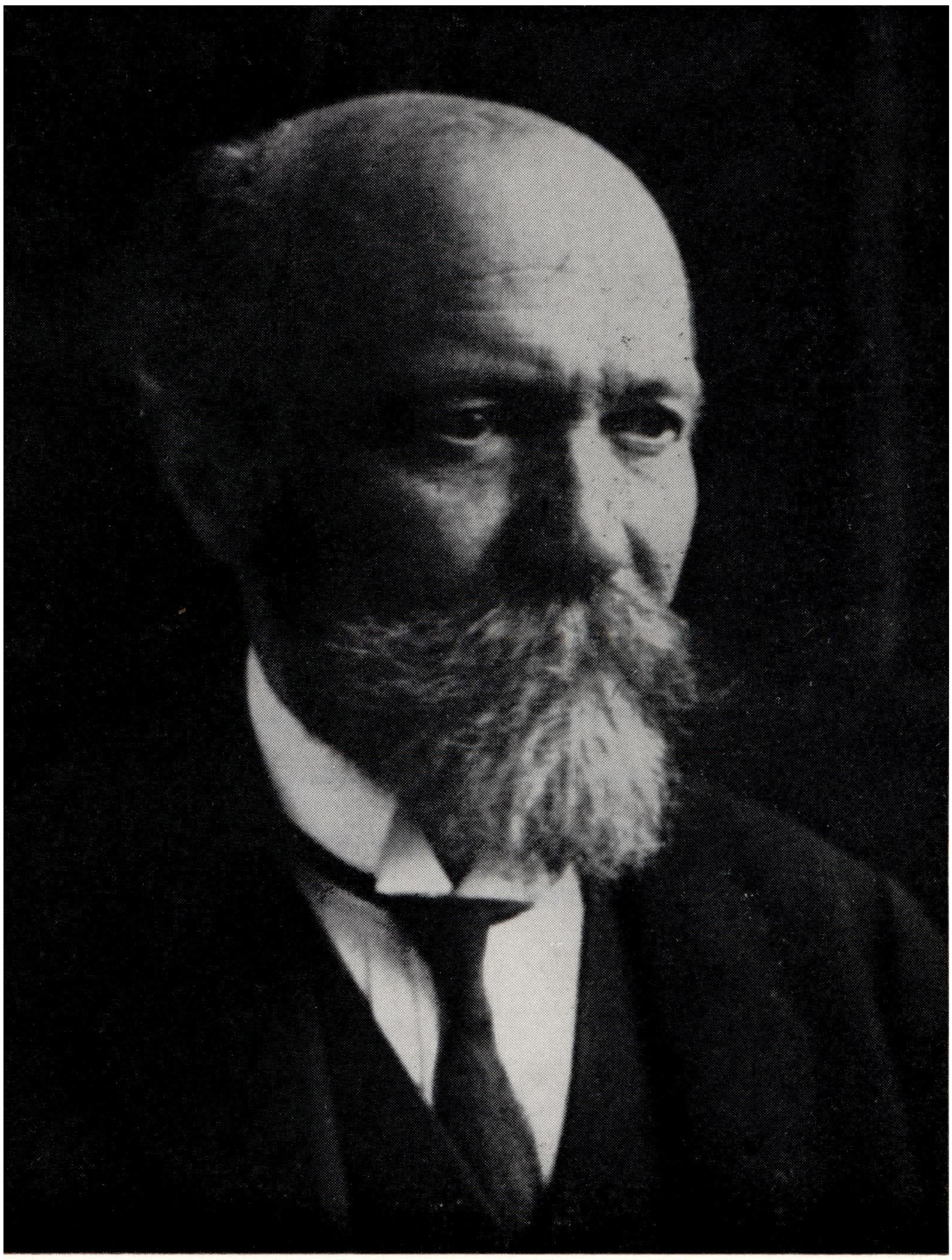
SLAVISCHE PROPYLÄEN

TEXTE IN NEU- UND NACHDRUCKEN

Herausgegeben von Dmitrij Tschižewskij
in Zusammenarbeit mit Dietrich Gerhardt,
Ludolf Müller, Alfred Rammelmeyer
und Linda Sadnik-Aitzetmüller

Band 43 · 1968



N. Lossky.

Н. О. Лосский

ВОСПОМИНАНИЯ

Жизнь и философский путь

N. O. Losskij

ERINNERUNGEN

Lebensweg eines Philosophen

Mit einem Vorwort und Anmerkungen

herausgegeben von

B. N. LOSSKY

WILHELM FINK VERLAG MÜNCHEN

© 1968 Wilhelm Fink Verlag, München-Allach
Satz: Setzmaschinenbetrieb Leo Andrejeff, München
Druck: Buchdruckerei Alexander Schadrow, München
Buchbindearbeiten: Verlagsbuchbinderei Simon Wappes, München

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие Б. Н. Лосского 7

Введение 9

1. Раннее детство в местечке Дагда 11

2. В витебской гимназии 25

3. Приключения за границею 49

4. Гимназия и университет в Петербурге 69

5. Ученая и общественная деятельность в Петербурге 100

6. Переход от теории знания к метафизике . . . 192

7. Революция 1917 года 201

8. В Праге (1922—1942) 222

9. В Братиславе 283

10. После войны 294

Примечания Б. Н. Лосского 321

ПРЕДИСЛОВИЕ

Трудно сказать, когда у моего отца зародилась и созрела мысль писать свою автобиографию или точнее, употребляя термин созданный Игорем Грабарем, свою *автомонографию*, каковою является ныне печатаемая книга.

По всей вероятности, осуществлять эту мысль начал он вскоре после возвращения, в 1933 году, из своего путешествия в Америку, во время ряда каникул, которые наша семья проводила с 1932 года до второй мировой войны на вилле Vinice у Высокого Мыта, в восточной Чехии. Во всяком случае, летом 1935 или, скорее, 1936 года отец прочел в семейном кругу (тогда состоявшем из бабушки М. Н. Стоюниной, матери, меня и младшего брата Андрея) три первые главы и может быть начало четвертой, не совсем доходя до «свадебного» 1902 года.

Тогда же отец попросил нас, доверяя особенно моей памяти, помочь ему выработать своего рода «хронологическую канву» для дальнейшего повествования, что и было сделано общими усилиями, путем установления списка летних каникул, проведенных нашей семьей в том или другом уголке русской или зарубежной земли от 1903 до 1935 года.

Как видно из текста воспоминаний, до писания о начале первой мировой войны отец дошел в августе 1938 года, когда встала угроза неминуемо надвигающейся новой катастрофы. Наверное в те же каникулы он и закончил обширную четвертую главу, доходящую до начала 1917 года. Сдавая теперь рукопись в печать, я нашел полезным разбить эту главу на две части, выделивши из нее главу пятую, под заглавием *Ученая и общественная жизнь в Петербурге.*

Следующую, шестую главу, посвященную его «философскому пути» за дореволюционное время, отец написал должно быть летом 1939 года. Предполагаю это, принимая во внимание тот же длинный формат бумаги и общий характер рукописи, перепечатанной на машин-

ке моею матерью, как и все предыдущие русские писания отца. Тот же формат бумаги продолжается до конца главы, то есть до 160 страницы рукописи. Глава седьмая, посвященная революционному пятилетию нашего существования, напечатанная на другой машинке и другой бумаге, была повидимому написана в Америке после 1946 года. Кончается она на 183-й странице, где рукою отца приписано: *Далее стр. 201.* Здесь возобновляется шрифт нашей старой машинки и начинается восьмая глава, о пражском двадцатилетии (1922—1942) жизни родителей, первые тринадцать страниц которой были по всей видимости написаны и перепечатаны между 1939 и 1942 годами. Эта часть прерывается на полфразе, в середине рассказа о С. В. Завадском, который продолжается уже на страницах снова американского формата. Думаю, что машинная переписка этой главы была прервана болезнью и смертью моей матери в начале 1943 года и возобновлена только после 1946 года в Америке. Вряд ли черновик воспоминаний продвинулся далеко во время пребывания моего отца в Словакии. Во всяком случае уже рассказ о чешском профессоре Радле, на 219 странице, писан после 1945 года, а на странице 236, где речь идет об о. Георгии Флоровском, сказано: «Пишу об этом летом 1951 г.». Приблизительно на уровне 1956 года прошлое сливается с настоящим и воспоминания переходят в хронику, которая обрывается в конце 1958 года.

После кончины отца, три первые главы Воспоминаний вышли, весною 1965 года, в форме ряда фельетонов в парижской газете *Русская мысль* и таким же образом увидели свет, год спустя, четвертая и пятая главы. Могу сказать, что эта публикация встретила большой успех у русских читателей. Вторая половина воспоминаний осталась в рукописи до печатания этой книги, издателям которой, а равно и их советнику профессору Дмитрию Ивановичу Чижевскому приношу от имени всего потомства Н. О. Лосского сердечное спасибо.

Борис Лосский.

Fontainebleau, 12 июня 1967 г.

ВВЕДЕНИЕ

«В доме Отца Моего обителей много», говорит Христос ученикам своим. И не только в Царстве Божием, а и здесь на земле обителей бесчисленное множество, и каждый из нас живет в той из них, которую он сам избрал себе. Если она неприглядна, не на кого пенять, кроме как на самого себя: тут же рядом стоящий человек видит совсем другое царство бытия, блещущее красками, полное жизни, богатой и разнообразной. Особенно дети спсообны проникать в сказочно прекрасные миры.

Когда мне было лет восемь-девять, я с своею матерью часто совершал прогулки по берегу реки или на холме над озером. Как прекрасна и сочна была глубинно-изумрудная зелень линтвы; краски всех предметов были не на поверхности их, а шли из глубины, просвечивая друг сквозь друга, как в морской волне. Теперь я редко вижу это эфирное великолепие природы. Только засыпая, в дремоте с закрытыми глазами случается иногда видеть такие образы, пронизанные чистым светом изнутри.

Став взрослым, я видел мир наяву в этом его глубинном аспекте только однажды в начале выздоровления от тифа. Мне перестилали постель, я подошел к окну и увидел яблони в саду; это было в июне, они уже отцвели, но ликующая яркость и свежесть их листвы была пронизана такою же чарующею жизненностью, как и весною, когда деревья покрыты цветами. На другое утро только что я открыл глаза дверь отворилась и в комнату вошла наша деревенская прислуга Настасья, женщина молодая, но грубоватая и неотесанная; однако теперь она мне показалась существом из какого-то другого, высшего мира, — ее тело не было плотным, твердым чурбаном; сотканное из света оно было лучистым, особенно лучезарны были волосы. Если бы мы видели всех людей в этом аспекте их бытия, сколько новой красоты открылось бы нам.

Стоявший передо мною дух, облегченный светом, явным образом не был существом совершенным, но какие великие возможности красоты и чистоты таились даже и в этом существе. Без сомнения, многие из них осуществлены жизнью благороднейших представителей человеческого рода. И если бы мы обладали полнотою видения, мы нашли бы и здесь на земле райские обители.

Художественное видение природы в блистательном великолепии ее жизни, столь обычное для меня в детстве, впоследствии ослабело, но искание выхода из обыденности и стремление к глубокому интимному общению с природою и миром, без которого невозможно духовное творчество, осталось подсознательным мотивом моей тяжелой борьбы в годы юности за право на духовную жизнь и повлияло на все развитие моих философских взглядов. В воспоминаниях своих я опущу очень многие подробности и буду сообщать лишь то, что может объяснить странные приключения моей юности и развитие моих философских учений.

Глава первая

РАННЕЕ ДЕТСТВО В МЕСТЕЧКЕ ДАГДА

Я родился в ночь с 6 на 7 декабря (старого стиля) 1870 года в местечке Креславка Двинского уезда (в то время Динабургского) Витебской губернии на берегу Западной Двины. Мой отец был в то время лесничим, но через два гдоа он переменил род службы, стал становым приставом, и вся наша семья переселилась в местечко Дагда на границе Двинского и Режицкого уезда[1].

Из жизни моей в Креславке мне известно только, что там я едва не погиб от ожогов: собака, пробегая мимо табурета, на котором стоял кипящий самовар, опрокинула его на меня и значительная часть моего тела была обварена кипятком.

В Дагде семья наша жила спокойно и мирно вплоть до кончины моего отца в 1881 г. Несмотря на преобладание в нас польской крови, мой отец и все мы дети сознавали себя русскими и были глубоко проникнуты русским национальным сознанием. Один из моих предков, Андрей Лосский, переселился уже в XVII в. из-под Кракова в Белоруссию[2]. По-видимому здесь род наш захудал; документов о принадлежности к дворянству у нас уже не оказалось. Дед мой Иван был униатским священником в местечке Усвят. Говорят, он был замучен польскими повстанцами в 1863 г. за то, что хорошо объяснял крестьянам значение манифеста об уничтожении крепостного права; они распяли его на кресте[3]. Женат он был, по-видимому, на русской, православной. Вероятно, поэтому отец мой Онуфрий (родился, кажется, в 1825 г.), и сестра его были православными. Сестры отца я никогда не видел; выйдя замуж за Бороздина, она жила всегда в Петербурге и рано умерла.

Мать моя Аделаида Антоновна, урожденная Пржиленцкая (род. 20 янв. 1838) была польского происхождения. Замуж

она вышла 14 янв. 1859 г. в возрасте 21 года; отец был старше ее лет на четырнадцать. Говорили, что в молодости моя мать была очень красива, да и в то время, о котором я рассказываю, красота ее еще не увяла. В моих глазах она всегда была самым красивым и привлекательным существом на земле. Кроткая, мечтательная, задумчивая, мать моя отдавала все свое свободное время чтению, но времени этого было мало, так как заботы о громадной семье были слишком многочисленны[4]. Нас было пятнадцать человек детей, девять братьев и шесть сестер.

Старшие носили имена необычные в русской семье: Валерьян, Витольд, Онуфрий (имя распространенное в Белоруссии и Галиции), Леопольд, Элеонора, Валентина; младшие большею частью получали имена, самые распространенные в русских семьях — Мария, Николай, Александр, Виктория, Владимир, Леонид, Аделаида, Вера, Иван.

Старшие обращались к родителям на Вы, младшие, начиная с меня, на ты.

Хотя семья наша была велика, я рос до поступления в гимназию одиноко, пользуясь лишь обществом своей матери. В самом деле, старшие братья Валерьян и Леопольд умерли вскоре после рождения, Витольд и Онуфрий учились в классической гимназии в Риге и приезжали только на каникулы. Валентина умерла вскоре после рождения, сестра Леля (Элеонора) проводила целые недели в имении Писаревых «Константиново» (в семи верстах от Дагды). Она училась там вместе с дочерью Писаревых у ее гувернанток и учителей. Сестра Маня была отдана на воспитание бездетной тетушке нашей Юлии Антоновне Оскерко, которая жила со своим мужем недалеко от нас в Великих Луках[5]. Младшие же сестры и братья были в то время слишком малы, чтобы быть мне товарищами.

Отец мой был страстный охотник, любитель веселой компании, хороший рассказчик охотничьих приключений и приключений по службе, любитель выпить в компании. Поэтому у нас было много знакомых, часто бывали гости. Особенно близка была к нам в это время польская семья помещика Дементия Осиповича Киборта, владельца красивого имения «Старая Мысль» в одной версте от Дагды. Жена Киборта Ядвига Себальдовна была стройная женщина, высокого ро-

ста с оригинальным красивым лицом. У нее был приятный голос. Как пылкая польская патриотка, она драматически исполняла гимн «Еще Польша не погибла» и «С дымом пожаров».* Первое мое воспоминание о ней связано с исполнением ею какого-то романса. Ее глубокий, проникнутый чувством голос, музыка, сопровождавшая ее пение, произвели на меня такое впечатление, что я заплакал. Хотя мне было тогда не более семи лет, она покорила мое воображение. Чувство, которое я стал питать к ней, несомненно была любовь. Я часто думал о ней. Когда мне случалось читать красивое стихотворение, я начинал декламировать его, мысленно обращаясь к ней.

У Кибортов был сын Владислав, мой сверстник, и дочери Геля, Зося, Ядвига. С милою семьею этой мы часто устраивали совместные прогулки, «маевки». Запрягались лошади, забирались вкусные угощения, самовар и мы отправлялись в какое-нибудь красивое место на берег озера, на гору, в леса. С наступлением сумерек зажигали костер. Когда на него наваливали гору сухого можжевельника, восхитительный столб пламени вздымался вверх выше самых высоких берез и в нем кружились сверкающие искры, точно звезды, прилетевшие с неба.

Особенно хороши были поездки на озера для ночной ловли раков. Темною ночью, в тихую погоду, когда вода не шелохнется, раки лежат на песчаных отмелях под водою на глубине каких-нибудь пол-аршина. Сняв обувь, засучив штаны выше колен, с зажженною лучиною в руках тихо бредешь по воде и пристально смотришь на дно: вот неподвижно лежит, распластавшись на песке, большой рак; тихонько, чтобы не всплеснуть водою, опускаешь руку, медленно приближая ее ко дну, — цап! — хватаешь рака за туловище: он мотает большими клешнями вверх и вниз, взад и вперед, но не может достать руки и попадает в мешок, привязанный к поясу ловца[6].

Другая семья, с которою у нас были живые приятельские сношения, жила в семи верстах от нас тоже в живописном имении «Константиново». Принадлежало оно Леониду Ива-

---

* „Jeszcze Polska nie zginęła"; „Z dymem pożarów".

новичу Писареву, внушительная красивая наружность которого производила на меня большое впечатление. Писарев и его старший сын лет восемнадцати очень любили охоту, как и мой отец. Дочь Любовь была сверстницею моей сестры Лели. Мальчики Петя, Паша, Лева по возрасту подходили ко мне. Хотя хозяйка дома была урожденная баронесса Бер из Прибалтики, дух семьи был чисто русский; семья Писаревых вела красивую жизнь культурного русского дворянства.

Отец и старший сын, любя охоту, любили вместе с тем географию, чтение и беседы о дальних странах. У них были хорошие карты, атласы. В одно из наших посещений мы, младшие дети, начали играть в прятки. Петя втолкнул меня в кабинет отца, чтобы хорошенько спрятать меня. Там в это время Леонид Иванович со старшим сыном чистили свои двустволки и беседовали, по-видимому, об Африке. На столе перед ними лежал раскрытый атлас, изящные карты которого притягивали меня к себе. К серьезным разговорам старших я всегда любил прислушиваться. «Килиманджаро — самая высокая гора в Африке» долетело до моего слуха, когда я забивался куда-то за шкаф. Странные звуки названия глубоко врезались в мою память и чрезвычайно заинтересовали меня.

Любознательность моя была велика. Неудивительно поэтому, что следя за обучением старшей сестры, я самостоятельно научился читать и жадно стал поглощать все книги, попадавшиеся под руку. Знакомый молодой еврей, приезжавший в Дагду из какого-то города к родным и выделявшийся в нашем местечке своею культурностью и щеголеватым видом, «шейне морейне», как называют на жаргоне таких лиц, дал мне почитать Робинзона Крузоэ. Эта книга произвела на меня волшебное впечатление; несколько дней я ходил как зачарованный.

Попадались мне иногда детские журналы того времени. В одном из них очень понравился мне рассказ, героями которого были мальчики, ведшие бодрую, энергичную жизнь в Канаде. С тех пор эта страна казалась мне всегда особенно привлекательною. Мальчики эти весною пробуравливали кору берез, подставлялси жолоб для стекавшего изнутри дерева сладкого сока и пили его. И у нас в окрестностях Дагды

собирали этот сок в кувшины, и я пил его, но канадский сок был мне вкуснее.

Смутно вспоминается и до сих пор какой-то рассказ из малороссийской жизни; в нем видную роль играл бандурист и описана была, кажется, гибель какой-то девушки. Рассказ этот положил в моей душе основание для того поэтического представления о Малороссии, которое под влиянием опыта дальнейшей жизни еще более развивалось и крепло.

Для многих русских Малороссия — самая поэтичная и привлекательная часть России. Нравятся белые хаты среди зеленой листвы деревьев и цветов, нравятся песни, проникнутые глубоким чувством, влечет к себе остроумие, веселость и добродушие населения. Немалое значение имеет и то, что здесь положено было начало русскому государству. Поэтому встреча с украинскими сепаратистами, ненавидящими Россию, изумляет русского человека и глубоко ранит сердце его. Представляется непонятным их искаженное понимание начала русской истории; чувствуется как нечто нравственно предосудительное, предпочтение ими провинциальных обособленных ценностей совместному творчеству всех трех ветвей русского народа, создавшего великую державу с мировою культурою.

Самая замена многозначительного имени Малороссия именем Украина (то есть окраина) производит впечатление утраты какой-то великой ценности: слово Малороссия означает первоначально *основная* Россия в отличие от приросших к ней впоследствии провинций, составивших большую Россию* (точно так же часто, говоря о больших столичных городах, о Париже, Лондоне и т. д., говорят о центральном *малом* Париже, Лондоне и т. д. в отличие от *большого* Парижа, то есть города вместе с тяготеющими к нему пригородами).

Большим удовольствием для всей семьи были приезды из Риги старших детей Витольда и Онуфрия на Рождественские и летние каникулы. Особенно привлекал меня к себе брат Витольд своим серьезным, несколько меланхолическим

---

* Названия mikra Rosia и megale Rosia появились впервые в Византии.

характером и добротою, чертами, сходными с характером нашей матери. Я знал, что он хорошо пишет русские сочинения и любит науку.

Брат Онуфрий, Антя, как его звали уменьшительным именем, своею живостью, веселостью и общительностью более походил на отца. Братья читали матери вслух русских классиков, Гоголя, новые произведения Тургенева и т. п. Это чтение производило на меня большое впечатление особенно тогда, когда читалось произведение, близкое моему пониманию, например, «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Как-то попались мне в руки «Отечественные записки» с романом Кущевского «Николай Негорев». Рассуждение Негорева о том, что может быть каждая пылинка, играющая в солнечном луче, есть целый мир с своим населением, городами, историею, глубоко запало мне в душу.

Вероятно, мне был девятый год, когда я прочитал статью Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости». Статья попала на подготовленную почву. Перед тем во время русско-турецкой войны 1877—78 гг. я нередко читал своей двоюродной бабушке сообщения с театра войны в «Правительственном Вестнике». Моя любовь к России, гордость ею, вера в ее великие достоинства прочно сложилась в моей душе уже тогда. Это сказывалось даже в моих детских играх. В длинные зимние вечера, сидя рядом с матерью, я брал иногда свою грифельную доску и чертил на ней фантастические границы России, а рядом с нею какие-то воображаемые государства. Потом в моем воображении разыгрывалась история войн и добровольных присоединений, Российская империя все разросталась и, наконец, поглощала все.

Православный храм был от нас далеко, в 27-ми верстах в Креславке. Впервые я побывал в нем сознательно лишь когда мне было уже десять лет. Но зато у нас в Дагде был прекрасный каменный католический костел. По воскресеньям мы с матерью — она была католичка — ходили туда слушать мессу. Благодаря этим впечатлениям детства и глубокой религиозности матери мне доступна интимная сторона не только православного, но и католического богослужения.

Глубокое впечатление производило торжественное молчание в момент пресуществления и повторные настойчивые звонки колокольчика. Импонировала величественная латин-

ская речь. Храм был полон народа; большею частью это были крестьяне и крестьянки из соседних деревень, небольшое количество поляков, остальные — латыши. Трогательно было участие всего народа в богослужении: ответы хором на некоторые возгласы ксендза и пение гимнов всеми молящимися. Иногда резкий высокий голос какой-либо бабы слишком выделялся, покрывая все остальные и нарушая гармонию. Тогда швейцар протягивал над молящимися свою длинную булаву и, слегка коснувшись ею головы увлекшейся певицы, умерял ее усердие.

Посещения знакомых ксендзов и поездки к ним доставляли большое удовольствие: привлекательна была их образованность, культурность, умение держать себя в обществе. Особенно нравился мне своим остроумием и веселым нравом ксендз, живший в семи верстах от нас в местечке Осунь.

Никаких неудобств и соблазнов оттого, что мать была католичкою, а отец и все дети православными, не было. К благочестивому и кроткому Креславскому священнику отцу Иоанну Гнедовскому мать наша и все мы питали глубокое уважение и любовь. С семьею его, когда мы и они впоследствии жили в Витебске, мы были дружны. Мать бывала иногда в православной церкви, как и мы не отказывались посещать при случае костел.

В моей детской религиозности тягостною стороною был мучительный страх ада и адских мук. Иногда после вечерней молитвы перед засыпанием придет в голову мысль о гре-, хах, и ужас перед возможностью вечного жестокого наказания за них охватывает душу с потрясающею силою. Не знаю, что́ было источником этих представлений об аде. Может быть, рассказы о дьяволе, о привидениях и о всяких страшных вещах, которые мы слышали от прислуги, когда в осенние вечера сидели вокруг стола и занимались шинкованием капусты, готовя запасы ее на зиму, а в длинные зимние вечера расщипывали перья, гусиные и куриные, для набивки ими подушек.

Видное место в укладе жизни нашего местечка и среди впечатлений моего детства занимали евреи. В Дагде, как и во всех местечках и городах Белоруссии, они составляли, пожалуй, более 50 процентов обитателей: почти все лавочники и ремесленники были евреи. Привлекали к себе своеобразие

их быта и наружности, живость характера, интенсивность умственной жизни, наличие духовных интересов вообще. В нашем захолустье многие из них носили еще пейсы (длинные волосы на висках).

Сильное впечатление производила их страстная, настойчивая молитва в синагоге. Подстрекали любопытство праздники, например, праздник Кущей, когда они жили в шатрах из древесных ветвей. Пасха, когда евреи пекли мацу (пресные сухие пластинки, испеченные из белой муки) и давали ее также дружески расположенным к ним христианам. Очень нравилось нам, детям, также еврейское лакомство фарфольки (шарики, испеченные из белой муки, с медом и инбирем). Когда наступал Иом-Кипур, день покаяния, они выходили на реку, ручьи, жалостно молились, становились на камни над водою и отряхивали с себя грехи. Был еще осенью какой-то праздник, когда евреи безумно веселились, в общем всегда трезвые, напивались в этот день вина и совершали нелепые шалости, например, пожилой человек способен был верхом на палочке пробежать по улице и т. п.

Отношения у нас с евреями были хорошие; мать наша вообще проявляла большую доброту ко всем людям, а отец считался человеком справедливым. Бóльшая часть покупок производилась в лавке еврея Гильки на книжку. В конце месяца он являлся к матери для расчета. Приятно было видеть этого серьезного почтенного старика о котором мать говорила, что он человек честный и добросовестный.

Все эти впечатления детства поселили в моей душе симпатии к столь часто гонимому еврейскому народу, недостатки которого всем известны, а достоинства учитываются не в достаточной мере.

Летом бóльшую часть дня я проводил в саду и огороде. Любимым моим занятием были самодельные опыты с растениями. Я устраивал грядки, на которые пересаживал различные травы, заботясь о том, чтобы они прижили, несмотря на перемещение; срезал верхушку какого-нибудь растения, например, лебеды, стараясь заставить его ветвиться и т. п.

Величайшим удовольствием были для меня прогулки с матерью по красивым местам в окрестностях Дагды. Подолгу сидели мы с нею, например, на горе над озером по дороге

в местечко Осунь, овеянные ароматом чабреца и других трав, любуясь чудным пейзажем.

На десятом году моей жизни отец, выезжая на охоту на тетеревов, куропаток стал брать и меня с собой. Блуждание по зарослям кустарников и лесам и вся обстановка охоты чрезвычайно понравилась мне. Умная лягавая собака наша, пойнтер «Норма», обладавшая превосходным чутьем, быстро находила след дичи. Вот она осторожно ведет нас за собою и вдруг замирает, делая стойку. «Пиль», командует отец, она бросается вперед и с шумом вылетает из травы целый выводок тетеревов. «Паф, паф!» раздаются два выстрела чаще всего без промаха и два тетерева отправляются в охотничью сумку отца.

Привлекаемые общительным нравом отца, его хлебосольством и, главное, превосходными охотами, которые он умел устраивать, к нам приезжали знакомые иногда издалека и гостили по несколько дней. Особенно вспоминаются мне лесничий из Креславки Мухин, производивший на меня сильное впечатление своею красотою, судебный следователь из Креславки Малянтович.

Приехал к нам однажды из Москвы Перфильев, сын какого-то сановника. Как-то летом у нас побывал молодой красивый Лев Николаевич Лосский, в то время студент юридического факультета, впоследствии видный присяжный поверенный в Петербурге. Его мать, вдова, Сусанна Мартыновна жила в своем небольшом имении в Полоцком уезде. Лев Николаевич несомненно приходился нам родственником, но родство было столь отдаленное, что степень его нам не удалось установить. Впоследствии, когда семья его стала играть большую роль в моей жизни, я условно считался его племянником.

Большим удовольствием бывал для меня ежемесячный приезд из Двинска доктора (врача) Диттриха, чрезвычайно полного добродушного немца. Он особенно любил меня и баловал, привозил множество самых разнообразных сластей и игрушек.

Беседа взрослых всегда очень интересовала меня; особенно любил я рассказы о служебных и охотничьих приключениях. Забившись куда-нибудь в уголок, я жадно слушал их, и большим огорчением было для меня, когда отец, заметив

меня, заставлял выступить перед гостями и декламировать басни Крылова, которые он очень любил, или какое-либо стихотворение. Я был мучительно застенчив и выступать в роли, обращающей на себя внимание, для меня было крайне тягостно.

Служба отца бывала иногда источником сильных впечатлений. Однажды вечером у нас были гости, мирно сидели за ломберным столом и играли в преферанс. Вдруг с мельницы, арендатором которой был латыш или эстонец Т., прибежала прислуга сообщить отцу о только что совершенном преступлении. У сына мельника, молодого человека, был какой-то роман с местной мещанкою; влюбленная в него девица в припадке ревности бросилась на него и острою бритвою отрезала ему нос. Через час мой отец вернулся с мельницы и рассказывал, что он застал молодого человека расхаживающим по комнате, прикрывая рукой нос, из которого хлестала кровь. Призвали фельдшера подать ему помощь. Через несколько дней он уехал в Германию в Кенигсберг, где, кажется, из его кожи со лба ему сделали нос; конечно, цвет и форма этого носа были не вполне удовлетворительны.

В 1879—80 гг. стали учащаться дерзкие кражи и разбои, иногда сопровождавшиеся убийствами. В наших краях начала действовать смелая шайка разбойников. Отцу донесли, что два главаря этой шайки прячутся в одном лесном фольварке (хуторе). Снарядив облаву, взяв с собою револьвер и зарядив двустволку пулею, как для охоты на волка, отец ночью отправился в указанное место. Дело было зимою, начинало светать. Когда полиция стала окружать дом, разбойники выскочили из него и бросились убегать.

Один из них, дюжий, рослый мужчина огромной силы в больших валенках, тяжело завязал в снегу; видя настигающую погоню, он стал вытаскивать револьвер, котроый както запутался; разбойник был скоро обнаружен и связан. Его товарищ, худощавый и молодой, большими прыжками быстро удалялся от погони и приближался к лесу. Увидев, что опасный преступник неминуемо уйдет, отец, уверенный в меткости своей стрельбы, прицелился ему в ногу и подстрелил его, после чего он легко был взят. Утром сани участников погони подъехали к нашему дому. Я выглянул в окно. Подстреленный преступник лежал в санях на животе и смот-

рел исподлобья. До сих пор не могу забыть его волчьего взгляда.

По закону отец не имел права стрелять в убегающего преступника сзади. Поэтому, несмотря на блестящий успех своей экспедиции, захватившей действительно опасных преступников, совершивших немало убийств и грабежей, он опасался взыскания. В действительности, однако, он получил награду, орден Станислава третьей степени.

Весною 1879 г. семью нашу постигло страшное горе. Старший брат Витольд, вообще хорошо учившийся, получил перед переходом в 7-ой класс у преподавателя Янчевецкого двойку по латыни. Говорят, учитель этот потребовал от брата, чтобы он сообщал ему, кто из его товарищей курит и ведет себя плохо. Витольд был возмущен этим требованием, а учитель отомстил ему, поставив дурную отметку.

По-видимому, несправедливость учителя была лишь последним толчком к созревшему у Витольда раньше решению совершить самоубийство. Возможно, что у него была склонность заболеть меланхолиею. 24 марта он выстрелил из револьвера в сердце и тяжело ранил себя. Как только получилась телеграмма об этом из Риги, отец поехал туда и застал его еще живым. Ему уже не хотелось умирать, но спасти его было невозможно, и 26-го марта он умер. Перед совершением самоубийства он написал семье письмо, которое начиналось словами: «Не двойка Янчевецкого — причина моей смерти...» и кончалось просьбою «Молитесь обо мне...». Только это начало и конец сохранились в моей памяти.

Когда получилось от отца известие о кончине брата, горю нашему не было пределов. Я сказал матери: «Верно, мы согрешили». Отец, бурно переживавший все события жизни, перемогал себя, бодро продолжал свою служебную деятельность и резко осуждал такой поступок, как самоубийство. Однако, жизненные силы его были, по-видимому, подорваны этим несчастьем.

Брат Онуфрий не захотел продолжать учения в классической гимназии в Риге и поступил в кадетский корпус в Полоцке.

В конце лета того же года моя мать поехала в Ригу помолиться на могиле Витольда и взяла меня с собою. Как ни велико было наше горе, поездка в большой приморский го-

род чрезвычайно интересовала меня. В воображении Рига представлялась мне пышным городом, состоящим из мраморных храмов и дворцов. Образцом для моих фантазий отчасти служили древние Афины: я к этому времени уже успел прочитать какой-то учебник по древней истории. Действительность оказалась, конечно, гораздо более скромною, но зато большое впечатление произвела на меня природа: грандиозное устье Западной Двины и бесконечная ширь моря, на песчаном берегу которого в Дуббельне мы провели несколько дней.

Настало особенно тревожное время царствования императора Александра II. Покушения следовали за покушениями. Я читал сообщения о них в «Правительственном Вестнике». Мне случилось однажды слышать беседу отца с матерью о том, что получен циркуляр о «злонамеренных лицах». Обмениваясь мнениями по этому поводу, они говорили о комто, кажется о какой-то акушерке, что она, пожалуй, принадлежит к числу таких злонамеренных лиц. Отец волновался. Он очень любил Государя, высоко ценя его реформы и будучи верным слугою государства. После волнующих разговоров ночью он иногда внезапно просыпался и садился на кровати. Он говорил, что ему нехорошо, что он чувствует какой-то жар в груди.

Случилось как-то, что вор, посаженный в «темную» при волостном правлении и предназначенный к отправке в Двинск, пользуясь небрежностью урядника или десятских, убежал ночью, но утром его поймали. Это было 16 февраля 1881 г. Отец пошел в волостное правление и, будучи чрезвычайно вспыльчивым, в сильном гневе начал распекать небрежного подчиненного. Внезапно ему сделалось дурно. Тотчас же прибыл фельдшер, пустил ему кровь, но кровь уже не пошла: отец скоропостижно скончался от разрыва аорты.

Когда кто-то прибежал и сообщил нам о кончине отца, первая мысль, пришедшая мне в голову, была, что это бунт, что отец убит «злонамеренными» лицами. Я бросился в волостное правление. Отец мой лежал мертвый, на руке его была тонкая струйка крови в том месте, где фельдшер пытался сделать кровопускание. Тело его на насилках перенесли в наш дом. До сих пор стоят в ушах моих рыдания матери. С гробом отца мы поехали в Креславку. Его хоро-

нил друг нашей семьи отец Иоанн Гнедовский. Потрясающее впечатление произвели на меня удары комьев земли о крышку гроба, когда стали закапывать могилу.

Не прошло и двух недель, как получилось известие о гибели государя Александра II, о том возмутительном политическом преступлении, которое, может быть, только теперь искуплено тяжелыми страданиями всего русского народа. Люди, знавшие взгляды и характер моего отца, говорили: «Хорошо, что Онуфрий Иванович не дожил до этого времени: слишком тяжело было бы ему переносить этот удар». Помню и я свою печаль, хотя мне было всего лишь десять лет.

Приехал новый становой пристав. Его дети, как догадываюсь я теперь, были увлечены политическим движением тогдашней молодежи. У них был журнал «Дело». Дочь училась на фельдшерских курсах, а сын был студентом-медиком Московского университета. Мне попались в руки привезенные им лекции по физиологии с описанием научных экспериментов над кроликами, которые очень заинтересовали меня.

Положение моей матери, у которой осталась на руках огромная семья, было чрезвычайно тяжелое: нас было девять детей, четверо мальчиков и пять девочек, моложе меня было пять детей, самому младшему, Ване, было всего лишь три месяца. Витебский губернатор фон-Валь выхлопотал моей матери за продолжительную (более тридцати лет) и усердную службу отца усиленную пенсию: двадцать пять рублей в месяц. Кроме того, у матери был крошечный доход с маленького имения Семеново (60 десятин), находившегося в Невельском уезде, и хутора Янаревка (кажется, 30 десятин), сдаваемых в аренду.

Наша кроткая, тихая, застенчивая мать поставила себе задачею, несмотря на скудность наших средств, дать по возможности высшее образование всем своим детям и достигла этой цели, проявив изумительную настойчивость и умение экономно вести хозяйство. Конечно, это удалось еще и потому, что русское государство оказывало содействие лицам, стремящимся получить образование. Брат Онуфрий учился на казенный счет в Полоцком корпусе и закончил свое образование в Михайловском Артиллерийском училище в Петер-

бурге. Сестра Мария жила у тетушки в Великих Луках и там поступила в гимназию.

Решено было, что мать с младшими детьми останется еще на год в Дагде, а потом для нашего образования переедет в Витебск. Сестра Элеонора должна была в течение этого года остаться у Писаревых и продолжать домашнее образование вместе с их дочерью Любовью. Что же касается меня, мать сама подготовила меня к экзамену в первый класс Витебской классической гимназии и выхлопотала принятие меня в конвикт (общежитие), содержавшийся за счет графов Шадурского и Закржевского.

В августе 1881 г. мать повезла меня в Витебск.

Глава вторая

В ВИТЕБСКОЙ ГИМНАЗИИ

Экзамены в первый класс Витебской классической гимназии я сдал хорошо и был принят в закрытый пансион (конвикт)[7]. Он помещался в трехэтажном здании рядом с гимназиею. В нем содержалось до сорока воспитанников. В верхнем этаже были спальни, а в среднем — две «занятные» комнаты для старших и младших учеников, где мы готовили уроки и проводили весь день, кроме часов игр во дворе, площадь которого была очень велика; в нижнем этаже помещалась столовая и квартира надзирателя.

Мать моя очень скоро уехала домой, и я остался один в среде, крайне чуждой и тягостной для меня. Сверстники мои были в большинстве дерзкие сорванцы. Грубые и нередко жестокие шутки их возмущали меня до глубины души. На меня они сразу набросились. Внешний вид мой, праздничный костюм с короткими штанами, соломенная шляпа с ленточками (в первые дни до получения казенного форменного платья), моя застенчивость и деликатность подстрекали шалунов к нападению на меня. Шляпу мою они назвали «брилем» и меня стали звать «брилютером». Мое мягкое произношение некоторых звуков (например, что — чьто) они стали передразнивать.

Умный и бойкий, но дерзкий мальчик Иодко подходил ко мне и спрашивал: «Умеешь играть на скрипке?» — «Нет». «Я тебя научу. Согни палец». Я сгибаю палец, он схватывает его и сильно прижимает верхний сустав к нижнему, боль получается невыносимая, стон вырывается из моей груди. «Вот видишь, ты и заиграл на скрипке», смеется мой мучитель, а я понять не могу, как можно решиться причинять такие мучения своему ближнему, и товарищи мои начинают казаться мне существами с другой планеты. «Знаешь ты, где живет

доктор Ай?» спрашивает меня другой сорванец. «Нет». Он схватывает у меня клок волос на затылке и дергает снизу вверх изо всей силы. «Ай!» кричу я. «Ну, вот теперь ты узнал, где живет доктор Ай». Мой сосед в спальне, умный, живой Ромуальд Пржевальский, раздеваясь, ударил меня по лицу грязными потными носками, что было непереносимо отвратительно. Иногда я начинал плакать, но слезы вызывали такой град насмешек — «баба», «плакса», что я скоро отучился плакать, как и все почти мальчики.

В первые же дни товарищи стали объяснять мне сущность половых отношений. Я усомнился в правильности их сведений. Когда кто-то из них заявил мне, что и я таким же способом появился на свет, я возмутился и вызвал оскорбителя на дуэль, что́ еще более насмешило мальчуганов. С видом глубокого убеждения я стал уверять их, что дети «не всегда зарождаются таким способом», как они говорят: иногда это происходит от поцелуев. Кажется, моя уверенность подействовала на некоторых более скромных мальчиков.

В течение первых двух-трех лет, в 1881—1883 гг., попадались еще среди учеников третьего и четвертого классов великовозрастные верзилы, высокого роста почти уже сложившиеся мужчины. Потом они как-то повывелись, и среда стала более однородною. Из учеников старших классов в конвикте обращал на себя внимание Лев Иосифович Петражицкий, будущий профессор Петербургского университета. Когда я поступил в первый класс, он был уже в VIII классе. Бледный, худощавый юноша, он был всегда серьезен и внушал к себе уважение; иногда, случайно проходя и увидев какую-нибудь особенно возмутительную шалость, он спокойным тоном делал замечание, несколько сдерживавшее сорванцов.

В 1881 г. в двух отделениях первого класса гимназии было приблизительно девяносто учеников. Я был во втором отделении. Из первого отделения я с самого начала познакомился с Николаем (Васильевичем) Тесленко, впоследствии известным присяжным поверенным и политическим деятелем, и с Заблоцким, будущим врачом. Как люди состоятельные, они жили не в конвикте, а у своих родных. Начиная с V класса, я учился с ними вместе, так как в V классе число учеников было уже невелико и класс был один. Режим клас-

сических гимназий, особенно в Западном крае, был такой свирепый, что из девяноста мальчиков, поступивших в первый класс в 1881 г., через восемь лет, то есть весною 1889 г. окончило курс без всяких задержек по пути только двое: Тесленко и Заблоцкий. Остальные или оставались хотя бы один раз на второй год в каком-либо классе, или были удалены, или сами покинули гимназию.

Учение в гимназии в общем было малоинтересное. Нас душили латынью, неинтересной потому, что все внимание было сосредоточено на грамматике, а не на культуре и литературе античного мира. В первом классе было восемь уроков латинского языка в неделю. Преподаватель русского языка, кажется, Антонович, вел уроки занимательно и содержательно, но он вскоре уехал из Витебска.

Превосходны были уроки немецкого языка у Александра Ивановича Баденди́ка. Он был ученый, любящий языкознание вообще. От него мы получали ценные сведения не только о немецком, но и о русском языке. Говорил он по-русски безукоризненно правильно, был человеком справедливым до щепетильности, мужественно отстаивал свое мнение в педагогическом совете и пользовался всеобщим уважением даже среди гимназистов-сорванцов. Кажется, он был голландского происхождения. Баденди́к был человек холостой лет сорока. Вместе с учительницею немецкого языка женской гимназии Мариею Васильевной Шабер он нанимал домик, окруженный садом. В этом саду Баденди́к сам работал, прищеплял фруктовые деревья и т. п. Мария Васильевна была добродушная полная немка, веселая и живая, тоже лет сорока. П-орусски она говорила нередко с комическими ошибками, например, «прислуга у меня хорошая: и чистая, и плотная» вместо чистоплотная. Она была вдова, у нее была взрослая дочь, которая вскоре вышла замуж.

Мать моя каким-то образом была издавна знакома с Марией Васильевною. Отдавая меня в гимназию, она пошла к ней вместе со мною. М. В. Шабер и Баденди́к любили детей; они предложили мне приходить к ним из конвикта в отпуск по субботам и воскресеньям. Общение с этими добрыми, культурными людьми было для меня отдыхом от конвикта. Когда я уходил от них в воскресенье вечером, они мне давали кучу сластей на целую неделю.

Вообще я делился этими подарками со своими товарищами, но однажды, получив между прочим засахаренные яблоки, я засунул их под подушку и ел понемногу один. Товарищи это подсмотрели и утащили мое сокровище. Придя вечером в спальню и не найдя пакетика с яблоками, я был так возмущен, что решился в первый и, конечно, в последний раз в жизни пожаловаться надзирателю: в добольшевицкой России жалоба начальству, донос, «ябедничество», как известно, считалось делом презренным: чувство товарищеской солидарности было очень развито.

Надзиратель пришел со мною вместе в спальню. Мои соседи по кровати, конечно, стали заявлять, что они знать ничего не знают, ведать не ведают. «Может быть он сам куда-нибудь засунул свои яблоки, да и забыл», сказал Иодко. Они подняли мою подушку, потом тюфак, — под ним оказался пакет с яблоками. Надзиратель повернулся и ушел, а я подавленный смущением и униженный насмешками товарищей, готов был провалиться сквозь землю.

Надзиратель наш был горький пьяница. Напивался он, вероятно, по ночам: днем незаметно было, чтобы он находился в ненормальном состоянии. Настал, однако, день, когда у него началась белая горячка. Он лежал с пеною на губах. Воспитанники толпились у открытой двери его комнаты. Он был увезен в больницу и по выздоровлении не вернулся к нам. На его место был назначен Яков Иванович Лепко, старик лет шестидесяти или более, вдовец. Для роли воспитателя он годился еще менее, чем предыдущий. Он любил скабрезные анекдоты. Обходя спальни вечером, когда мы уже раздевались, он любил присесть на край кровати воспитанника и, ведя шутливый разговор, просунуть руку под одеяло и потрепать мальчика ладонью пониже спины. Лицо у него было довольно приятное, но несколько напоминающее старый гриб; если бы несколько усилить степень разложения, увеличить его кадык, мешки под глазами, то он стал бы похож на Федора Павловича Карамазова.

Шалили мы при нем очень дерзко. Например, перед сном, когда уже мы были раздеты, у нас начиналась война подушками. Мы делились на две партии. Во главе одной предводителем был Мурзич. Это был мальчик, смелый до дерзости, сильный, ловкий, умный и волевой. Он пользвоался большим

влиянием в классе и был коноводом. Во главе другой партии становился тоже какой-либо сильный и ловкий мальчик, например Сохачевский. Он был родом из Креславки, как и я, учился не особенно хорошо и славился, как великолепный плавец в саженки. Красивое зрелище было, когда он выплывал на середину широкой Двины, выбрасывая то правую, то левую руку, быстро подвигаясь вперед после каждого четкого удара ладонью о воду и выскакивая из воды так, что вся грудь была видна.

Битва подушками была очень оживленною. По условному знаку начинался бой. Стоя на своих кроватях в нижнем белье, мы начинали тузить друг друга подушками по голове, туловищу, ногам. Сраженные падали на кровать или проходы между кроватями, ловкий противник устраивал засаду и нападал сзади. Криков было мало, но топот ног и шум падений был такой, что звуки доносились до нижнего этажа. Поэтому на площадке лестницы стоял сторожевой и, наклонившись, смотрел на площадку первого этажа. Как только внизу появлялся Яков Иванович, иногда в нижнем белье, в калошах на босу ногу и начинал подниматься наверх, шагая через две, три ступени, сторожевой вбегал с криком «Лешко!»; мигом тушились огни, все прятались под одеяла и казалось спали мертвым сном, когда надзиратель входил в комнату. «Свиньи вы, тютьки вы!», начинал кричать Лешко, изрекая свое любимое ругательство; он подходил то к одной, то к другой постели, называя мальчиков по имени, но в ответ получал только сонное мычанье. Так ему и приходилось удаляться ни с чем.

Были шалости и более вредные. Мальчик Ярковский заболел какою-то легкою болезнью и несколько дней находился в особой комнате, в лазарете. Решено было подшутить над ним, напугать его ночью. У нас была складная шахматная доска. Согнув ее пополам и быстро двигая вверх и вниз пластинки ее, можно было получить странный, ни на что не похожий треск. Один из мальчиков в лунную ночь, укутавшись в простыню, подошел к стеклянной двери лазарета и затрещал доскою. Ярковский вскочил на постели и закричал «Иезус-Мария». Раздался еще громче треск, Ярковский отчаянным голосом закричал еще громче и упал на постель. Зажгли свечу, стали его успокаивать, он едва не потерял

Зажгли свечу, стали его успокаивать, так как он едва не потерял сознание от страха.

Курение было запрещено, но почти все курили. Я еще в семилетнем возрасте как-то взял дома окурок, зажег его и, втянув в себя дым, бросил папиросу, найдя, что курение вещь неприятная. Отец мой был страстным курильщиком, но считал это недостатком и очень не одобрял курение подростков. Однажды, когда мне было лет девять, он взял с меня честное слово, что до 16 лет я не буду курить. Слово это я сдержал; мало того, к шестнадцатилетнему возрасту во мне уже твердо укоренилось отвращение к курению и убеждение, что курение есть немаловажный порок.

Осенью 1882 г. моя мать со всеми детьми переехала из Дагды в Витебск. На окраине города она наняла маленький деревянный домик в три окна на улицу. Сестра Леля поступила в женскую гимназию ведомства Импер. Марии, а сестра Витя была принята в институт в Москве. Праздники я проводил теперь уже дома в семье. К сожалению, отношения мои к товарищам в конвикте испортились. У нас был обычай в случае ссоры заявлять: «Я с тобою не разговариваю». После этого все сношения между поссорившимися прекращались, они переставали замечать друг друга и такой разрыв мог продолжаться несколько дней, недель и более.

Не знаю почему, вследствие ли различия интересов, характера и т. п., у меня такие ссоры стали учащаться и кончилось дело тем, что у меня прекратились отношения со всеми мальчиками в нашей «занятной» комнате. Среди своих товарищей я жил в полном одиночестве, которое тяжело угнетало меня своею крайней ненормальностью. Живые предприимчивые мальчуганы, конечно, не оставляли меня в полном покое. Некоторые из них изощрялись в причинении мне мелких неприятностей; например, зная, что я брезглив, какой-либо мальчишка обмазывал край моего стола своими соплями. Молча, выносил я все такие обиды, никому не жалуясь, даже матери своей я не рассказывал о том, что происходило со мною в конвикте.

Также и гимназические дела мои ухудшились. Учился я в общем хорошо. Но латынь во втором классе так опротивела мне, что я получил за одну четверть двойку и с трудом после этого выправился настолько, чтобы не остаться на вто-

рой год в классе. Как скучно было у нас преподавание латыни, можно судить по следующему факту. Кажется, уже в третьем классе к нам в конвикт был принят Вильгельм Ланге (Василий Федорович Ланге, впоследствии ставший врачом). Он был мальчик тихий, хорошо воспитанный, скромный. Сидел он на парте в первом ряду. Однажды на уроке учителя латинского языка Кульчицкого в то время, как весь класс изнывал от скуки, слушая вялый перевод с латыни, производимый каким-то плохим учеником, Ланге вдруг бросил в Кульчицкого вставочку, находившуюся у него в руках и попал в руку учителя. Возможно, что бедный ребенок был доведен пустотою урока до состояния, близкого к потере сознания. Поступок его до такой степени не соответствовал его характеру и примерному до сих пор поведению, что педагогический совет замял это дело и подвергнул Ланге ничтожному взысканию.

Пребывая в полном одиночестве, не принимаемый в игры своих товарищей, я наполнял свободное время чтением. Большое удовольствие доставляло мне чтение путешествий наших выдающихся писателей. С увлечением читал я, например, «Письма русского путешественника» Карамзина, «Фрегат Паллада» Гончарова, «Корабль Ретвизан» Григоровича.

Глубокое утешение во всех своих бедах я находил в церкви. Свою детскую религиозность я сохранял в полной мере. Вечером перед сном я становился на колени и молился, что исполняли немногие из моих товарищей. Все православные гимназисты обязаны были являться в праздники в гимназическую церковь имени св. Сергия Радонежского на всенощную и на литургию. Церковь была типично православная, светлая, радостная, с благостными ликами Спасителя, Богоматери и Святых. Мы стояли чинно, рядами; паркет блестел, хорошо натертый. Гимназический хор пел красиво, исполняя песнопения и обиходным напевом и разучивая иногда произведения современных композиторов. Я внимательно следил за службою и хорошо знал порядок богослужения.

Тягостное одиночество мое длилось два года, во втором и третьем классе. Удивляюсь тому, как я вынес это без тяжелого душевного расстройства. Наконец, старшие воспитанники обратили внимание на это ненормальное положение и

стали убеждать моих товарщей прекратить ссору. Кажется, особенно повлиял на моих товарищей ученик шестого класса Шультецкий, который славился у нас, как выдающийся шахматист. Примирение состоялось, и с тех пор отношения мои с товарищами были вполне хороши.

На летние каникулы мы всею семьею ездили в имение «Горы» брата моей матери, Александра Антоновича Пржиленцкого. Мы нанимали в Витебске еврейскую «балаголу», большую телегу с парусиновым верхом на случай дождя и ехали в ней сто верст по шоссе до города Невеля: в то время еще не было железной дороги между этими городами.

Большое удовольствие доставляли на этом пути беседы с евреем извозчиком. Эти простые, необразованные люди проявляли напряженную умственную жизнь и наличие духовных интересов. Такой извозчик задавал нам иной раз замысловатую арифметическую задачу; когда я для решения ее составлял алгебраическое уравнение, он останавливал меня: «Нет, панич, ис алгеброю ви это легко решите; а вот ви спробуйте без алгебры». Или иной извозчик рассказывал о Талмуде и встречающихся в нем тонких различениях. Например, он ставил вопрос — ответствен ли человек, бросивший без всякого дурного умысла камень вверх, если этот камень, падая вниз, упадет кому-либо на голову и убьет его. Ответ был таков: если камень брошен вертикально, то ответственности за последствия нет, так как сила бросившего не участвует в ударе, нанесенном при падении, но если камень был брошен хотя бы немного наклонно, то доля ответственности падает на бросившего камень (его сила обуславливает горизонтальную слагаемую движения камня даже и при падении его вниз).

В Невеле нас встречали арендаторы из Семенова и Яначевки; они везли нас на двух телегах тридцать верст по проселочным дорогам до Гор.

Дядюшка наш, «дядя Саша», был болен тяжелою редко встречающеюся болезнью: у него был колтун, ногами он почти не владел, едва передвигаясь на костылях. Когда ему надо было взглянуть на работы на поле, он садился в ручную тележку и мы, племянники, вместе с его сыном Валерианом, моим сверстником, возили его. Дядюшка и его жена, Анна Даниловна, так любили своего Валю, что не реша-

лись расстаться с ним и посылать его на зиму в город учиться. Он получал домашнее образование у своего отца, был мальчиком умным и одаренным, но, живя всегда в деревне и общаясь главным образом с крестьянами, стал по кругу своих интересов и деятельности полукрестьянином.

Любовь моя к природе получала полное удовлетворение во время поездок в Горы. Шоссе от Витебска до Невеля идет мимо живописных озер. Верстах в тридцати от Невеля оно на протяжении четверти версты представляет собою узкий перешеек между двумя громадными озерами. Усадьба в имении «Горы» находится на вершине высокой горы. С крыльца дома открывался чудный вид на море лесов, а пройдя через маленькую березвоую рощицу сбоку дома, можно было любоваться другим обширным видом на луга, поля и леса с белою церковью, сверкающей на солнце верстах в тридцати на горизонте. Стоя на крыльце и восхищаясь картиною темного леса, я воскликнул: «Какая красота!». На это тетя Анета заметила: «Ну, что же ты нашел тут красивого; пойди в сад позади дома, там яблони, вишни, вот это красиво». Тетушка моя не читала Чернышевского и Писарева; у нее от природы было утилитарное понятие красоты.

В полутора верстах от Гор находилось тоже на высокой горе имение Воробьево. В нем жили двоюродная тетушка наша и многочисленные дети ее, наши троюродные братья и сестры Белинские. В имении этом была ветхая деревянная православная церковь и при ней кладбище. В Воробьеве нас особенно привлекали «пустоши»: это были дубовые леса с далеко отстоящими друг от друга деревьями, между которыми расстилался ковер чудных высоких трав. Не то лес, не то луга, это был красивый естественный парк.

Верстах в трех за Воробьевым находилось наше именьице Семеново. Оно было тоже красивое, но жить в нем летом мы не могли: деревянный барский дом сгнил и потолок в нем провалился. Далее, в пяти верстах находилось большое имение Петроково, принадлежащее Василию Леонтьевичу Тесленко. Там жили мои товарищи по гимназии Николай, Андрей и Александр и сестра их Елизавета, подруга моих сестер. В Петрокове, кроме сверстников, нас привлекали еще озеро с островом посреди него и чудный громадный сосновый бор. Еще дальше верстах в трех от Петрокова было

большое село Сокольники с красивою белою каменною церковью на горе.

Из Невельского уезда мы ездили иногда за сорок верст в город Великие Луки Псковской губ., где жила с своим мужем сестра моей матери Юлия Антоновна Оскерко. У них был небольшой, но хорошо обставленный дом в прекрасном саду, в котором работал сам наш дядя, энергичный старик с ярко выраженным холерическим темпераментом. У него была лечебная книга на русском языке конца XVIII или начала XIX века. Вечером, садясь за ужин, мы с ним почитывали эту книгу, стремясь найти руководство как следует питаться, чтобы быть здоровым и долговечным. Там мы нашли, например, указание, что хлебный мякиш содействует развитию меланхолического темперамента, а корка развивает холерический темперамент.

В блиставших чистотою комнатах дома тети Юлии, любившей педантический порядок настолько, что каждый стул должен был стоять на определенном месте в определенном положении, у трельяжа с цветами и плющом, окружавшими распятие, стояла полка с книгами. Среди них я нашел польскую книгу доктора Трипилина «Путешествие в воздушном шаре».* Заглавие ее заинтересовало меня, и я прочитал ее, обращаясь к тетушке за разъяснением тех немногих слов, которые оказались неизвестными мне. В общем я довольно хорошо понимал польскую речь, так как часто слышал ее в Дагде в семье Кибортов, и в Невельском уезде среди родных матери. После книги доктора Триплина польская литература стала мне вполне доступна, и я знал уже польский язык лучше своей матери, которая начинала забывать его.

Точно так же овладел я почти самостоятельно французским языком, найдя в нашем книжном шкафу несколько томиков Поль де Кока, легкий язык которого и занимательность игривых рассказов были очень удобны для первоначального чтения. Основы немецкого языка были даны нам превосходно на уроках Баденди́ка. Поэтому, будучи пятиклассником и проводя лето на кондиции в имении Новая Мысль, принадлежавшем немецкой семье Кори, родственни-

---

* „Podróż nadpowietrzna w balonie".

ков Марии Карловны Писаревой, я взял историю франко-прусской войны, прочитал ее и немецкая литература также стала мне доступна.

Пребывание летом в Горах очень обогащало нашу детскую жизнь, давая много новых впечатлений. Мы знакомились с сельским хозяйством, вступали в общение с крестьянами и мелкою окрестьянившеюся польскою шляхтою, которая нередко отличалась от белорусов крестьян только вероисповеданием, именно была католическою, а крестьяне-белорусы были в большинстве православные. С крестьянскими детьми мы ходили в лес за грибами и ягодами, на сенокос, на толоку (помощь соседям при удобрении полей навозом).

Пользуясь досугом, я много читал и размышлял. Уже в первое лето, проведенное мною в Горах, я стал заниматься своим самовоспитанием, начав с мелочей. Подражая взрослым, я начал гулять с палкою в руках, но через несколько дней мне пришло в голову, что палка в руках человека, не имеющего никакого физического недостатка, бессмысленна, и я далеко забросил ее в поле. Сидя за столом или за чтением книги, я всегда старался держаться совершенно прямо, не поддаваясь никакой физической распущенности или расслабленности. Всякое чувство вялости, нерасположения к работе, обусловленное атмосферическими влияниями или мелкими недомоганиями, я энергично преодолевал в себе и сохранил эти привычки до настоящего дня.

Перейдя в IV класс, я обратил внимание на свое чтение. До того я читал без разбора все, что попадало мне в руки. В читаемой мною беллетристике было немало произведений третьестепенных, например, исторические романы в «Ниве», была и совершенная труха, например, романы Понсон-дю-Терайля. Однажды, читая какой-то итальянский переводный роман и дойдя до описания того, как некая знатная девица, встретив в лесу бандита, тотчас же увлеклась им и тут же отдалась ему, я нашел, что такие произведения вредно влияют на половую сферу и решил совершенно не читать беллетристики. С этих пор в течение двух лет я читал только научные книги. Лишь при переходе в шестой класс я понял, что художественная литература есть высокое проявление человеческого творчества и стал читать ее, но уже с бóль-

шим разбором, сосредоточиваясь преимущественно на классических произведениях русской и иностранной поэзии.

В IV классе я и мои товарищи очень повзрослели. Особенно с Пржевальским у меня были серьезные беседы часто на темы, значительно превышавшие сферу нашей компетенции. Так, мы любили толковать с ним о Западной Европе и политической жизни в ней. Чаще всего предметом беседы были нападки на Австро-Венгрию. Пржевальский, очень одаренный мальчик, не интересовавшийся нашею скучною казенною учебою, остался на второй год в каком-то из классов.

Однажды, когда я был в пятом классе, а Пржевальский в четвертом, к нашей беседе прислушивался мой одноклассник, немец Э., сын фермера, не отличавшийся умственным развитием и ничего не читавший. Он вмешался в беседу и высказал мнение, явно нелепое. Пржевальский, со свойственною ему живостью набросился на него с опровержениями. Э., не долго думая, заявил ему: «Послушай, как ты можешь спорить со мною; я знаю больше тебя: я уже в пятом классе, а ты всего только в четвертом».

Меня увлекало героическое в истории. Весною, когда для подготовки к экзаменам нам давали отпуск, я жил дома на Сенной площади. От нас близко было любимое место моих прогулок, Духовской ров: глубокий овраг, с ручьем и тропинкою на дне, живописно покрытый зарослями кустарников. На краю этого оврага среди полей я готовился к экзаменам. Когда мне попадалось такое историческое событие, как, например, речь митрополита Филиппа к Иоанну Грозному, обличающая его злодеяния, я заучивал ее наизусть и произносил громко, воображая себя на месте Филиппа.

Когда мы были в пятом и шестом классе, в нашей гимназии появились хорошие учителя — латинского языка Марниц и греческого Фрей. Особенно нравился нам Фрей, читавший с нами Гомера и других классиков, отмечая красоты их произведений и увлекаясь сообщением сведений об античной культуре. С этих пор классические языки стали для меня привлекательными предметами и я занимался ими хорошо.

Как многие дети, я рано стал пытаться писать стихи и рассказы. Стихи мне не удавались, и я сам это понимал, но рассказы свои и замыслы романов я ценил высоко. Будучи в третьем или четвертом классе, я начал писать роман, местом

действия которого был почему-то Бирск, совершенно неизвестный мне городок Уфимской губернии. Как-то уже в пятом классе я написал шутливое стихотворение о наших учителях, надзирателе, директоре.

В это время прежний наш добрый священник перестал служить в гимназии; место его занял строгий, суровый Терпиловский. Он был высокого роста, стройный, красивый, с выразительным внушительным лицом. Одевался он хорошо, очевидно заботился о своей наружности. Особенно на дам он производил большое впечатление. От всех других православных священников, которых я встречал до тех пор, он отличался явственно выраженным фанатизмом; к полякам-католикам он относился резко отрицательно. В моем стихотворении были отмечены многие из этих черт его; помню из него только слова «руки белы, как атлас».

Унаследованная от отца любовь к охоте и связанная с нею страсть блуждать по лесам и полям стала все более пробуждаться во мне. Моей матери было приятно это напоминание об отце. Двустволка его висела на стене и все охотничьи принадлежности находились в сохранности. Огнестрельного оружия моя мать боялась; не только порох, но и дробь внушала ей страх, которого нельзя было рассеять никакими объяснениями того, что дробь без пороха вполне безопасна.

Тем не менее, она с радостью, правда соединенною с беспокойством, дала мне ружье отца, когда я захотел научиться стрелять в цель. С кем-то из знакомых я пошел в Духовской ров и там стал упражняться в стрельбе. С этих пор главным моим развлечением были прогулки с ружьем за спиною по живописным окрестностям Витебска вверх и вниз по Двине, по Риго-Орловской железной дороге и т. п. Иногда это были очень далекие прогулки верст по двадцати и более, например, в Островно, известное стычками русской армии с французскою во время нашествия Наполеона в 1812 году.

Дома наша жизнь становилась все более интересною для меня. Старшая сестра моя Элеонора, — мы звали ее Лелею, — прошла уже курс гимназии. Она была красива, умна, недурно играла на рояле. Я гордился ею. С величайшим удовольствием слушал я исполнение ею таких произведений, как, например, «Патетическая соната» Бетховена.

Круг наших знакомых стал увеличиваться и был довольно разнообразен. Несколько офицеров бывало у нас. Из всех молодых людей, посещавших нас, сестра моя отдавала предпочтение поручику З. С ним она предпринимала иногда прогулки верхом. Казалось, что скоро они будут помолвлены. Возможно, однако, что З. медлил с формальным предложением, боясь недостатка средств для семейной жизни. Сестра моя стала отдаляться от З.

В доме у нас появилось новое лицо, помещик Минской губернии поляк П. Он был человек светский, со средствами, не первой молодости, но зато тем более умелый в обращении с дамами. Через несколько месяцев он стал женихом моей сестры. Свадьба состоялась 18 сентября 1887 г. Через три дня молодые дложны были уехать в имение мужа сестры. За час до отъезда Леля пошла в свою комнату уложить последние вещи. Из комнаты ее послышался выстрел. Все бросились туда. Сестра была тяжело ранена: она выстрелила из револьвера себе в сердце. Через два часа она умерла.

Когда я узнал, что все кончено, я в отчаянии побежал в Духовской ров и, плача, блуждал там несколько часов. Не могу описать горя нашей кроткой матери, второй раз перенесшей страшный, ни с чем не сравнимый удар самоубийства близкого, горячо любимого члена семьи. Неудивительно, что после тяжелых испытаний в характере мамы появилась следующая черта: она боялась много смеяться, надевать светлое платье, так как, по ее мнению, за этим всегда следовало какое-нибудь несчастье.

В это время и мое поведение стало для матери источником тяжелых беспокойств. Начиная с пятого класса, я стал переживать душевный кризис, через который прошло большинство русских юношей в XIX веке. Несправедливости нашего политического строя стали привлекать к себе мое внимание.

Их было особенно много у нас в Белоруссии, где поляки и евреи подвергались различным стеснениям. Некоторые мелочи были так грубы, что не могли остаться незамеченными и не вызвать возмущения, которое подготовляло почву для дальнейшей критики всего строя. Так, например, на вывесках магазинов евреи были обязаны писать полностью не только свою фамилию, но также имя отчество, чтобы каждый покупатель легко мог заметить, что владелец магазина

еврей. При этом имя отчество необходимо было писать с теми бытовыми сокращениями и искажениями, которые часто придавали комический характер великим библейским именам; так, на вывеске писалось «Сруль Мойшович» вместо «Израиль Моисеевич». Литвины-католики, учащиеся в гимназии, обязаны были пользоваться молитвенниками, напечатанными не латиницею, а русским алфавитом (кириллицею). У одного моего товарища надзиратель вытащил из кармана пальто молитвенник; он оказался напечатанным латиницею; мальчик был наказан за это. Стеснения языка к тому же в столь интимной области, как религиозная жизнь, производили впечатление вопиющей несправедливости.

Грубые выходки антисемитов также тяжело поражали меня. В молодости я отличался крейнею деликатностью: оценивая человека, я никогда не произносил резких слов осуждения и даже мысленно не решался формулировать их. Поэтому безжалостные насмешки над евреями некоторых наших учителей-антисемитов были мне глубоко неприятны.

Кажется, в четвертом классе ученик Ратнер, учившийся недурно, но говоривший очень плохо и со смешным акцентом, опоздал немного на первый урок и, отворив дверь в класс, с виноватым видом остановился у двери. Шел урок преподавателя русского языка Покровского, бывшего также инспектором гимназии. «Почему ты опоздал?» — строго спросил Покровский. «Я обстригался» — ответил Ратнер своим грудным голосом, характерно протягивая «а». «Как?» — спросил Покровский при дружном хохоте класса. «Я обстригнулся». Хохот еще более усилился. «Что?» — «Я обстригивался» — пролепетал Ратнер и больше уже не отвечал на вопросы учителя. «Садись!» — Покровский раскрыл журнал и с удовольствием поставил в графе Ратнера жирную единицу.

Неудивительно, что евреи были носителями революционных идей и критики нашего общественного порядка. Ратнер подтолкнул и меня на этот путь. Когда мы были в V классе, он как-то позвал меня погулять в саду перед гимназиею. «Лосску», обратился он ко мне, как всегда с чрезвычайною серьезностью. «Как ты думаешь, природа есть храм или мастерская?» На это я, подумав, ответил: «Когда я в лесу рублю дерево, она — мастерская, а когда я стою на высокой

горе и любуюсь красивым видом, она — храм». Моему собеседнику этот ответ был не по душе, и он стал пространно толковать о том, что каждый человек обязан работать, не покладая рук, для улучшения жизни и усовершенствования общественного порядка.

Вскоре в таких беседах стала принимать участие небольшая группа гимназистов нашего класса. Мы начали читать «запрещенные» книги, то есть книги, изъятые из общественных библиотек. Это были сочинения Писарева, Добролюбова, Михайловского. Действительно нелегальной, подпольной литературы в моих руках не было. У нас был какой-то рукописный каталог книг для самообразования. Руководясь им, мы старались доставать все, что в нем было указано. Между прочим, я прочитал книгу Вундта «Душа человека и животных» в одном из первых изданий ее; она тоже была в числе книг, изъятых из библиотек; вероятно, она была признана книгою, склоняющею к материалистическому миропониманию.

С идеями социализма я познакомился отчасти из бесед с товарищами, отчасти по намекам на них, вылавливаемым из книг. Они произвели на меня большое впечатление и увлекли меня. Мне казалось истиной очевидной, как дважды два четыре, что, например, устранение класса торговцев, как сложной системы посредников между производителями и потребителями, приведет к чрезвычайной экономии сил и облегчению жизни. Через 35 лет, в 1920—1922 гг., я своими глазами увидел, к чему может привести устранение класса торговцев: количество посредников между производителем и потребителем возросло неимоверно, и эти посредники были чиновниками на службе у деспотического социалистического государства. Все недостатки бюрократизма внедрились в систему снабжения в размерах, невиданных при прежнем порядке: формализм, волокита, невнимание к интересам покупателя и забота лишь о том, чтобы не сделать шаг, за который придется отвечать перед государством, и т. п.

Свободное, открытое обсуждение проблем социализма легко показало бы даже и пятнадцатилетнему мальчику, каким я был в 1885 г., что замена неудовлетворительной социальной системы другою может повести за собою вместе с устранением недостатков первой новые недостатки, еще худшие,

чем прежние. Во всяком случае свободное обсуждение социальных вопросов в печати и в обществе открыло бы глаза юношеству, по крайней мере, на ту истину, что *революционный* социализм есть нелепость, что социалистический строй, если он и возможен, предполагает множество психологических, экономических, технических и т. п. предпосылок, которые могут быть осуществлены только постепенно, путем эволюции, а не посредством грубого революционного насилия.

В России в то время, особенно в провинциальном городе Западного края, простой интерес гимназиста к таким проблемам уже мог компрометировать его. Неудивительно, что молодые люди, начинавшие задумываться над вопросами социальной справедливости, сразу попадали в положение заговорщиков, образующих тайные кружки, и были обречены на то, чтобы подпасть односторонним влияниям и получать тенденциозное освещение явлений общественной жизни.

Замечательно, что на путь крайних течений нередко вступали дети священников, дети полицейских и других чиновников из семей консервативных и притом проникнутых высоким сознанием долга. В таких случаях цель у отцов и детей была одна и та же: добро в общественной жизни. Но одни считали возможным осуществлять его в рамках существующего порядка путем добросовестного исполнения своих обязанностей, а другие считали необходимым для этого изменить коренным образом весь общественный строй.

Во всяком случае, я встречался в ранней молодости в социальном движении только с этим аспектом добра, подмеченным Тургеневым, а не с аспектом сатанинского извращения, описанным в «Бесах» Достоевского. Только однажды кто-то из товарищей задал мне несколько неясный вопрос, думаю ли я, что копаться в проблемах личной нравственности (таких людей он назвал «нравственными свиньями») и заботиться о ней полезно, или я полагаю, что личная нравственность не имеет значения в сравнении с общественными проблемами. Я решительно стал протестовать против пренебрежения личной нравственностью и товарищ мой замолк. Думаю, что это был единственный случай, когда я столкнулся с умонастроением, ведущим на путь Петра Верховенского или Нечаева.

Надобно, однако, заметить, что сторона несомненного зла в моем душевном состоянии была. Внимание мое было слишком односторонее сосредоточено на рассказах о несправедливостях администрации, о злоупотреблениях ее, о жестоких усмирениях крестьянских волнений и т. п. Передавая эти рассказы, я приходил в состояние крайнего волнения, у меня делались сердцебиения, приливы крови к голове, бессонница. Из такого настроения возникает у молодежи доверие даже и к клеветнической демагогии революционных изданий.

Беседуя со своими единомышленниками, я пришел к убеждению, что нам нужно выйти из узкого круга товарищей и нести свои взгляды в народ. Скоро представился для этого случай, показавшийся мне особенно удобным. У одного из товарищей брат был полицейским офицером. В семье его некоторое время жил бывший волостной писарь, молодой человек, временно потерявший службу, но рассчитывавший вскоре опять стать волостным писарем. Я счел его ценным объектом пропаганды и стал вести с ним беседы о несовершенствах нашего политического порядка, о социализме и т. п.

Это было весною 1887 г. В это же время произошла глубокая перемена в моей религиозной жизни. Во время Великого поста все православные гимназисты обязаны были исповедоваться у гимназического священника, о. Терпиловского (о нем было сказано уже несколько слов). Во время исповеди он мне задал вопрос: «Рóманы читаешь?» — «Да, читаю», ответил я. «Нехорошо», — сказал священник и наложил на меня эпитимию: класть по сто поклонов во время вечерней молитвы в течение всего остального времени поста.

Я рассказывал уже раньше, что в течение двух лет я не читал никаких романов и повестей, считая вредным влияние их на нравственную жизнь. Только в шестом классе я понял свою ошибку и начал читать опять художественные произведения, но со строгим выбором. Таким образом, мое поведение в этом отношении заслуживало не эпитимии, а одобрения. Я вполне понимал это, но, конечно, подчинился своему наставнику и, несмотря на насмешки товарищей, становясь на молитву, усердно отбивал поклоны.

Однако, после поклонов я начал размышлять о Церкви, о религии, мне приходили в голову всевозможные слышанные

мною рассказы о злоупотреблениях в монастырях, о корыстности духовенства и т. п. Не прошло и месяца, как я уже отверг не только Церковь и религию, но даже и бытие Бога. Не было вблизи меня в это время авторитетного и знающего человека, который научил бы меня отличать идеальную сущность христианства от земных искажений его и показал бы, что даже и в XIX в. православная Церковь хранила в себе великие духовные богатства. Вместе с грязною водою я вылил из ванны и ребенка, подобно сотням тысяч русских и западноевропейских интеллигентов.

К сожалению, это состояние длилось у меня очень долго, гораздо дольше, чем, например, у Вл. Соловьева: атеистом я был восемь лет, а возвращение мое к Церкви совершилось только через тридцать с чем-то лет после сложного философского процесса.

Перейдя в VII класс весною 1887 г., я отправился в июне в Горы провести там каникулы. Братья и сестры проводили лето где-то в другом месте, а мать оставалась в Витебске. Весь любимый мною живописный путь от Витебска до Гор, более ста тридцати верст, я сделал пешком с ружьем за плечами. Не раз потом я прошел эту дорогу таким способом взад и вперед. Ходок я был хороший, первые двадцать пять верст я шел без остановки в течение пяти часов. Ночевал я на кожаном диване на почтовой станции, кажется, Рудня и на следующий день к вечеру был уже в Горах.

Этим летом я особенно упорно занимался воспитанием своей воли. В течение всей своей жизни я проявлял большую настойчивость в борьбе со своими наклонностями, в самопреодолении и воспитании в себе новых качеств. В отношении же к другим людям и даже животным я проявлял полную неспособность воздействовать на их волю и желание как-либо насиловать ее или оказать давление. Когда я садился верхом на лошадь, она тотчас понимала, что имеет дело со всадником, неспособным приказывать и начинала своевольничать; например, однажды лошадь подвезла меня к дереву и стала стирать меня с себя, прижимаясь к дереву. Летом, будучи на уроке в имении «Новая мысль», я отправился на охоту с умною собакою, она два раза подняла выводок тетеревов, но я оба раза дал промах, тогда она презри-

тельно посмотрела на меня, перестала слушаться и стала самостоятельно охотиться.

В Горах мне захотелось испытать свою смелость и пойти для этого ночью одному на кладбище. Мы с двоюродным братом Валею спали на сеновале. Дождавшись, когда товарищ мой уснул, я оделся и отправился за полторы версты в Воробьево. Была лунная ночь. Кладбище было не огорожено, а отделено от поля глубокою канавою и песчаным валом. Я перескочил через канаву, перешел через вал и стал среди могил. Вдруг в ночной тишине я услышал глухие удары как бы из-под земли. Мне в голову пришла ужасная мысль, что это заживо погребенный проснулся от летаргического сна и стучит в своей могиле. Я не знал, куда мне броситься, чтобы помочь несчастному, стал прислушиваться внимательнее, чтобы точнее определить место, откуда исходят звуки, и тут только заметил, что это — сильные и учащенные удары моего сердца.

Совершая большие прогулки на красивые озера или другие живоипсные места, я иногда подсаживался в телегу к проезжему крестьянину или ночевал в корчме. Пользуясь всяким удобным случаем, я вступал в беседу с крестьянами, особенно интересуясь вопросом о сельской общине и отношении крестьян к ней. Все они всегда жаловались на неудобства общинного землевладения, на невозможность улучшать хозяйство и вкладывать деньги и труд в свой участок земли, который путем передела может в скором времени перейти в другие руки. Все они без исключения хотели индивидуальной частной собственности на землю. Мнимой склонности русского крестьянина к социализму или коммунизму я не нашел ни малейшего следа.

В конце лета я отправился на несколько дней в имение Петроково погостить у своего товарища Николая Васильевича Тесленко. До него через каких-то знакомых дошел слух, что гимназическое начальство в Витебске проведало об увлечении социальными проблемами небольшого нашего кружка и некоторых из наших товарищей уже привлекли к допросу. Я тотчас решил отправиться, не заходя в Горы, в Витебск.

Вышел я вечером и, пройдя всю ночь, добрался до Невельско-Витебского шоссе. На шоссе я пользовался всяким

случаем, чтобы подсесть к обратному ямщику или попутчику крестьянину. На середине пути дошел до меня слух о страшном пожаре, происшедшем в Витебске ночью в день моего выхода: он уничтожил до трехсот большею частью деревянных домиков как раз в той части города, где жили мы.

В одиннадцать часов ночи я с волнением подходил на Сенной площади к нашему дому, боясь, что найду на его месте лишь пепелище. Оказалось, что дом наш уцелел, хотя стоящие против него дома выгорели. Матери своей я объяснил свой приход дошедшими до меня слухами о пожаре. Повидавшись с товарищами, я узнал, кто подвергся допросу и какие вопросы предлагались допрашиваемым.

Дня через два я отправился тем же пешим порядком назад в Горы и Петроково, чтобы условиться и посоветоваться с Тесленко о том, как держать себя на допросе. Благополучного окончания дела нельзя было ожидать, судя по следующему примеру. Года за два до этого времени наше начальство открыло, что в гимназии образовался «Кружок пяти друзей». Это был не политический кружок, кажется, чисто литературный, но одно то, что он имел характер маленького организованного общества, притом негласного, навлекло кары на его членов. Некоторые из них, например, Таунлей принуждены были перевестись в другие учебные заведения.

Как только начались занятия, мои товарищи и я подверглись допросам гимназического начальства; не помню принимали ли участие в них чиновники какого-либо другого ведомства. Директор Фелицын вел себя хорошо, но инспектор Покровский особенно старался отличиться и искоренить крамолу.

Я тщательно обдумывал заранее все возможные вопросы, поэтому ни разу не растерялся на допросах и не дал ни одного ответа, могущего скомпрометировать кого-либо из товарищей. Кончилось все это дело тем, что два гимназиста, еврей Иосиф Абрамович Лиознер и я, были исключены из гимназии «за пропаганду социализма и атеизма»; нас удалили «с волчьим билетом», то есть без права поступления в другое учебное заведение и без права быть допущенным к какой бы то ни было педагогической службе.

Обдумывая теперь все это дело, я нахожу, что оно закончилось для нас сравнительно благоприятно: мы с Лиознером

не подверглись административной высылке и никакого надзора полиции за собою не замечали. Правда, и проступок мой был ничтожен: он сводился к тому, что я читал сочинения Писарева, Добролюбова, Михайловского, Вундта и беседовал о социализме и атеизме со своими товарищами и с бывшим волостным писарем. Из воспоминаний Короленко (в его «Истории моего современника») видно, что за несколько лет до моего изгнания из гимназии, в конце царствования Александра II многие молодые люди попадали в тюрьму и подвергались административной высылке даже и за меньшие проступки, а иногда и просто за «подозрительную наружность».

Провинциальное общество было чрезвычайно запугано и неопытно в вопросах политической жизни. И я сам, и моя мать, и мои родственники воображали, что я совершил тяжелое государственное преступление. В особенности угнетала меня мысль, что я уже не могу продолжать свое учение, а между тем жажда получить высшее образование в университете была у меня чрезвычайно велика. Обдумывая с Лиознером свое положение, мы пришли к мысли, что нам надо со своими аттестатами об окончании шести классов гимназии поехать за границу, в Швейцарию, и попытаться там поступить в университет.

Как ни скудны были средства нашей семьи, мать моя сочувствовала этому плану и решила, что будет в состоянии высылать мне ежемесячно двадцать рублей. Такую же сумму мог получать и Лиознер от своей семьи. Кроме того, мы с Лиознером задумали научиться какому-нибудь ремеслу. Мы стали брать у одного ремесленника уроки делания чемоданов, обитых белою парусиною, которые были распространены в то время. Через месяц у каждого из нас было по чемодану, собственноручно сделанному; они и послужили нам во время заграничной поездки.

Чтобы выехать из России, необходимо было получить из канцелярии губернатора заграничный паспорт. Считая себя государственными преступниками, мы были уверены, что паспорта нам не дадут, и боялись даже подать об этом прошение, чтобы не обратить на себя внимание. Евреи часто эмигрировали из России без паспорта, пользуясь на границе услугами контрабандистов, которые за маленькое вознаграждение переводили их в Германию или в Австро-Венг-

рию. У Лиознера были знакомые, которые дали ему указания, как это сделать, и мы решили поехать без заграничных паспортов, взяв только свои внутренние русские паспорта.

В середине декабря 1887 г., часов в восемь вечера, когда было уже совсем темно, я отправился на вокзал в сопровождении матери и очень дружной с нею двоюродной сестры ее, Эмилии Викентьевны Горунович, жены артиллерийского офицера. Мы старались держаться малоосвещенных углов вокзала, на каждом шагу ожидая вмешательства полиции и ареста. Все обошлось благополучно и мы с Лиознером, после двух бессонных ночей, проведенных в пути, остановились в Варшаве, чтобы выспаться, и выехать на следующий день утром с расчетом быть до наступления темноты вблизи станции Граница.

Подъезжая к границе, мы вышли из поезда на предпоследней русской станции: иначе при выходе из поезда на станции Граница железнодорожные жандармы могли потребовать у нас паспорта и допросить нас о цели приезда. По указанному еще в Витебске адресу мы отправились в еврейскую корчму и нашли еврея, который мог устроить наш переход через границу. Чтобы подготовить это дело, надо было провести в корчме целые сутки.

Мы переночевали в маленькой комнатке, заполненной двумя кроватями, на которых чуть не до потолка громоздились перины и подушки, — «бебехи», как насмешливо называют в Белоруссии эти принадлежности еврейского быта. На следующий день вечером мы наняли лошадь и были перевезены в другую корчму в нескольких саженях от станции Граница. Вероятно, опытные контрабандисты и специалисты по переводу через границу сообразили, что мы не принадлежим к категории опасных преступников, за перевод которых за границу грозят тяжкие наказания, и потому решили, подкупив жандарма, переправить нас просто в поезде ночью, когда начальство спит, и по вагонам ходит только жандармский низший чин.

После полуночи нас провели на вокзал к моменту прихода поезда и посадили в пустое купе III класса. С бьющимся сердцем ждали мы, что будет с нами. Мы опасались, что попали в руки мошенников, которые высосали у нас все деньги и оставили на произвол судьбы, так что нам предстоял

бы арест и наказание за попытку выехать без заграничного паспорта.

Прозвенел первый звонок, потом второй; между тем в купе никто не являлся, а у нас не было с собой даже и внутренних паспортов: их взял еврей, посадивший нас в купе. Внезапно отворилась дверь и к нам вошел жандарм с паспортами в руке. «Плосский?» спросил он, читая мой паспорт. «Я — Лосский», дрожащим голосом ответил я. Он возвратил нам наши паспорта и вышел, не вступая ни в какие дальнейшие разговоры.

Через полминуты раздался третий звонок и поезд тронулся. Когда мы переехали через пограничный ручеек, неописуемая радость охватила нас: мы были на свободе. Печально, что многие русские в то время испытывали это чувство освобождения, покидая Россию.

Глава третья

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЮ

В Вене мы с Лиознером принуждены были остановиться недели на две, так как у нас не было денег для продолжения пути: при переезде через границу из нас под разными предлогами на каждом шагу вымогали деньги, пока кошелек наш совсем не опустел.

Устроились мы в этом городе по-нищенски, как угловые жильцы: мы наняли в полутемной комнате, где жил посыльный с женою и детьми, угол, в котором стояла большая двуспальная кровать. Обедали мы в столовой для беднейшего населения Вены, где за несколько крейцеров можно было получить гороховый суп, кашу и большую краюху хлеба.

Эти тяжелые внешние условия нисколько не смутили меня: Вена дала много новых и увлекательных впечатлений, которые приковывали к себе внимание. Мы любовались этим пышным городом, его рингами, дворцами, посещали картинные галереи, музеи, были даже вместе со старым знакомым Лиознера медиком-студентом в анатомическом театре, где он занимался препаровкою. Под конец я, повинуясь своей страсти к природе, предпринял несколько пешеходных прогулок за город и был в восторге, когда, гуляя по лесу на Каленберге, увидел бюст Бетховена и узнал, что это было любимое место его прогулок.

Получив деньги из дому, мы поехали в Цюрих по Арльбергской дороге. Красота Тироля на этом пути произвела на меня глубокое впечатление. В Цюрихе мы нашли большую русскую колонию и в первый же день попали в руки заботливого студента-медика Д. Пасманика, который счел своею обязанностью помочь нам ориентироваться в новой обстановке. Под его руководством мы наняли дешево комнату с одною двуспальною кроватью, что очень уменьшило наши рас-

ходы на помещение. Решено было, что мы будем ждать начала весеннего семестра и тогда поступим в университет. До того времени мы усердно занимались немецким языком. Кроме того, я старался приобрести те знания, которые были бы мне даны в VII и VIII классах гимназии: я занимался алгеброю, тригонометриею и физикою.

С Пасмаником мы виделись редко. Он был занят по горло. Удручаемый тяжкою бедностью, он старался закончить полный курс медицины в возможно краткий срок; кроме того, он много отдавал времени самообразованию; так, например, в то время, когда мы познакомились, он как бы ни был утомлен, ложась спать, читал некоторое время в постели какой-нибудь из томов Шлоссера. Чаще всего я проводил время с эмигрантом из Риги, фамилия которого была Барт. Не помню, почему ему пришлось эмигрировать. Происходил он, по-видимому, из семьи, у которой были связи с прибалтийскою немецкою аристократиею, он получил хорошее воспитание и образование, но жил в крайней нужде. Меня привлекало к нему то, что у него был эстетический вкус и обширные знания, особенно по истории литературы. К сожалению, у него были склонности богемы. Он вел беспорядочный образ жизни и нередко выпивал.

Среди эмигрантов встречались лица, изрядно выпивавшие, но большинство были люди трезвые. Изредка по случаю чьих-либо именин или какого-нибудь другого праздничного события большая компания собиралась в простеньком ресторане, пили дешевое вино, весело болтали. Большое удовольствие доставляло всем, когда армянин Карафьянц провозглашал тост, перепутывая все падежные окончания: «За здоровья нашему милого ымыныныку!».

Выходцы различных народностей из России жили все дружно между собою, как это было свойственно русской интеллигенции в то время. Так как я бежал из России с Лиознером и жил с ним в одной комнате, то евреи иногда принимали меня за еврея и я, когда мне ставили этот вопрос, шутя отвечал, что я — еврей, и даже прибавлял, что я не «миснагид», а «хасид» (приверженец мистического иудаизма). Познакомиться с еврейским жаргоном настолько, чтобы читать на нем, мне не удалось, несмотря на то, что один эмигрант Клейн уверял меня в высоких достоинствах его и считал

многие русские слова взятыми из жаргона. Так, он говорил мне, по-видимому уверенный в правильности своего утверждения, что русское слово «заслонка» взято из жаргонного «зáслинке». Что в уме человека с детства говорившего на жаргоне, могут перепутаться границы языков, легко представить себе, услышав, например, такое выражение, как „ich habe gewidzialt“ (я видел).

Школьный товарищ мой Иосиф Абрамович был человек добрый, уживчивый, склонный к юмору. Мы жили с ним мирно, по-приятельски, пользуясь одною комнатою и даже двуспальною постелью. Вероятно, это обстоятельство подало повод к следующему нелепому приключению. Был у нас знакомый эмигрант Ш., огромного роста верзила, с грубоватыми внешними приемами, но по существу добродушный человек. Пользуясь тем, что Лиознер отправился в какую-то экскурсию, он попросил у меня позволения переночевать. Не успел я заснуть, как вдруг Ш., по-видимому в полусне, полез на мою половину кровати с какими-то странными, непонятными мне намерениями; я стал дико отбиваться от него, но он, по-видимому, притворяясь полуспящим, продолжал приставать ко мне. Тогда я слез с кровати, сел на стул и заявил, что не лягу, пока он не оставит меня в покое. Вскоре он уснул богатырским сном, и ночь прошла спокойно. Следуя своему тогдашнему обыкновению, я не позволил себе мысленно осудить Ш. и усмотреть в его поведении попытку совершить противоестественный акт. Так мне и осталось неизвестным, чем вызвано было это странное явление.

В немецкой среде я познакомился с семьею социал-демократа Любека, культурного и доброго человека; к сожалению, у него были парализованы ноги и он был прикован к креслу, в котором его возили. Он любил определять характеры людей по почерку. Взяв у меня образец моего почерка, он сказал мне несколько слов о моей душевной природе; из них мне запомнилось только, что я — strebsam (усердный, старательный).

Теперь передо мною открылась настоящая нелегальная литература. Однако она меня не заинтересовала. Конечно, такие брошюры, как «Наши разногласия» Плеханова, я читал, но по-настоящему, меня влекло к более глубоким проблемам. Так, например, я познакомился здесь с «Божествен-

ною Комедиею» Данте в немецком переводе. Когда эмигранты обратили мое внимание на Лассаля, я прочитал его „Die Philosophie Herakleitos' des Dunklen von Ephesos", но, конечно, философски я был тогда слишком мало подготовлен, чтобы извлечь пользу из этого трактата. Подсовывали, мне, конечно, и такие книги, как „Köhlerglaube und Wissenschaft" Фогта, которые были мне более по плечу, и укрепляли во мне материалистическое, атеистическое миропонимание. Из русских писателей, ставших мне доступными в заграничных изданиях, меня привлекал к себе Герцен, но не революционною стороною своих писаний, а такими темами, как проблема «чести» и т. п.

Много времени у меня уходило на одинокие прогулки по берегу озера и в других окрестностях Цюриха. В это время я не только любовался природою, вечерним „Alpenglühen", Цюрихским озером и т. п., но еще и настойчиво размышлял о самых разнообразных проблемах в связи со своим чтением. Нередко я предавался мечтам о своей будущей известности, славе, не имея для этого никаких оснований и связывая мысль о ней чаще всего с государственною, но вовсе не революционною деятельностью.

Перед сном я всегда отправлялся гулять и по пути заходил иногда в русскую библиотеку и читальню при ней. В читальне лежали на столе новые журналы, а на стенах висели газеты, вправленные в рукоятки. Между прочим, висел на стене и оккультический еженедельник «Ребус», заглавие которого выражено посредством ребуса: нота ре, буква Б и огромный черный ус.

Однажды, придя в читальню поздно вечером, я зажег лампу, взглянул при свете ее на стену и с ужасом услышал, что из-под уса «Ребуса» раздается мерный храп. Я остолбенел и не мог двинуться с места. К счастью, через минуту послышалось, что за перегородкою, на которой висел журнал, кто-то переворачивается на другой бок: там, в другой комнате у стены спал какой-то человек.

В революционные кружки меня никто не пытался втянуть и у меня самого не являлось желание принять участие в их деятельности. Лекции на общественные темы, устраиваемые иногда эмигрантами и заканчивавшиеся прениями, я посещал охотно. Как-то из Женевы приехал Плеханов и прочи-

тал публичную лекцию. Его ораторский талант произвел на меня большое впечатление. Но особенно памятны мне превосходные доклады о новых открытиях и теориях по физике, которые читал иногда талантливый ученый Бахметев. Кажется, впоследствии он получил кафедру физики в Софии.

Симпатии к социализму у меня сохранились в течение всего этого времени. Летом 1888 г. в Цюрих приехал из Германии один из вождей социализма Либкнехт (отец убитого в двадцатых годах). В связи с его приездом местные социал-демократы устроили внушительную демонстрацию, в которой приняло участие не менее 10 000 человек. Демонстранты выстроились в ряды и прошли по главным улицам города. В этих рядах было немало членов русской колонии и в их числе, конечно, и такие юнцы, как Лиознер и я.

Однажды я еще ближе прикоснулся к революционным кругам, совершив следующий необдуманный поступок. В Россию отправлялся кто-то из русской колонии, кажется, с нелегальными изданиями, запрятанными в чемодан с двойным дном. Ко мне обратились с просьбою дать этому лицу мой паспорт. Я согласился и взамен получил фальшивый паспорт, состряпанный довольно грубо: химик Сысоев, у которого был какой-то чужой паспорт, смыл с помощью химических операций в нем фамилию и вписал мое имя. О том, был ли использован в России мой паспорт и какова вообще была его судьба, мне ничего не известно.

Весною мне не удалось поступить в университет, так как мне было только семнадцать лет. Осенью я узнал, что в Берне это не послужит препятствием, и потому я переехал из Цюриха в Берн, где поступил на философский факультет с целью заниматься естествознанием. Лиознер, который был годом старше меня, остался в Цюрихе и поступил, кажется, на медицинский факультет.

В университете я стал усердно слушать лекции по физике, зоологии и ботанике. Особенно привлекал меня ботаник Додель-Порт, лекции которого начинались очень рано утром.

В Берне я сошелся с эмигрантом студентом медицины, который жил под фамилиею Кравец; настоящая фамилия его была Райгородский. Он был, по крайней мере, годами пятью старше меня. Бледный, невысокого роста, со щербиною на

носу, меланхолический и сдержанный, он обращал на себя внимание своею спокойною уровновешенностью, под которой чувствовалась большая сила воли. Он заинтересовал меня своим острым и оригинальным скаптическим умом, наблюдательностью и любовью к художественной литературе. У него самого был литературный талант. Я как-то прочитал ему написанный мною рассказ. Это подбило его тоже взяться за перо, и через несколько месяцев он написал роман. Когда я приходил к нему, он устраивал глинтвейн и за стаканом вина мы читали друг другу свои произведения. Герой романа, написанного Кравцем, по имени кажется Гордеев, был человек с сильною волею, непреклонный и горделивый; драмою его жизни была «ненависть в любви» (la haine dans l'amour), нечто вроде того, что впоследствии так ярко изобразил в своих произведениях Гамсун. Роман Кравца произвел на меня сильное впечатление; насколько я мог судить тогда, он был талантливо написан.

Кроме попыток писать рассказы, я совершил еще выступление в любительском спектакле. В выбранной нами пьесе мне предстояло играть роль раздражительного отца семейства, который, вспылив, делает резкий выговор своей дочери. Роль дочери исполняла студентка Двоши Маянц. На одной из репетиций я как-то был один в комнате с Маянц и, начиная исполнять свою роль, стал подходить к ней с видом крайнего раздражения, повышая голос. По-видимому я так правдоподобно изображал гнев, что моя партнерша приняла его за действительность и в смущении стала подниматься со стула, забыв свою роль; я стал смеяться, и только тогда она поняла, что мой гнев не был реальностью.

Спектакль был поставлен с благотворительною целью. В зале, среди зрителей, было очень много швейцарцев, не понимавших по-русски, но следивших за нашею игрою с интересом. По ходу действия надо было инсценировать ужин; на стол была подана настоящая зажаренная курица. Когда занавес опустился, все артисты бросились к курице, растащили ее по кусочкам и стали с аппетитом уплетать вкусное жаркое. В зале публика дружно аплодировала; кто-то поднял занавес, а мы все артисты стали, как крысы, разбегаться от стола во все стороны, перескакивая по дороге через стулья и стараясь укрыться от взоров публики. Эта неожи-

данная комическая сцена была награждена еще более усиленными аплодисментами публики.

На медицинском факультете в то время серьезно работала очень симпатичная девушка Амалия Фридберг; она не была эмигранткою и политикою не занималась. Подругою ее, с которою она никогда не разлучалась, была тоже очень привлекательная девушка из Хорватии или Сербии Милица Ш.

Фридберг пленила мое воображение не только своею приятною наружностью, но и своим мягким гармоничным голосом, выражавшим кроткую натуру. Даже имя Амалия, которое мне прежде не нравилось, стало для меня привлекательным. Когда чувство мое вполне определилось, я написал Фридберг письмо с выражением его. В тот же день к вечеру мною был получен ответ. В очень милых выражениях Фридберг выражала надежду, что я со временем встречу девушку, вполне соответствующую моему идеалу. В отчаянии я бросился из дому и пошел, куда глаза глядят, далеко за город; настала темная ночь, а я быстрым шагом все шел через леса и поля, наконец, совсем истомленный зашел в какой-то деревенский трактир и выпил немного вина. Только на рассвете я вернулся домой; физическая усталость и крепкий сон вернули меня к душевному равновесию.

Свою привычку к многоверстным прогулкам, приобретенную еще в России, я сохранил и в Швейцарии. Здесь они не всегда были безопасны. Однажды я шел тропинкою в лесу по берегу горной реки, кажется, Аары; тропинка становилась все уже, а берег все круче; внизу река пенилась и ревела, разбиваясь о камни; местами приходилось перескакивать с камня на камень, чтобы продолжать путь по едва заметной тропе. Начали наступать сумерки, когда я заметил, что забрался слишком далеко и сделал уже много опасных прыжков; вернуться назад при наступавшей темноте и сознании опасности оказалось гораздо труднее, чем идти вперед.

В Берне я жил одно время вблизи кладбища, на котором похоронен Михаил Бакунин. Рассказывали, что форма черепа у него была весьма оригинальная. У нескольких из нас зародилась мысль, что хорошо было бы попытаться ночью выкопать его череп. К счастью, среди нас не нашлось лиц,

настолько решительных, чтобы действительно предпринять эту авантюру.

Здесь же в Берне со мною случилось нечто странное, что я не могу до сих пор объяснить. Я жил высоко в мансарде. Из окон ее видно было небо. Луна ночью светила в мою комнату. Несколько раз перед засыпанием я слышал, как будто со стола падает лист бумаги и шурпа скользит по полу. В одну из таких ночей я зажег свечу, убедился, что никакой бумаги на полу нет, и подошел к умывальному столу, чтобы выпить воды. Я поднял крышку столика и взял из-под нее стакан. Напившись воды, поставил стакан на место и опустил крышку. Утром, подойдя к умывальнику мыться, я увидел на нем свою зубную щетку. Я отчетливо помнил, что ночью она, как всегда, лежала внутри столика и я не трогал ее. Никаких проявлений лунатизма в течение моей жизни ни я, ни кто бы то ни было у меня не наблюдал. Поэтому перемещение щетки ночью осталось для меня непонятным явлением.

Поступление в университет повело за собою некоторые расходы (плата за лекции и т. п.), которые с течением времени должны были увеличиться. Моих денег стало не хватать на жизнь и я очень недоедал. Иногда неделями я питался почти только хлебом с чаем, а под конец месяца дня два и совсем ничего не ел. С завистью поглядывал я тогда на собак, которые ели кусок белого хлеба, найдя его у помойной ямы. Наконец, дошло до того, что я не в состоянии был уплатить за свою комнату, а также не мог уплатить свой долг в столовой.

Вероятно, вследствие голодания я заболел: у меня образовалась на шее опухоль величиною с гусиное яйцо. Я обратился в университетскую клинику, и там моя опухоль была удалена посредством операции. Через некоторое время, однако, образовалось на шее несколько маленьких опухолей; в клинике их удалили прижиганием и дали мне едкую примочку, кажется раствор сулемы. Странным образом я не расспросил у врачей, какую болезнь нашли они у меня. Думаю теперь, что это, может быть, начинался туберкулез.

В то время, — это было в конце января 1889 г. — я окончательно понял, что в Швейцарии жизнь для меня слишком дорога, и что продолжать университетские занятия я мог бы

только в стране, где можно жить на мои скудные средства. В моей голове зародился фантастический план. Я пришел к мысли, что в европейских колониях пропитание должно быть очень дешевым. Порывшись в энциклопедических словарях, я остановился на городе Алжире, как месте, где можно поступить в университет. После совещания с Кравцем я решил привести в исполнение свой план, написал о нем своей бедной матери и, не долго думая, двинулся в путь.

В Марселе я сел на пароход, который вечером отплыл в Алжир. Я оставался на палубе вплоть до темноты, любовался сверкающими на горизонте зарницами и предавался мечтам о своей будущей жизни в незнакомой стране. Грозовое облако приблизилось, начались страшные удары грома и волны стали перекатываться через палубу. Я пошел вниз, но пароход в это время так качнуло, что я упал с лестницы и больно расшибся о ее окованные металлом края.

Пароход, качаясь, скрипел и какие-то бочки или другой тяжелый груз так ударялись о его борта, что, казалось, он рассядется и мы пойдем ко дну. Состояние мое было настолько подавленное, вероятно, под влиянием морской болезни, что мысль о возможности гибели нисколько не пугала меня. Настало утро. Солнце светило на ясном безоблачном небе и море было совершенно спокойно. Мы подошли к Алжиру, красиво расположенному амфитеатром на поднимающемся вверх берегу.

Поместившись в гостинице, я в первый же день убедился, что расчеты мои на дешевизну жизни в колонии были совершенно неправильны. Расходы на помещение и на все, что не вырабатывается в колонии, были бы еще более велики, чем в Швейцарии.

Я поместил в газете объявление о том, что прошу какое-либо состоятельное лицо дать мне стипендию для получения образования в Алжирском университете. Дня через два я получил из дому письмо poste restante. В нем мать сообщала мне, что выслать деньги из России в заморскую колониальную страну будет очень трудно: для этого надо было обменять в казначействе бумажки на золотые монеты и послать их, закупорив в деревянный ящичек.

Деньги у меня были на исходе. Я начал продавать свои вещи, кое-что из платья, перочинный ножик и т. п. Вероятно,

зоркая полиция обратила на меня внимание. Когда я сидел в дешевом трактире, какой-то субъект с серым немного испитым лицом и огромным носом подсел ко мне и стал расспрашивать о том, кто я. Я рассказал ему о своем положении. Он стал мне советовать поступить солдатом в иностранный легион, говоря, что, как человек образованный, я могу быть послан оттуда в военное училище, получу образование, какое захочу, и стану офицером. Я и сам подумывал в это время о том же. Мой старший брат в это время окончил уже курс Михайловского артиллерийского училища в Петербурге. Когда он приезжал оттуда на каникулы, он привозил с собою литографированные лекции по механике, физике, химии. Я знал таким образом, что в высших военных школах можно получить знания в области естественных наук, близкие к университетским.

На следующий день тот же субъект явился ко мне в гостиницу, повез в трактир, где несколько знакомых его с большим одушевлением расписывали мне преимущества службы в легионе; меня угостили вином, один из знакомых вербовщика оказался извозчиком, мы уселись в его пролетку и я приехал в бюро набора рекрутов. Там я подписал бумагу о вступлении моем в Иностранный легион, обязывавшую меня прослужить в нем не менее пяти лет.

На следующий день я уже ехал по железной дороге к месту службы в городок Сиди-бель-Аббес. Езды туда было не менее восьми часов. Меня нарядили в синюю куртку, красные штаны; кроме того, каждый солдат опоясывался широким синим поясом метров в пять длиною; чтобы надеть его, надо было дать один конец его в руку товарищу или обмотать этот конец вокруг столба и вращательным движением навертеть его на свое туловище. Мне сказали, что этот пояс, согревая брюшную полость, предохраняет от дизентерии. И в самом деле, я заметил, что без него очень скоро появляется в брюшной полости какое-то болтание и возможность желудочного расстройства.

Было сухо и жарко, несмотря на то, что до лета было еще далеко. Маршировки и упражнения не утомляли меня, но мучительна была среда, грубоватая и совершенно лишенная умственных интересов. Капрал, к которому я попал, кажется, Pachaud, был француз лет сорока, человек простой и добро-

душный; среди солдат было много бельгийцев и немцев. Меня особенно угнетали вырывавшиеся у них поминутно, по всякому поводу и даже без всякого повода, ругательства, имевшие кощунственный характер: sacré nom de Dieu! или повторенное много раз подряд nom de nom de nom de Dieu!

Прослышав обо мне, пришел из какого-то другого отделения русский, молодой человек, открывший мне по секрету, что его настоящее имя кн. Голицын, но что служит он под другим, вымышленным, именем. Посещая меня иногда, он рассказал мне какую-то странную историю, которая заставила его покинуть семью и родину и поступить в Легион. О поступлении в военное училище он говорил, что оно возможно, но достигнуть этой цели можно не иначе, как прослужив довольно долго простым солдатом. Он говорил о том, как трудно интеллигентному человеку выносить жизнь в казарме и рассказал историю одного легионера, который, не будучи в силах приспособиться к солдатской среде, притворился сумасшедшим и таким образом спасся от пятилетнего срока службы.

Перспектива нескольких лет жизни вне умственных интересов начинала все более угнетать меня. У меня с собою была только физика Краевича, которую я читал в свободное время. Была у меня и тетрадь в клеенчатом переплете, куда я записывал свои мысли. Помню, между прочим, что, прочитав трактат аббата Секки о единстве сил, я пришел к мысли, что в человеческом организме часть физической энергии превращается в психо-физическую. Опытный человек, заглянув в мою тетрадь и познакомившись с этими моими рассуждениями, понял бы, что основные интересы мои лежат в области философии, и что преувеличенное значение, приписываемое мною естествознанию, было следствием материализма, к которому я пришел в то время.

Вероятно, я резко выделялся своим поведением из среды других солдат. Время от времени мы занимались стиркою своего белья в бассейнех с проточною водою, устроенных вблизи казармы. Вымыв белье и развесив его на веревке, я ложился в тени его на песок и занимался изучением физики по Краевичу, ожидая когда белье высохнет, что происходило быстро под африканским солнцем.

Угнетаемый все более и более резким различием между средою, в которую я попал, и моим душевным строем, я решился, наконец, на отчаянный поступок — притвориться душевно больным и таким образом освободиться от военной службы.

Не зная форм и проявлений душевных болезней, я начал это дело несколько неудачно. Ночью, когда светила луна, я встал, подошел к окну полуодетый и стал смотреть на небо, придав своему лицу глубоко угнетенное, печальное выражение. Когда ко мне кто-либо подходил, я делал вид, что не замечаю его, и оставался погруженным в себя. Утром меня окружили солдаты; один из них, всмотревшись в мое неподвижное лицо, сказал: „il s'abrutit“ (он отупевает).

Вскоре я почувствовал, что изображение тяжкой меланхолии утомляет меня и действительно ведет к возникновению угнетенного состояния духа; выдерживать долго такую игру было бы мне не по силам, да и могло бы оказаться опасным для душевного здоровья.

Когда меня отвели к военному врачу и поместили в военном госпитале, я изменил тактику. Я начал рассказывать врачу, что у меня есть враги, которые преследуют меня и хотят погубить: я — великий ученый, у меня есть замечательные открытия, для разработки которых мне необходимо поступить в университет, но враги мои завидуют мне и ставят препятствия. Когда врач заинтересовался содержанием моей тетради, я изложил ему свои мысли о психо-физической энергии. Они понравились ему. Он постукал меня пальцами по лбу и одобрил строение моего черепа. Это был человек пожилой, внимательный, по натуре не сухой.

Несколько недель провел я в госпитале, сидя один в маленькой комнатке, как узник, приговоренный к одиночному заключению. Чтобы не потерять душевного равновесия, я заполнял часть своего времени строго определенною умственно рюаботою, именно начал припоминать одну за другою геометрические теоремы, по возможности в порядке пройденного в гимназии учебника, и доказывать их. Измерив шагами свою комнату, я установил длину прогулок по ней. Всего тяжелее было то, что даже и в запертой комнате, находясь в одиночестве, нельзя было сбросить с себя свою роль и стать вполне самим собою: в комнате был глазок, к нему

часто подходил служитель; я всегда мог оказаться подвергнутым наблюдению.

Наконец, меня перевезли из Сиди-бель-Аббеса в большой приморский город Оран и поместили в центральном военном госпитале. В нем я пробыл еще несколько недель опять таки в отдельной комнате в совершенном одиночестве. Кормили скудно. Я был постоянно голоден, и сновидения мои по ночам были чрезвычайно однообразны: мне виделось всегда, что я со своими приятелями или дома вкусно и обильно ем. На правой щеке вблизи скулы опять образовалась опухоль; ее вскрыли и дезинфицировали каким-то раствором.

Однажды служитель, выходя из моей комнаты, не запер ее; через несколько минут дверь открылась и ко мне вошел в больничном халате высокий изможденный человек с безумно горящими глазами; он начал мне что-то говорить и потом вдруг пустился приплясывать, приходя в состояние все большего возбуждения. Я чрезвычайно испугался, но все же не упустил случая и тут сказать несколько слов о своих врагах. К счастью, вскоре появился служитель и увел из моей комнаты сумасшедшего, о котором он сказал мне, что этот человек заболел от неумеренного употребления обсента.

Наконец, состоялось решение отпустить меня. Мне была выдана солдатская книжечка с отметкою „réformé“. Возможно, что врачи догадывались о моем притворстве, но были люди добрые и не захотели погубить меня. Во всяком случае я сохраняю к ним и к Франции чувство глубокой благодарности.

В Оране я был посажен на какое-то военное судно, которое доставило меня в Марсель. Так как я заявил, что хочу ехать в Швейцарию, то мне был дан железнодорожный билет до границы, именно до города Pontarlier.

Я вышел из поезда без копейки денег, голодный, в костюме французского солдата, не зная, что предпринять дальше. Кто-то меня надоумил пойти в канцелярию, кажется, местного префекта, чтобы получить там билет на право ночлега и пропитания в каком-то трактире. Разговаривая с группою людей, обсуждавших со мною вопрос, как мне достать денег из Швейцарии, я помнил, что нахожусь еще во Франции, и говорил о преследующих меня врагах и защищающих меня от них друзьях, которые дадут мне убежище в Швейцарии.

Среди моих слушателей был господин в штатском с большою бородою, который с этих пор вплоть до моего отъезда не переставал следить за мною. Думаю, что это был агент тайной полиции. В числе моих собеседников был молодой человек Mr. Pidarcet, служащий линии Paris — Lyon — Mediterranée, он предложил мне дать взаймы денег на телеграмму, по которой мне выслали бы деньги из Берна. Мы с ним отправились на телеграф и я отправил телеграмму другу своему Кравцу,

Получив билет на право дарового ночлега, я отправился в трактир вдовы Соннэ (veuve Sonnet). Это было заведение весьма третьеразрядное, посещаемое бродягами, нищими, пропойцами. Когда я ужинал, на стуле у окна сидела какая-то женщина с довольно красивыми резко очерченными чертами лица, но несколько возбужденным видом, по-видимому находившаяся в состоянии легкого опьянения. Она спорила о чем-то с хозяйкою трактира, а маленькая девочка, дочь ее, стоявшая у ее колен, настойчиво кричала соей матери: „Veux tu te taire! Veux tu te taire!“ (Замолчи! Замолчи!).

В спальне, слабо освещенной ночником, стояло более десяти кроватей. Некоторые из них были заняты, одни мужчинами, другие женщинами. Когда я разделся, какая-то сомнительного вида женщина подняла голову и стала звать меня к себе, предлагая свои услуги. В ужасе и отвращении я притворился спящим.

На следующий день я попал в еще более трудное положение. Присмотревшись ко мне, вдова Sonnet поняла, что я человек образованный и что мне может предстоять приличное будущее. Ей было лет сорок, черты ее лица были приятные, но уже носившие следы начинающегося увядания. Она взяла меня за обе руки и стала говорить, что если бы я женился на ней, она достала бы мне место в банке и я отлично устроился бы в Pontarlier. Я ответил, что вряд ли это было бы легко сделать, потому что у меня есть могущественные враги, которые всюду преследуют меня; во всяком случае, прибавил я, теперь мне необходимо поехать в Берн и там я подумаю о сделанном мне предложении.

Не успели мы закончить этого разговора, как появился господин с длинною бородою, который сообщил мне, что получен по телеграфу денежный перевод на мое имя. Через

два часа я уже садился в поезд. Господина Pidarcet я не мог найти в это время дня; некоторые свидетели моего вчерашнего приезда стояли у окна вагона, я вручил господину с длинною бородою свой долг для передачи доброму Пидансэ и распрощался с Понтарлье. Через несколько часов я был в Берне окруженный дружескими заботами Кравца.

Алжирские приключения мои закончились благополучно. Провиденциальный смысл их в моей жизни мне не ясен. Возможно, что в феврале этого года у меня начиналась тяжелая болезнь, которая могла свести меня в могилу, но климат Алжира весною и летом исцелил меня.

Кравец достал откуда-то штатское платье и на следующий день мы пошли в лавку старьевщика продавать мой солдатский костюм — красные штаны, синюю куртку и шарф. Через несколько минут в лавку вошел какой-то человек и грубым тоном стал спрашивать, кто я такой. Я ответил ему, что не считаю нужным давать ему в этом ответ. Тогда он грубо схватил меня за плечо, назвался агентом полиции и повел меня с Кравцем в полицейское управление. Пока мы шли, толпа собиралась вокруг нас, мальчишки забегали вперед и заглядывали нам в лицо; я был в бешенстве, а Кравец шагал с невозмутимым видом. Мой солдатский билет был достаточным объяснением попытки продать солдатскую форму, и мы в полиции были тотчас же отпущены на свободу.

Во мне созрело решение ехать домой в Россию, скопить себе денег каким-либо трудом и тогда вновь отправиться за границу для завершения своего образования. Кравец одобрил этот план. Решено было, что я поеду через Берлин. Мне дали адрес лица в Эйдткунене, к которому можно было обратиться для перевода через границу. Студентка Иогансон сообщила на всякий случай адрес своих родителей в Вильно, чтобы я зашел к ним, если остановлюсь в этом городе.

Через две недели, распрощавшись с Кравцем, я отправился в путь. Больше мне не суждено было встретиться с ним в жизни. Спустя много лет я слышал от Лиознера, что Кравец стал окружным врачом во Франции, где-то в провинции, и что он сравнительно рано умер.

В Эйдткунене я пошел по указанному адресу. Меня посадили в уединенную комнатку, окна которой выходили на двор, и обещали перевести ночью через границу в Вержбо-

лово. Вечером же сказали, что в эту ночь перейти не удастся, придется ждать следующей ночи. Прошел еще томительный день ожидания взаперти. Наконец, на следующий день, когда стало уже совершенно темно, меня свели с двумя другими лицами, желавшими перейти границу. Это был пожилой еврей, портной, с женою; они несколько лет тому назад эмигрировали в Соединенные Штаты, им не повезло и теперь они возвращались на родину, удрученные своею неудачею.

К нам приставили молодого сильного парня, по-видимому литвина, который должен был перевести нас через границу. Мы пошли задворками, закоулками, стали красться по межам полей овса и каротфеля, согнувшись, чтобы нас не было видно издали. Когда мы приблизились к границе, проводник наш посадил нас в канавке, а сам пошел проведать, где находится пограничная стража. Более четверти часа мы сидели и ждали его. Отблеск огней Эйдткунена, с одной стороны, и Вержболова, с другой, на облаках казался зловещим заревом. Ночь была прохладная, августовская. Старик еврей вздыхал и молился; не переставая молиться, он вдруг коснулся моих брюк, пощупал их и сказал: «Добротная!», то есть констатировал доброкачественность материи.

Наконец, пришел наш проводник; следуя за ним, нам пришлось перебраться через ручеек. По каким-то огородам мы дошли в Вержболово до корчмы, где остановились мои спутники, а меня проводник доставил на вокзал и посадил посреди зала III класса на скамейку, окружавшую колонну. Он сказал мне, что придет, когда пора будет покупать билет, и ушел.

Через несколько времени появился жандарм и прошел мимо меня раза два, поглядывая на меня. Когда он удалился, мой проводник подошел ко мне и сказал, что надо дать жандарму сколько-нибудь денег, иначе он потребует у меня документы. Денег у меня оставалось в обрез, ровно столько, чтобы купить билет до Витебска. Я сказал это проводнику, но он ответил: «Что же делать! Купите билет до Вильно». Пришлось отдать последние деньги и купить билет только до Вильно. Система запугивания и обирания несчастных беспаспортных на границе была, очевидно, разработана в высшей степени совершенно.

Приехав в Вильно без копейки денег, я решил отправиться

пешком в Ораны, место летних лагерей артиллерии. Я знал, что там обыкновенно живет летом добрый знакомый наш артиллерийский офицер Г. со своею семьею. У него я рассчитывал достать деньги на билет до Витебска. Вещей у меня с собой не было; предвидя переход через границу, я ехал налегке, имея в руках лишь сверток с «Физикою» Краевича и тетрадь для записей своих мыслей.

Вспомнив, что госпожа Иогансон дала мне адрес своих родителей, я пошел к ним, рассчитывая оставить у них этот сверток, который стеснял бы меня при переходе на далекое расстояние. Семья Иогансонов встретила меня радушно; кроме стариков родителей, там были и молодые люди, которые живо интересовались жизнью за границею. После оживленной беседы они пригласили меня остаться у них пообедать. Я был очень голоден, так как не ел уже целые сутки; в кармане у меня не было ни копейки. Обед был бы для меня настоящим благодеянием, но именно поэтому я стеснялся принять любезное приглашение, отговорился тем, что у меня нет времени, и ушел, ничего не рассказав о своем трудном положении.

Когда я разузнал точно дорогу в Ораны, наступил вечер и пускаться без денег ночью по совершенно незнакомой местности было рискованно. Я вышел из города и лег спать на сухом пригорке. Голод мучил меня, было холодновато, ночь была ясная, звездная. Измученный усталостью я, наконец, уснул. Разбудил меня какой-то невероятный грохот. Я вскочил и увидел приближающиеся к себе огненные глаза поезда. Оказалось, что я, не зная того, расположился ночевать вблизи полотна железной дороги. Под утро я вернулся в город, нашел на бульваре удобную скамью и, сидя на ней, дремал, клюя носом.

Было уже часов семь утра, когда я увидел недалеко от себя на другой скамье молодого человека, очевидно такого же бездомного, как и я. Он тоже клевал носом и, просыпаясь, поглядывал на меня. Он подсел ко мне и мы разговорились. Узнав, что я собираюсь идти в Ораны к своим знакомым, о нсообщил мне, что в этом году артиллерия из Двинска в Ораны не приходила и что, кажется, вообще обычные в этом месяце летние упражнения не состоялись. Он сказал мне также, что у него есть знакомый машинист, который

поедет с вечерним поездом в Двинск; его он может попросить взять меня на паровоз.

Предстояло теперь достать хоть немного денег, чтобы поесть. Мой новый знакомый, который тоже был голоден, и тут научил меня: он посоветовал мне продать жилет. Мы пошли к старьевщику, на вырученные за жилет деньги купили хлеба, свежепросольных огурцов и плотно закусили. Мало того, у меня осталось еще копеек 35.

Дождавшись вечера, я пришел на вокзал, где меня встретил мой знакомый и свел меня с машинистом. Он был настолько добр, что принял меня к себе на паровоз. Оказалось однако, что на полпути, в Свенцянах, он сойдет с паровоза и почему-то не может устроить мне дальнейшую поездку с новым машинистом.

Была полночь, когда я сошел с паровоза, и пошел по шпалам в Двинск. Мне предстояло около ста верст пути. Ночь была ясная, луна начала подниматься на горизонте. Я вошел в густой длинный лес. Вдали послышался вой, я подумал, что это воет волк и почувствовал, как волосы буквально поднимаются дыбом на голове. Любимого ружья, которое прежде сопровождало меня в ночных похождениях и придавало мне храбрости, со мною не было. К счастью однако, все обошлось благополучно.

Истратив по пути копеек пять на пропитание, я купил днем, кажется на станции Турмонт, билет и проехал верст тридцать поездом с таким расчетом, чтобы успеть часам к 8-ми дойти остальное расстояние до Двинска. Это был уже тритий раз в моей жизни, что я в течение двадцати часов прошел семьдесят верст (восемьдесят километров).

Вечером, когда уже темнело и показались огни Двинского предместья, позади меня вышел на шпалы какой-то подозрительного вида человек и окликнул меня. Зная, что это предместье славится своими грабежами, я ускорил шаг, но и незнакомец пошел быстрее, я побежал и он тоже побежал за мною. Молодые годы помогли мне. Кончилось тем, что преследовавший меня человек закашлялся и перестал гнаться за мною. Через час я уже был в уютной столовой за самоваром среди старых добрых знакомых, а на следующий день благополучно приехал в Витебск в свою семью.

Товарищи мои, Тесленко, Заблоцкий, кончили курс гим-

назии и поехали в Москву в университет. Ланге два года тому назад, когда Лиознер и я были удалены из гимназии, не захотел оставаться в Витебске и перевелся в гимназию в Псков. Он тоже получил уже аттестат зрелости и поехал в Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Мысль о том, что товарищи мои продолжают свое образование, а я остаюсь в крайне неопределенном положении, глубоко удручала меня. Пережитые за границею неудачи вызвали во мне глубокую душевную депрессию. Однако, мой умственный труд и самообразование я продолжал энергично. В это время я читал такие книги, как «Логика» Милля, «История философии» Льюиса, «История цивилизации» Бокля и т. п.

У семьи нашей появился новый знакомый Николай Макарович Миловзоров, преподаватель духовной семинарии, человек образованный. с глубокими духовными интересами. Он познакомился с нашею матерью на могиле сестры Элеоноры. Оказывается, он был влюблен в нее, не будучи знаком с нею. Видел он ее, вероятно, каждый день, когда оба шли на службу и проходили мимо друг друга. Когда она умерла, мама недоумевала, кто приносит каждый день свежие цветы на могилу. Наконец, при посредстве кладбищенского сторожа, они встретились, он рассказал матери свой роман и сделался другом семьи. Он принимал большое участие во всех семейных затруднениях, между прочим помогал брату моему Володе в его занятиях греческим и латинским языками.

В уме моем сложился план изучить какое-либо несложное дело, которое дало бы мне возможность поступить на службу, скопить немного денег и вновь поехать за границу для поступления в университет.

У нашей семьи была добрая знакомая Полина Семеновна Вербицкая, брат которой жил в Петербурге и был в хороших отношениях с Езерским, изобретателем тройной бухгалтерии. Благодаря ходатайству Вербицких, Езерский согласился принять меня бесплатно на свои бухгалтерские курсы. В декабре 1889 г. я отправился в Петербург учиться бухгалтерии.

Чтобы не возвращаться больше к Витебской гимназии, скажу несколько слов о некоторых товарищах, судьба которых известна мне. Пржевальский начал с успехом работать

в газетах, но в полном расцвете сил почему-то покончил с собою самоубийством. Имя Мурзич встретилось мне только раз лет через десять: в «Новом Времени» был напечатан его фельетон «О котах и сутенерах».

Глава четвертая

ГИМНАЗИЯ И УНИВЕРСИТЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ

Тройная бухгалтерия Езерского отличается от двойной тем, что каждая операция записывается не дважды, как в двойной бухгалтерии, на приход и на расход, а трижды: третья запись — в счете прибылей и убытков. Таким образом о доходности предприятия можно судить не только в конце отчетного периода, но и в каждый момент ведения дела. Кроме бухгалтерии, преподавалась еще коммерческая арифметика, коммерческая корреспонденция и торговое право. Курсы были, кажется, полугодовые.

Езерский очень любил свое дело. В день праздника по поводу годовщины основания школы он произнес речь, в которой говорил о чрезвычайной важности учета и, следовательно, бухгалтерии для всех деятельностей человека. Выходило так, что бухгалтерия — важнейшая наука, и что преподавать ее надо во всех средних и высших учебных заведениях.

Общество, с которым я встретился на курсах, вовсе не соответствовало моим интересам и уровню образования, за исключением одного лица. Это был Александр Андреевич Фаусек, брат зоолога Виктора Андреевича. Он был исключен из 8-го класса гимназии и потому поступил на бухгалтерские курсы. Происходил он из культурной семьи, обладал порядочным образованием и тонким эстетическим вкусом. Мы с ним сошлись и охотно работали вместе.

Комнату я нанял, помнится, за три рубля в месяц на углу Литейного проспекта и Невского в пятом этаже, окном во второй двор. Она была так мала, что кроме кровати в ней мог поместиться только ночной столик и стул. Она была отделена перегородкою от кухни так, что в ней было только пол-окна. Однажды Фаусек зашел ко мне в промозглый

день, когда была оттепель; он невольно воскликнул, что такой дом, двор и комната бывают только у героев Достоевского. Вскоре, впрочем, с помощью своих новых товарищей я нашел более удобное помещение где-то на Фонтанке.

В одно из воскресений я пошел с визитом ко Льву Николаевичу Лосскому. Я знал, что связь его с нашею семьей была укреплена за несколько лет до того знакомством с ним моего брата Онуфрия. По окончании кадетского корпуса он учился в Михайловском Артиллерийском училище в Петербурге и в свободное время часто посещал семью Лосских.

Лев Николаевич жил в Саперном переулке вблизи Преображенской церкви. Он был женат на дочери профессора Восточного факультета Голстунского, Евгении Константиновне. Ему было лет 35, а жене его тридцать лет. У них была дочь Люся (Людмила) семи лет. Они приняли меня хорошо и пригласили приходить к ним каждое воскресенье обедать и проводить вечер у них.

Лев Николаевич в это время приобрел уже известность, как талантливый присяжный поверенный, специалист по гражданским делам. С каждым годом он получал все более выгодные дела и средства его стали быстро возрастать. Кроме юриспруденции он любил еще музыку. Учиться играть на рояле он стал очень поздно, по окончании университета. Как только у него появились средства, он купил превосходный рояль и прекрасно исполнял произведения классической музыки, а также собственные композиции. Я любил слушать его соображения о запутанных гражданских делах, его четкое изложение сложных юридических конструкций с тонкими различениями понятий, но еще более нравилась мне его музыка.

Впрочем, мною он занимался мало. У него были сильные интересы вне семейной жизни. Он был красив, остроумен, любил ухаживать за дамами. В это время у него был роман с какою-то артисткою. Молодая жена его догадывалась о его похождениях и очень страдала. Она была высокого роста, смуглая брюнетка, с оригинально красивыми тонкими чертами лица. Она хорошо знала русскую художественную литературу, любила декламировать отрывки из произведе-

ний Пушкина и других поэтов. На любительских спектаклях она выступала всегда с успехом.

Лосские обратили внимание на своеобразные черты моего характера — страстную любовь к науке и интерес ко всем областям духовной культуры. Они заинтересовались мною, особенно Евгения Константиновна со свойственною женщинам чуткостью прониклась желанием устроить мою судьбу. Она познакомила меня с семьею своих родителей. Отец ее, Константин Федорович Голстунский, был старый заслуженный профессор, специалист по монгольскому языку и литературе. Он был человек добрый и чистый сердцем, как дитя. Дочь его Ольга была замужем за профессором Восточного факультета Алексеем Матвеевичем Позднеевым. Были у них еще дочери Наталья, Вера и сын Федор почти одних со мною лет. В семье их, приезжая к ним иногда в праздничные дни с Евгениею Константиновною, я познакомился со многими профессорами Восточного факультета и с профессором астрономии Александром Маркеловичем Ждановым.

Занятия мои на бухгалтерских курсах шли тем временем хорошо. Мы с Фаусеком решили окончить курс в ускоренном порядке. С этою целью брали на дом тертради для практических упражнений, например, по фабричной бухгалтерии, по банковой, по земской бухгалтерии и проводили иногда вместе целую ночь, заполняя тетради решением соответствующих задач. В мае месяце 1890 г. мы приступили к выпускному экзамену и сдали его вполне хорошо. Тотчас же по получении аттестата я получил предложение поехать в Вязьму бухгалтером в банкирскую контору.

Однако, отправляться в Вязьму мне не пришлось. Лев Николаевич и Евгения Константиновна решили помочь мне добраться до университета более коротким, прямым путем. Они обещали попытаться добиться для меня разрешения поступить в восьмой класс гимназии. Евгения Константиновна воспользовалась для этой цели влиянием своего отца в Министерстве народного просвещения. Она попросила его поехать к министру Делянову и похлопотать у него за меня. Константин Федорович поставил условие: «Пусть он даст слово, что в учебном заведении не станет заниматься политикою». Евгения Константиновна передала мне свой разговор с отцом и прибавила: «Коля, дайте слово, что не будете

заниматься политикою». — «Нет» — ответил я, — «не могу дать слова: я буду поступать согласно своим убеждениям». Евгения Константиновна передала мои слова Константину Федоровичу и он отказался ехать к Делянову. Тогда она со слезами стала упрашивать своего отца, обещая поместить меня в своей семье и взять на себя ответственность за меня. Голстунский надел свой мундир с орденами и поехал к Делянову. Министр потребовал мое дело из канцелярии и, увидев его пустячность, разрешил мне держать осенью экзамен в VIII класс гимназии при Историко-филологическом институте.

Лосские наняли на лето дачу в селе Мартышкине между Ораниенбаумом и Петергофом. Я поселился в их семье. Так как степень родства нашего трудно было установить, то было условлено, что я буду считаться племянником Льва Николаевича.

Мне предстояло в течение двух с половиною месяцев подготовиться к сдаче более, чем двадцати экзаменов. Вследствие того, что в течение всех своих странствий я не переставал учиться, повторить весь гимназический курс мне было не трудно, за исключением латыни и греческого языка, которыми я вовсе не занимался два года. Лосские пригласили для меня репетитором по этим языкам Бориса Александровича Тураева, который впоследствии стал известным египтологом и профессором Петербургского университета. В то время он, кажется, только что окончил курс университета и жил со своею матерью на даче в Петергофе. Его точный ум и хорошее знание классических языков очень помогли мне быстро восстановить забытое и хорошо подготовиться к экзамену. Глубокая религиозность Тураева, который впоследствии, уже будучи профессором, всегда читал Апостола в университетской церкви, не могла не привлечь к себе моего внимания.

Вернувшись с дачи, Лосские поселились на Литейном проспекте рядом с домом Победоносцева в квартире, которую перед тем занимал сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин. Мне предстояло в течение нескольких дней сдать более двадцати экзаменов, некоторые из них были письменные. По русскому языку было задано сочинение на тему «Знание о чужой душевной жизни». Меня этот вопрос интересовал уже давно,

как раз на эту тему мною был летом прочитан фельетон Эльпе в «Новом Времени». Я написал сочинение хорошо. Между прочим, я указывал на то, что в некоторых затруднительных случаях подражание внешним проявлениям наблюдаемого лица может помочь проникнуть в его внутренний мир.

Учитель словесности, кажется Орлов, сообщил начальству гимназии о моем сочинении. На следующий день директор Историко-филологического института Кедров пришел на мой экзамен, поздравил меня с блестяще написанным сочинением и сказал: «Желаю вам успеха. Очень рады иметь в нашей гимназии ученика с такими интересами и знаниями». Я был принят в гимназию и с этих пор беспрепятственное прохождение всех ступеней образования было для меня обеспечено.

Учиться в восьмом классе гимназии мне было легко. Среди учителей были очень выдающиеся знатоки своего предмета, например, словесник Орлов, учитель истории Андрианов, преподаватель греческого языка Томасов, латыни — Санчурский. Из товарищей моих особенно помню Нарбута, который по окончании гимназии прошел курс Военно-медицинской Академии и Историко-филологического факультета. Он стал специалистом по невропатологии и был профессором Военно-медицинской Академии.

Особенно интересен был остроумный Витмер. Он был крайним скептиком, пессимистом и злостным атеистом. Страдая туберкулезом в тяжелой форме, он знал свою обреченность и не мог простить судьбе своего несчастия. Беседы с ним были интересны, но его кощунства и едкие нападения на Церковь отталкивали меня, хотя я в это время и сам был материалистом-атеистом. Вскоре после окончания мною гимназии Витмер умер.

Вспоминается мне еще немец К. Идя однажды со мною после уроков по набережной Невы на Васильевском острове (Историко-филологический институт и гимназия при нем были рядом с университетом), К. сказал, что читает «Мертвые души» Гоголя и восхищается Чичиковым, как прекрасным изображением положительного типа.

После всего пережитого мною за границей, после того, как я уже был студентом швейцарского университета, мне было

странно сидеть опять на гимназической скамье. Особенно казалось мне унизительным надевать на спину ранец с книгами, как требовали правила того времени. Евгения Константиновна, следя за исполнением мною требований гимназической жизни, сама надевала на меня ранец по утрам, но на улице я снимал его и нес в руках.

Времени свободного у меня было много. Я мог употреблять его на усиленное чтение. Мое знакомство с русскою и иностранною художественною литературою очень пополнилось в это время. Евгения Константиновна часто читала мне по вечерам наиболее значительные отрывки из русских поэтов, из Шиллера, Шекспира и др. В свою очередь я читал ей свои рассказы.

Один из них, «Дикая утка», мне кажется, был вполне удачен. Содержание его было такое. Осенью на Неве можно было видеть небольшие стаи диких уток. К зиме они исчезали, но однажды я заметил в начале ледохода дикую утку, которая не улетела даже и в эту пору. Я решил, что она была летом подстрелена и не могла летать. Красивый ледоход на Неве осенью после внезапных морозов на Ладожском озере и гибель дикой утки были темою моего рассказа.

Общение с тетушкою, которая принимала живое участие во всех моих духовных интересах, было мне очень приятно. Мое воображение вскоре было совершенно пленено ею. Большим огорчением было для меня обилие эффектных ухаживателей за молодою красивою женщиною, страдавшею от небрежного отношения мужа к ней. Большею частью это были присяжные поверенные или вообще лица, стоящие близко к судебному миру. Когда тетушка моя ездила с кем-либо из них в театр или вообще оказывала внимание кому-либо из них, я позволял себе критиковать ее поведение, читать нотации, говорить колкости. Добрая тетушка переносила мое несносное поведение с большим терпением и все прощала мне.

Жизнь ее была не легкая. Похождения мужа глубоко ранили ее сердце. Дочь Люся была умная, но самовластная и капризная девочка. Вспоминая, как, например, она летом, отправляясь с нами на прогулку, начала плакать и приставать к матери с вопросом, что будет, если во время прогулки ей захочется пить, а напиться будет нечем.

Выпускные экзамены я сдал хорошо. В аттестате моем мне

была дана такая характеристика: «любознательность живая ко всем предметам». Предвкушая поступление в университет, я провел лето в семье Льва Николаевича на даче в Райволе (по Финляндской жел. дор. километрах в 70 от Петербурга).

Будучи свободен от обязательных занятий, я много читал и опять начал совершать далекие прогулки пешком или на лодке по рекам и озерам, занимаясь ужением рыбы. К охоте с ружьем я более не возвращался: мне стало неприятно думать, что выстрелом из ружья я убиваю птицу, которая только что была полна жизни и веселья. Из книг, прочитанных мною в это лето, я особенно вспоминаю обширную двухтомную биографию Гёте Льиса и «Исповедь» Руссо. Из прогулок на лодке особенно хороша была поездка километров за двадцать по реке Линдула-иоки (кажется) на Кау-ярви (Красавица-озеро).

Это громадное озеро с высокими берегами, покрытыми рощами и лугами, с богатою виллою, принадлежавшею, кажется, золотопромышленнику Серебрякову, было действительно великолепно. Я провел на нем целый день, купаясь, читая «Исповедь» Руссо и занимаясь ужением рыбы.

Осенью 1891 г. я поступил в университет на Естественно-научное отделение Физико-математического факультета. Лев Николаевич упрекал меня, говоря, что выбор мой непрактичен, диплом естественника не открывает никакой дороги в будущем. Он убеждал поступить на юридический факультет и впоследствии быть у него помощником присяжного поверенного. Но я и слышать не хотел об этом; я говорил, что меня интересует чистая наука, а не практическая деятельность.

В действительности, опытное лицо, наблюдая мое чтение и знакомясь с темами моих размышлений, тотчас поняло бы, что мои интересы направлены на философию. Подобно многим «русским мальчикам», о которых говорит Достоевский, я хотел иметь отчетливо формулированное миропонимание. Так как интерес этот был у меня первостепенным, то мне следовало заняться изучением истории философии и поступить на Историко-филологический факультет. В самом деле, в то время все философские предметы были приурочены к Историко-филологическому факультету и на Физико-мате-

матическом факультете ни с одним из них нельзя было познакомиться. Однако мне это и в голову не приходило. Я в это время был убежден в истинности механистического материализма. Поэтому я был уверен в том, что изучить физику, химию и физиологию это и значит получить знание об основах строения мира.

Благодаря хлопотам проф. Голстунского и Позднеева мне, хорошо кончившему курс гимназии, была дана сначала стипендия Литературного общества, а потом Императорская стипендия, двадцать пять рублей в месяц. Поселившись в коллегии Императора Александра III, я легко мог жить на эти деньги, слегка прирабатывая иногда уроками. В течение первых двух лет студенты получали одну комнату на двоих. На первом курсе товарищем по комнате был Вадим Александрович Юревич, а на втором курсе — Волошинов. На третьем курсе я получил уже право на целую комнату. Из окна ее был прекрасный вид на Исаакиевский собор, он был особенно хорош в лунные ночи.

Занятия естественными науками увлекали меня чрезвычайно. Особенно любил я ботанику. Уже летом до начала занятий в университете я приобрел курс ботаники проф. Бекетова и в Райволе начал заниматься определением растений. Лекции А. Н. Бекетова нравились мне не только потому, что я любил ботанику, но еще и потому, что сам Бекетов, убеленный сединами старец, был чрезвычайно благородным представителем дворянской тургеневской культуры XIX века.

На первом и втором курсах университета я думал, что моею специальностью будет ботаника и в особенности физиология растений. Я приобрел определитель московской флоры Кауфмана, а потом купил Маевского «Флора Средней России», как только появилась эта книга, и стал составлять гербарий. Ботанизируя в окрестностях Петербурга, в Семенове и потом в Псковской губернии, я через несколько лет составил большой гербарий северо-западной русской флоры.

Занятия эт именя увлекли потому, что у меня зародилась мысль, наблюдая у множества растений соотношение между расположением листьев на стебле и т. п. свойствами их, построить теорию цветка.

Любовь к ботанике сочеталась у меня со всегдашнею страстью к прогулкам и общению с природою. По воскресеньям я часто отправлялся за город; ближе всего был Удельный парк, но иногда я ездил и дальше в Павловск, в Ораниенбаум. Весною отправлялся в лес за первыми цветами — мать-мачехою, голубенькою печеночницею (Hepatica triloba), анемонами. Много прогулок совершал я также на Островах и по набережным Невы, погружаясь в размышления, темою которых были преимущественно философские проблемы. Перед сном часто гулял по пустынным набережным Невы, слушая меланхолический звон курантов Петропавловской крепости и думая о метафизических вопросах.

С большим рвением занимался я также химиею. Кроме качественного анализа, я взял также и практические занятия по количественному анализу. Профессором был у нас Д. П. Коновалов: Д. И. Менделеев ушел из университета в предыдущем году. Коновалов читал лекции чрезвычайно эффектно, сопровождая их множеством демонстраций, хорошо подготовленных и потому неизменно удачных. Особенно любил он реакции, сопровождаемые взрывом.

Наибольшее значение для всех моих дальнейших работ по психлоогии и даже философии имели лекции по анатомии Петра Францевича Лесгафта и практические занятия у него. Лесгафт был ученый, страстно любивший свою науку. Преподавание анатомии превращалось у него в изложение целого мировоззрения.

Подчеркивая связь между строением органа и функциею его, Лесгафт выводил из строения функции или, наоборот, из функции строение и свою книгу по анатомии написал так, что она полна была обобщений, выражающих соотношение между тканями, органами и особенностями их структуры. Согласно своим педагогическим теориям, требовавшим развития мышления и проверки результатов мысли опытом, он сначала путем ряда умозаключений строил орган в уме слушателя, а потом демонстрировал препараты, воочию показывавшие правильность его дедукции.

Будучи сторонником механистического миропонимания, Лесгафт отрицал наследственность. Он утверждал, что зародыш получает от своих родителей только больший или меньший запас энергии и все развитие его строения зависит от

проявлений акитвности этой энергии в соотношении с механическими условиями среды. Еще более ненавистен был ему дарвинизм. Он говорил, что объяснение происхождения видов ссылкою на борьбу за существование и переживание приспособленных, есть схоластика, подменяющая наблюдение фактов словесными схемами.

Сам он придерживался своеобразно модифицированного ламаркизма, выводя изменение строения организма и развитие новых форм из упражнения или неупражнения органов. Замечательно, что в основе научных симпатий и антипатий Лесгафта лежали не столько теоретические, сколько практические, именно нравственные, требования: его идеалом в жизни была свобода и самостоятельность личности, проявляющей себя в честном общественно-полезном труде, а в науке его интеллектуальная совесть требовала ясной и отчетливой мысли, проверяемой опытом.

Его лекции, содержавшие в себе изложение системы биологии, иллюстрируемой многими примерами из жизни животных и человека, имели целью не только собощать теоретические сведения, но и воспитывать нравственный характер слушателей. Ценил он только тех студентов, которые не ограничивались слушанием лекций, но принимали также участие в практических работах и обнаруживали при этом настойчивость и выдержку.

Лесгафт был в университете приват-доцентом. От профессуры он отказался для того, чтобы сохранять свободу. Так, например, он читал свой курс анатомии для натуралистов три года, тогда как обязательный курс, читаемый профессором, был краткий, годовой. Не удивительно поэтому, что первый год Лесгафта слушало множество студентов, человек четыреста, но, сдавши в конце года экзамен у профессора по краткому учебнику, они на второй год уже не продолжали заниматься анатомиею. Заключение своего курса на третий год Лесгафт читал уже не в университете, а у себя на дому в доме графа Левашова на Фонтанке № 18 (рядом с Департаментом полиции).

Третий год был посвящен проблемам психологии в связи с анатомиею и физиологиею. Лесгафт уделял в нем много места учению об эмоциях, особенно о чувственных страстях и связанных с ними изменениях в строении тела; он излагал

при этом подробно учение о выражении эмоций и приносил трактаты на эту тему, снабженные иллюстрациями.

На третьем году занятий у Лесгафта мое внимание особенно сосредоточилось на эмоциях и характере человека. Неустанно занимаясь самонаблюдением, я особенно научился подмечать органические ощущения в составе эмоций и вообще душевной жизни, а также локализацию их в теле. Наблюдая также мельчайшие телесные проявления душевной жизни всех лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться, я захотел точнее познакомиться с мускулатурою лица.

С самого первого года я принимал участие в практических занятиях у Лесгафта, напр. занимался препаровкою мускулов руки, ноги и т. п. На третьем курсе я попросил Лесгафта дать мне голову для препаровки мускулов лица. Через несколько месяцев он дал мне голову, кажется какого-то солдата, умершего в госпитале. Занятия эти впоследствии очень повлияли на развитие моих психологических и философских учений.

Наука так увлекала меня, что политикою я интересовался в это время очень мало. Будучи на первом курсе, в день университетского праздника 8 февраля я пошел на банкет, ежегодно устраиваемый студентами левых политических групп. В этот день во всех ресторанах устраивалось множество больших и малых собраний, обедов, вечеринок профессорами, а также бывшими и настоящими студентами. Любители выпить и покутить давали себе полную волю. Полиция смотрела сквозь пальцы на поведение студентов в этот день. Шалости молодых сорванцов иногда заходили очень далеко. Например, в один из таких праздников ночью подпившие студенты, проходя по Аничкову мосту, на котором по четырем углам его стоят известные статуи бар. Клодта, изображающие коня, вставшего на дыбы и укрощаемого волею человека, забрались на спину коня.

Банкет, на который я пошел, был устроен в большом зале какого-то второстепенного ресторана. Присутствовало на нем более тысячи студентов. Приглашены были любимые студентами прфоессора и писатели, например, Михайловский. Во время чаепития они произносили речи на политические и социальные темы, довольно умеренные. После отъезда

гостей начались речи студентов, все более горячие и откровенные. Наконец, на стол вскочил встудент-естественник Т., социалист, и начал произносить резко противоправительственную речь. Внезапно огни погасли, все вскочили со своих мест. Когда огни опять зажглись, я увидел среди студентов множество лиц, хотя и наряженных в поношенные студенческие мундиры, но имевших физиономии столь грубые и примитивные, что допустить принадлежносьт их к составу студентов было невозможно. Был ли кто-либо арестован, — я не знаю.

На лекциях в первые же дни я обратил внимание на студента с большим лбом, интеллигентным красивым лицом, который слушал лекции внимательно, заложив ногу на ногу и качая ногою. Мне он очень понравился и я скоро познакомился и сошелся с ним. Это был Сергей Алексеевич Алексеев, сын философа Алексея Александровича Козлова. Сошелся я также вскоре с Сергеем Ивановичем Метальниковым, который стал впоследствии известным биологом, специалистом по иммунитету. Очень хороши были также мои отношения с химиками Владимиром Андреевичем Мокиевским и Похитоновым. С Вадимом Александровичем Юревичем, как уже сказано, я жил в одной комнате в Коллегии.

Думая о том, как мне устроить свою жизнь по окончании университета, я выработал детски фантастический план. Мне улыбалсаь идея заниматься естествознанием, будучи свободным частным ученым. Средства же, необходимые для такой жизни, я думал обеспечить себе путем сельского хозяйства, арендуя какое-либо имение. С этою целью я решил приобретать в университете агрономические знания.

На нашем факультете было агрономическое отделение. Оно было организовано весьма поверхностно. Мне пришло в голову, что для приобретения практических знаний и навыков следует использовать перерывы между семестрами. Я решил поехать на Рождество 1892 г. в село Едимоново Тверской губернии, где находилась сельскохозяйственная школа Верещагина, задавшегося целью поднять в России маслоделие и сыроварение. Я подбил своих товарищей Мокиевского и Юревича поехать со мною и мы поступили в школу Верещагина на месяц. Занятия наши состояли в том, что мы, наравне с другими учениками школы, доили коров, кормили

их, принимали участие во всех операциях, необходимых для варения швейцарского сыра, сыра камамбер и т. п.

Мы наняли себе комнату в деревенской избе, а питались при школе вместе с остальными учениками. Пища была грубая и, может быть, не всегда вполне доброкачественная. Кишечник мой всегда отличался большой чувствительностью. В раннем детстве я едва не умер от вялой деятельности его.

Не удивительно, что через две недели после приезда в Едимоново я заболел. Юревич, который уже в то время решил, что будет врачом, начал лечить меня компрессами и другими средствами. Как только он поставил меня на ноги, мы решили, что оставшиеся две недели Рождественских праздников мы проведем в Москве. Осмотрев древности и достопримечательности Москвы, мы посетили также и ее театры. Ермолова выступала в «Орлеанской деве». Шиллер всегда был моим любимым поэтом. Все главные произведения его я читал в подлиннике. Мы были восхищены игрою Ермоловой и отхлопали ладони, аплодируя ей.

Увлечения мои агрономиею ослабели, но все же отражением их, кажется, даже на третьем курсе был один сложный эксперимент, задуманный мною. Читая книгу по агрономической химии, я пришел к мысли, что в пористой земле воздух находится, может быть, в более сжатом виде и с иным соотношением кислорода и азота, чем в атмосфере. Я попросил у профессора Советова разрешения произвести в помещении агрономического кабинета эксперимент, который дал бы ответ на этот вопрос. Накупив множество реторт, колбочек, трубочек и т. п., я построил очень сложный аппарат. Задача моя состояла в том, чтобы поглотить из-под колокола, где стоял цветочный горшок с землею, весь кислород посредством своего аппарата.

Само собою разумеется, мой эксперимент не дал никаких определенных результатов. Он был слишком сложен для новичка, неподготовленного к ведению опытов путем упражнения на более простых задачах. Еще более сложна была мысль о взаимном уравновешивании океанов и материков, занимавшая меня некоторое время. За разработку ее я, конечно, не мог взяться.

В то же время не менее полугода носился я с мыслью, что открыл один из важных факторов музыки: узнав, что

сокращения мышц в организме производят тона, я пришел к предположению, что музыкальное выражение эмоции находится в связи с этими тонами, пронизывающими тело человека. Одна догадка, пришедшая мне в голову, кажется, уже после окончания университета, представляется мне и до сих пор заслуживающею проверки. Острая боль от ужаления пчелою, шмелем или осою наводит на мысль, что эти насекомые вонзают свое жало прямо в концевые нервные аппараты в коже. Для этого необходимо допустить, что они особенно отчетливо воспринимают в теле поражаемого ими животного его нервные ткани. И в самом деле, известно, что оса-анатом парализует сверчков, погружая свое жало прямо в их нервные узлы.

Ни на одной частной проблеме мысль моя не могла остановиться, пока основная задача, вопрос о строении мира в целом, была не решена. Все вновь и вновь я пытался понять мир, как множество движущихся атомов, отделенных друг от друга пустым пространством и влияющих друг на друга только путем толчка и давления. Это был чисто механистический материализм, весьма примитивный, нечто вроде философии Демокрита. Я обдумывал, например, вопрос, как возможно длительное сосуществование группы атомов в организме при условии, что они удерживаются в данном объеме только взаимными толчками и толчками среды. При этом я пришел к мысли, что механистический материализм обязывает признать не только закон сохранения материи и энергии, но еще и закон сохранения количества энергии, действующей в направлении каждой из координат трехмерного пространства. Отсюда следовало, что материя должна с течением времени бесконечно рассеиваться в бесконечном пространстве.

Этот вывод был в ту пору одним из главных оснований моего сомнения в правильности материалистической метафизики. У меня все более возрастал интерес к учениям великих философов прошлых времен. Руководителя в моих философских исканиях у меня не было и, странным образом, я вовсе не искал никакого руководства. Я действовал так, как будто в мире никого нет, кроме меня и классических философов, учения которых сохранились в книгах.

Уже на первом курсе университетских занятий я начал

ходить в Публичную Библиотеку и читать там сначала сочинения Декарта, потом Спинозы, параллельно знакомясь с общим составом их систем по Куно-Фишеру в русском переводе (в то время существовали в русском переводе четыре тома «Куно-Фишера»: Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, и еще том «Реальная философия и ее век», посвященный английскому эмпиризму).

Приведению в систему моих естественнонаучных занятий содействовало в это время знакомство с философией Спенсера. Я прочитал его «Основные начала», потом «Основания биологии» и, наконец, «Основания психологии». С самого начала студенческой жизни у меня было стремление найти какую-либо литературную работу. Когда О. Нотович, редактор газеты «Новости», напечатал составленную им брошюру, которая содержала в себе краткое изложение «Истории цивилизации» Бокля, мне пришло в голову, что следует дать такое же краткое изложение громадной двухтомной «Системы Логики» Милля.

Я принялся за эту работу и очень увлекся ею. По этому поводу у меня возникло курьезное соперничество с тетушкою моею Евгениею Константиновною. Я часто бывал у Лосских. По вечерам Евгения Константиновна много читала со мною. Она просвещала меня в области изящной литературы, а я вступал с нею и иногда со Львом Николаевичем в горячие споры по вопросам политическим, социальным и философским. Конечно, я всегда считал себя победителем в атких спорах. Евгения Константиновна решила проучить меня и показать на деле, что она тоже способна к отвлеченной мысли. С этою целью она взялась изложить одну из глав логики Милля и, действительно, дней через десять вручила мне тетрадку со своею работою. Я принужден был признать, что изложение ее оказалось вполне удачным. Когда работа была готова, я понес ее к Нотовичу с предложением издать мою брошюру. Нотович стал что-то мямлить, взял мою тетрадь себе на просмотр и как-то заморозил мою работу, не дав ей ходу.

Общие философские интересы все более сближали меня с Сергеем Алексеевичем Алексеевым. Он познакомил меня со своими родителями. Отец его, Алексей Александрович Козлов, бывший профессор философии Киевского университе-

та, находился в отставке: вследствие кровоизлияния в мозг половина тела его была парализована, он с трудом передвигался из комнаты в комнату, поддерживаемый под руку прислугою. Получая хорошую пенсию, он поселился в Петербурге, с большою энергиею продолжал он свою философскую деятельность литературно и находил, что ему удобнее работать, живя в большом умственном центре.

Мать Сергея Алексеевича, Мария Александровна Челищева, была в молодости очень красива. Она принадлежала к родовитой дворянской семье. Семейная жизнь ее с Козловым длилась уже почти тридцать лет, но не могла быть оформлена путем законного брака: Козлов в молодости женился на какой-то малообразованной особе, скоро разошелся с нею, но она не давала ему развода. Это обстоятельство было источником тяжелых мучений для Марии Александровны. Оно было, по-видимому, одною из причин душевной болезни, развившейся у нее под старость, она мучила иногда мужа и сына своими бредовыми идеями о близящемся неминуемом бедствии, о недостатке средств к жизни, о возможности умереть с голоду и т. п. Козлов стойко переносил это насчастие. Всею душою он жил в области философской мысли*.

Он был подобен Сократу: всякая беседа в его присутствии превращалась в диалог, посвященный основным проблемам философии. Высокого роста, с большою седою бородою, крупными выразительными чертами лица и энергичною речью он производил уже своею внешностью большое впечатление на слушателя.

Козлов был лейбницианцем. Главною темою его бесед было учение о субстанциальности я. Критикуя философию Юма, различных представителей позитивизма и сторонников психологии «без души», он остроумно вскрывал несостоятельность всякого учения о том, что я не есть первичное онтологическое начало, что я есть нечто производное, что я есть представление, возникающее в результате накопления бесчисленных ощущений и чувств, связанных между собою ассоциаицями.

---

* Об этом замечательном человеке и пути, которым он пришел к философии, см. С. А. Аскольдов (псевдоним Алексеева) «А. А. Козлов», Москва, 1912.

Отстаивая учение о субстанции, как монаде, Козлов вместе с тем боролся против материализма; развивая гносеологический аргумент против материализма, он доказывал, что в опыте можно найти только психологические процессы и я, как субстанциального носителя их. Под влиянием бесед с Козловым я очень быстро освободился от материализма и перешел к противоположной ему крайности — к *панпсихизму*.

Моими новыми философскими взглядами заинтересовался С. И. Метальников. Он предложил устраивать у него на дому собрания небольшого кружка студентов для обсуждения философских вопросов. В кружке принимали участие, главным образом, Алексеев, Метальников, я, Юревич, двоюродный брат Метальникова В. М. Фатьянов, студент-медик, прекрасно игравший на скрипке, натуралист К. Н. Акерман, иногда брат Сергея Ивановича Николай Иванович и иногда В. А. Макиевский.

В семье Метальникова нас принимали радушно. Мать его, Екатерина Ивановна, души не чаяла в своем сыне и всех друзей его встречала, как родных. Отчим его, почтенный старый генерал Б. И. Виннер, основатель и владелец порохового, а потом также и динамитного завода, был очень занят делами; поэтому мы редко видели его, но всегда встречали с его стороны добродушное внимание. Дела завода шли блестяще. Поэтому у Виннеров были большие средства. Они жили в прекрасном собственном доме на Пантелеймонской улице. В Крыму у них было чудное имение Артек у подножия Медведь-горы (Аю-Дага), рядом с другим Артеком богатого купца Первухина. Гостеприимные Сергей Иванович и его мать пригласили нас приехать к ним летом в Крым. Кажется, в 1894 г. Юревич, Акерман и я провели у них во время каникул недель шесть[8].

Поездка в Крым, которую впоследствии я совершал много раз, произвела на меня большое впечатление. Пересекая Россию с севера на юг от Петрограда до Севастополя, видишь сложный и в то же время гармоничный состав нашей родины: природа различных областей ее и характер населения прекрасно дополняют друг друга, образуя единое могучее целое, сочетающее в себе разнообразные данные для развития богатой содержанием жизни. От березовых и хвойных

лесов севера переходишь к мягкому тургеневскому пейзажу южнее Москвы, потом вступаешь в безбрежные степи, превращенные в сплошное поле пшеницы, и, наконец, попадаешь в чудный райский сад на берегу синего моря, защищенный лесистыми живописными горами от холодного дыхания севера.

Особенно живо вспоминаю прогулку в лодке лунною ночью по морю. Светлая дорожка колебалась в волнах по направлению к Константинополю. На высоком берегу над морем в каком-то дворце внезапно осветились все окна и спустя короткое время так же внезапно погасли, как будто какие-то нездешние гости собрались в залах и самый свет в окнах был призрачным: конечно, этот свет был отражением лунных лучей от стекол при определенном положении лодки.

Все мы, молодые гости, вместе с хозяином Сергеем Ивановичем, спали в саду в беседке, можно сказать, под открытым небом- защищенные от москитов кисеею. На рассвете в полусне мы слышали звуки игры на зурне татарского пастуха в горах. Они удивительно гармонировали с яркими красками южной природы, залитой светом. В первые дни пребывания в Крыму эйдетическое восприятие природы восстанавливалось у меня: закрыв глаза, я видел перед собою желтые и красные скалы, голубое море, темно-зеленые кипарисы.

По другую сторону Аю-Дага находилось имение Партенит, принадлежавшее Владимиру Константиновичу Келлеру, женатому на сестре Метальникова, Вере Ивановне. Вера Ивановна была так же добра, как и ее мать, а муж ее был веселый общительный человек, талантливый рассказчик, увлекаемый своею необузданною фантазиею так, что нельзя было отличить, где у него правда подменяется вымыслом, потому что он и сам не мог провести границы между ними. Впоследствии он начал писать рассказы и некоторые из них были удачны.

В Партените у Келлера было виноделие; в громадном погребе хранились грандиозные бочки со многими сортами вина. Показывая погреб, он давал нам пробовать разные образцы вин. После возвращения из-за границы я стал на всю жизнь почти совершенно воздерживаться от каких бы то ни было спиртных напитков, хотя вкус хороших вин мне всегда был приятен. Но, конечно, в необычной обстановке

винного погреба никто из нас не был педантом и мы вышли из него на свет Божий в несколько повышенном настроении.

Осенью 1894 г. я уже ясно отдавал себе отчет в том, что наука, стоящая в центре моих интересов, — философия, и что мне необходимо пройти курс Историко-филологического факультета, если я хочу сделать философию предметом профессиональной деятельности. Я решил, будучи на четвертом курсе Физико-математического факультета, поступить одновременно также на первый курс Историко-филологического факультета. Алексеев, которого я уговаривал сделать то же, находил, что в этом нет необходимости. Он говорил, что не следует делать занятия философиею источником средств к жизни. Он рассчитывал по окончании курса естественно-научного отделения поступить на государственную службу. Рабочий день чиновника, рассуждал он, кончается рано и, следовательно, оставляет много времени для свободных философских занятий.

Однако, мы вместе стали слушать лекции профессора А. И. Введенского по философии. В то время Введенский был в расцвете своих сил. Его лекции по истории новой философии от Бекона и Декарта до Критики чистого разума Канта включительно были превосходным историческим введением в философию. Он ясно показывал, как эмпиризм и рационализм, логически последовательно развиваясь, обнаружили свою односторонность, которая была преодолена Кантом, так как его критицизм есть синтез эмпиризма и рационализма.

Под влиянием Введенского гносеология выдвинулась для меня в это время на первый план. Я глубоко проникся убеждением, что познанию доступно только то, что имманентно сознанию. В то же время я усматривал отчетливо, что утверждение субстанциальности моего *я* есть достоверное знание, и глубоко проникся склонностью понимать вселенную, как систему монад в духе метафизики Лейбница. Таким образом, передо мною встала задача преодолеть Юма и Канта, именно развить теорию знания, которая объяснила бы, как возможно знание о вещах в себе и оправдала бы занятия метафизикою.

Философский кружок наш продолжал собираться у Метальникова. К нему с интересом стала присматриваться се-

стра Алексеева, Наталия Алексеевна. Ее муж, Яков Николаевич Колубовский, тоже вступал иногда в беседу с нами, но относился отрицательно к нашему увлечению метафизикою. Он был склонен к позитивизму. Свое философское образование он закончил вместе с Н. Н. Ланге, будущим профессором философии Одесского университета, занятиями экспериментальною психологиею в лаборатории Вундта. Служил он в Ведомстве Императрицы Марии в Попечительстве о слепых, где достиг видного положения, как человек дельный и практически одаренный. Однако, любя философию, он не мог отдаться целиком своей службе. В Педагогическом институте, который помещался в то время на Гороховой улице, он читал лекции по логике. В издательстве Л. Ф. Пантелеева он напечатал свой перевод последнего тома «Истории философии» Ибервега-Гейнце и написал для него очерк истории русской философии.

Жена Колубовского, Наталия Алексеевна, была преподавательницей математики в частной женской гимназии Марии Николаевны Стоюниной. Она очень любила гимназию, а также основательницу ее и директрису, Марию Николаевну. Как раз в это время осенью 1894 г. дочь Стоюниной, Людмила Владимировна, поступила на Историко-филологический факультет Бестужевских Высших Женских Курсов. Она любила верховую езду, танцы, выезды на балы и сначала не особенно увлекалась наукою. Поэтому Мария Николаевна хотела познакомить свою дочь с серьезными молодыми людьми. Ей пришла на помощь Наталия Алексеевна: она рассказала о нашем философском кружке и предложила Стоюниной познакомиться с нами. С Сергеем Алексеевичем, как братом Колубовской, она уже была знакома, познакомилась также недавно с Метальниковым, который стал в это время женихом Ольги Владимировны Димитриевой (дочери ялтинского врача), ученицы гимназии Стоюниной, жившей в пансионе при гимназии. Наталия Алексеевна познакомила со Стоюниною меня и Юревича. Вскоре было решено, что собрания нашего философского кружка будут происходить у Стоюниной.

Наш кружок дополнился дамским обществом. Деятельное участие в наших беседах принимала сама хозяйка дома Мария Николаевна. Членами кружка стали дочь ее Людмила

Владимировна, ее подруга Любовь Алексеевна Мальцева, Антонина Васильевна Савицкая — слушательницы Бестужевских курсов.

Странным образом с самого начала моей жизни в Петербурге у меня было как будто предчувствие того значения, которое будет иметь для меня семья Стоюниной. Вскоре после приезда, проходя по Литейной, я увидел в окне букиниста одну из книг В. Я. Стоюнина, и фамилия эта так поразила меня, что первое впечатление от нее врезалось в мою память навсегда.

В. Я. Стоюнин принадлежал к числу виднейших русских педагогов, наряду с Пироговым, Ушинским, Водовозовым. К как теоретик-педагог, и как преподаватель русского языка и словесности, он пользовался большою известностью и был чрезвычайно любим своими учениками, среди которых было много детей высокопоставленных лиц и даже некоторых Великих князей, например, Владимир Александрович. В 1864 году он женился на бывшей ученице своей, Марии Николаевне Тихменевой, и вскоре переехал с нею из Петербурга в Москву, получив должность инспектора Николаевского Сиротского института.

В Институте атмосфера была затхлая, казенная. Забота была направлена лишь на приличную внешность. Иногда с этою целью допускалась даже ложь. Так, ученицы плохо занимались Законом Божиим, но перед экзаменом, на который приезжал епископ Леонид, священник уславливался с ученицами, какой билет будет отвечать каждая из них, и экзамен протекал блестяще. Стоюнин, отличавшийся строгим и стойким нравственным характером, не мог допустить тако йлжи. Он принадлежал к прогрессивному течению русской мысли и общественности, но был далек от нигилизма и всяких крайностей.

В жизнь Института он внес свежую струю нравственной ответственности, принципиальности, интереса к делу, а не показной внешности. Священнику было сказано, что ученицы должны знать курс Закона Божия, и обман на экзамене не будет допущен. Приняв это требование за пустые слова, ученицы явились на экзамен по-прежнему, подготовив один лишь заранее условленный билет, и незнание ими курса было обнаружено в полной мере.

Зато в следующем году весь класс явился на испытания с блестящими знаниями по Закону Божию. В присутствии епископа Леонида, всегда приезжавшего на этот экзамен, была вызвана лучшая ученица. Она блестяще ответила на все вопросы, но под конец, называя какой-то город Палестины, случайно обмолвилась, улыбнулась своей ошибке и тотчас же поправилась. Епископ, враждебно относившийся к Стоюнину, резко оборвал ее, сказал, что она не выдержала экзамена и еще позволяет себе улыбаться. Класс притих, подавленный этою грубою несправедливостью. Ученицы держали экзамен очень хорошо, но все время дрожали от страха, так как видели, что епископ ищет предлога, чтобы придраться.

Когда все ответили, Владимир Яковлевич попросил разрешения дать первой ученице возможность ответить еще по какому-либо билету. Разрешение было дано, и ученица опять ответила блестяще. Епископ похвалил ее, а класс, нервы которого все время были напряжены, как туго натянутая струна, разразился в это время рыданиями. Понимая нелепость своего поведения, епископ рассыпался в похвалах Стоюнину, который принял их холодно.

Не удивительно, что в реакционных кругах Москвы такой человек, как Стоюнин, независимый и повинующийся только велениям своей совести, скоро приобрел себе множество врагов. Удобный случай для решительного нападения на него представился в 1878 году, когда начался известный политический процесс.

Среди арестованных оказалась Армфельд, дочь прежнего инспектора Института, окончившая курс раньше того, как Стоюнин стал инспектором. Тем не менее Стоюнина обвинили в том, что это он внес в Институт революционный дух, и ему было приказано в 24 часа сдать все дела Института и уйти в отставку. Возмущенные такою несправедливостью Сотюнины подумывали уже о том, чтобы уехать в Париж и там открыть курсы русской литературы. Тем временем, однако, Императрица Мария Александровна узнала о всей истории отставки Стоюнина из письма его к А. Н. Мальцевой, которая была дружна с Императрицею и дети которой были ученицами Стоюнина. Согласно желанию Императрицы Сто-

юнину была назначена пожизненная пенсия в размере жалованья, которое он получал в Институте.

Стоюнины купили домик в Царском Селе и поселились там. Мария Николаевна, обладая живым, необычайно энергичным и предприимчивым характером, не могла примириться с мыслью, что муж ее, полный сил, способный к широкой общественной деятельности, вырван из жизни. Она задумала основать частную женскую гимназию и чтобы подготовиться к этому делу серьезно, стала читать книги по философии и педагогике. Потом она учредила комитет для выработки педагогических основ нового учебного заведения. В комитет этот входил, кроме нее и ее мужа, П. Ф. Лесгафт.

В 1881 г. осенью гимназия была открыта. Помещалась она на Сергиевской ул., потом на углу Фурштадтской и Воскресенской в доме графа Шувалова. Стоюнину недолго суждено было работать в ней: в 1888 г. он умер от рака печени. Но жена его блестяще продолжала руководство гимназиею. Она стремилась привлекать в состав преподавателей талантливых людей. Особенно гимназия стала приобретать известность, когда председателем педагогического совета стал профессор романо-германской филологии О. А. Браун. Подлинного же расцвета достигла она тогда, когда председателем был замечательный педагог Владимир Александрович Герд (с 1904 г.), который заботился неустанно о введении новых методов преподавания, устройстве практических занятий, приобретении пособий для физики и естествознания и т. п.

Среди учителей особенно отметить надо преподавателя литературы Владимира Васильевича Гиппиуса, преподавателей истории Александру Михайловну Петрункевич, Сергея Александровича Князькова, Якова Яковлевича Гуревича, физики — Григория Михайловича Григорьева, географии — Евгению Ивановну Репьеву. Но душою всего дела всегда была сама Мария Николаевна. Она постоянно посещала классы, принимала родителей, знала каждую девочку в лицо и каждую могла назвать уменьшительным именем не только во время учения, но и много лет спустя, когда бывшие ученицы, выйдя замуж, являлись уже в гимназию, чтобы отдать в нее своих дочерей.

Мария Николаевна знала не только каждую ученицу, но

и родителей ее. Поэтому в случае каких-либо зетруднений в учении или поведении ученицы часто можно было индивидуализировать меры воздействия и во всяком случае обходиться без наказаний, которые по правилам гимназии вообще были устранены. Не удивительно, что гимназия М. Н. Стоюниной приобрела широкую известность во всей России, не только Европейской, но и Азиатской. Бывшие ученицы и их родители сохраняли теплые отношения к гимназии и к Марии Николаевне на всю жизнь.

Сношения Марии Николаевны с людьми были чрезвычайно разнообразны. В ее кабинете можно было встретить и учителей гимназии, и родителей учениц, и многочисленных знакомых ее. При квартире ее был пансион. В то время, когда я познакомился с М. Н., она уже ликвидировала его постепенно, но все же и после закрытия его одна, две ученицы оставались жить в семье Марии Николаевны.

Особенно близка была к М. Н. семья помещика Уфимской губернии Ивана Григорьевича Жуковского. В имении их Тюинск (Бирского уезда) М. Н. с дочерью нередко ездила на лето. Две дочери Жуковских, Лидия и Елена, учились в гимназии и жили в семье М. Н., как родные. Обе были очень красивы, младшая, Леночка, была писаная красавица с розовыми щеками, правильным носом и большими голубыми глазами, старшая, Ляля, — с оригинальными тонкими чертами лица, напоминающими английскую аристократку.

В семье Стоюниной жила также с 1875 г. немка бонна, Адель Ивановна Каберман, воспитывавшая Людмилу Владимировну, а потом ее детей и заведовавшая хозяйством гимназии. Членом семьи была также француженка Софи Рено (Raynaud), учившая с 1888 г. французскому языку пансионерок, а потом внуков Стоюниной и детей в детском саду при гимназии.

Вступление в оживленный мир семьи Стоюниной и ее гимназии было чрезвычайно привлекательно для меня, и для всех членов нашего философского кружка. Мы собирались в кабинете Марии Николаевны довольно часто для чтения докладов. Кроме постоянных членов кружка, выступали иногда с докладами и гости, например, художник Н. К. Рерих, в то время бывший студентом Юридического факультета. Студия у него была очень своеобразная: большой зал

в два света с хорами. Хоры эти могли служить комнатою для студента. И в самом деле, на них жил несколько месяцев член нашего кружка, Ефим Иванович Тарасов.

Однажды мы всем кружком посетили студию Рериха и были чрезвычайно заинтересованы его искусством изображения доисторической жизни славян, составлявших вместе с природою одно целое, полное вещего, таинственного смысла.

Иногда наши вечера были посвящены не докладам, а слушанию игры Людмилы Владимировны на рояле или пению Любови Алексеевны Мальцовой, исполнявшей романсы и арии из русских опер. Я иногда выступал с импровизациею рассказов, мистических или страшных вроде Эдгара Поэ. На одном из вечеров появился бывший проездом в Петербурге известный историк Е. Ф. Шмурло (прежде он был два года учителем гимназии) и с большим искусством рассказал свою повесть «Симонетта».

По воскресеньям или праздникам мы устраивали часто поездки за город: отправлялись весною в Павловск гулять в парке или слушать музыку, зимою катались на санях в окрестностях Парголова или Левашова, однажды предприняли даже катанье на салазках с гор в Юкках.

Писание рассказов продолжало увлекать меня. Темою одного из моих рассказов «К идеалу» была любовь простодушного маленького чиновника к портнихе, увлекавшейся мечтами о романтической любви к какому-нибудь блестящему светскому красавцу, титулованному лицу. Свой рассказ я отнес в редакцию «Русского Богатства». Через несколько дней мною было получено письмо от Иванчина-Писарева, приглашавшего меня зайти в редакцию поговорить о моем рассказе.

Не помню, как случилось, что я в редакцию не пошел и дело с печатанием рассказа расстроилось. Если бы рассказ был напечатан в журнале, я, наверное, стал бы энергично продолжать беллетристическую деятельность и стал бы не философом, а романистом. Темы для новых рассказов и даже для большого романа, главным действующим лицом которого был бы молодой ученый, носитель своеобразных идеалов духовной жизни, толпились еще в моей голове в течение десяти лет.

Среди студентов было много лиц, пишущих стихи и рассказы. В 1894—95 гг. возникла у кого-то из них мысль издать «Литературный сборник студентов СПБ. Университета». Редакторами были приглашены Григорович, Майков и Полонский. Фактически заведовали делом фельетонист «Нового Времени» Сыромятников и редакционная комиссия студентов, в состав которой был выбран и я. Решено было напечатать рассказы не по алфавиту, а в порядке их достоинства, так же было поступлено и с стихотворениями. Мой рассказ был признан лучшим и напечатан первым. Обложку для сборника нарисовал Н. К. Рерих.

Редакционной комиссии пришлось встретиться со следующим странным фактом. Один студент представил в комиссию очень красивое стихотворение «Это было в Барселоне 19 мая». Оно было встречено всеобщим одобрением, но я вспомнил, что моя тетушка Евгения Константиновна читала его мне, как стихотворение Буренина. Ничего не сказав товарищам, я пошел к ней, достал томик стихов Буренина и показал членам комиссии. Уличенный в плагиате студент сконфузился и объяснил свой поступок странным затмением памяти.

Осознав, что подлинные интересы мои направлены на философию, а не на естествознание, я избрал темою зачетного сочинения вопрос о «Локализации функций в коре больших полушарий мозга». Государственный экзамен по Естественнонаучному отделению Физико-математического факультета я сдал хорошо и получил диплом первой степени.

При проверке моих бумаг в канцелярии университета обнаружилось, что у меня нет никаких документов, регулирующих мое отношение к воинской повинности. Поступая в университет, я по неосмотрительности не запасся разрешением на отсрочку отбывания ее для продолжения образования. Оставалось только надеяться на то, что в Витебске осенью 1891 года, когда происходила жеребьевка лиц, призванных на военную службу, на мою долю случайно выпал жребий, освобождающий от службы. Я написал в Военное управление в Витебск и получил ответ, что согласно жребию я должен был отбывать повинность и числюсь дезертиром.

Пользуясь советами Льва Николаевича Лосского и его знакомствами, я написал в комиссию прошений на Высочайшее

имя подаваемых, прося освободить меня от наказания за невольное дезертирство. По удовлетворении моей просьбы, я должен был еще обратиться в военное министерство, в министерство внутренних дел и в министерство народного просвещения и получил отсрочку до 28 лет для завершения образования. Так как я в возрасте 21 года не заявил, что буду служить вольноопределяющимся, что сокращает срок службы, то мне предстояло служить простым рядовым в течение двух лет.

Выход из этого тяжелого положения был найден следующий. В течение 1895—96 гг. я был студентом второго курса Историка-филологического факультета, а осенью 1896 г. получил два урока в неделю по географии в институте принца Ольденбургского. По правилам Института двух уроков в неделю было достаточно, чтобы считаться штатным преподавателем и быть поэтому зачисленным в запас. Конечно, получив звание учителя Института, я принужден был выйти из университета и продолжать свои занятия в нем, как вольнослушатель.

В это же время я стал давать уроки латинского языка в гимназии Стоюниной для тех учениц, которые желали поступить на Высшие Женские Курсы. Через два года, окончив курс Историко-филологического факультета, я был оставлен при кафедре философии для подготовки к профессорскому званию, что тоже освобождало от воинской повинности, и тогда я перестал преподавать географию в Институте.

Чтбоы заниматься в течение трех лет на Историко-филологическом факультете, нужно было иметь средства. Стипендия, которую я получал на Физико-математическом факультете, прекратилась, когда я прошел курс его. В это время к Козлову как-то зашел Владимир Сергеевич Соловьев. Знакомство с ним произвело на меня, как и на всякого, кто видел его, сильное впечатление. Его лицо пророка, глаза, глядящие из нездешнего мира, остроумные шутки, веселый смех и в то же время серьезная беседа приковывали к нему внимание.

Узнав от Козлова о моем желании специализироваться по философии, он пожелал помочь мне достать стипендию на Историко-филологическом факультете и поехал к ректору университета, кажется, профессору Никитину. Это была

ошибка: с такою просьбою следовало обратиться не к ректору, а к декану факультета, профессору Помяловскому. Ходатайство Соловьева не помогло и стипендия мне дана не была на том основании, что прохождение второго факультета было некоторою роскошью: стипендии предназначались для лиц, не имеющих еще высшего образования.

В те времене неимущие студенты зарабатывали чаще всего уроками, репетированием, гувернерством. И мне случалось давать уроки, но работа эта мне не особенно нравилась. Правда, в течение двух лет у меня был один интересный, оригинальный урок. По рекомендации П. Ф. Лесгафта я был приглашен в дом поэта князя Голенищева-Кутузова давать уроки природоведения сыну и дочери его. Для этих уроков мне нужно было конструировать несложные аппараты, например, для того, чтобы демонстрировать давление атмосферы, наблюдать образование кристаллов и т. п.

Князь и княгиня были люди образованные и приятные в обхождении с людьми. Княгиня иногда вступала со мною в беседы по вопросу о внутреннем политическом положении России, рассказывала о брожении среди крестьян, которое ей приходилось наблюдать при поездках в свое поместье на юге России. Когда я высказывал ей свои соображения об отсталости нашего государственного порядка, она во многом соглашалась со мною, но будущее России рисовалось ей в мрачных красках. Узнав, что она с мужем бывала в Берлине при дворе императора Вильгельма II, я спросил ее о наружности Вильгельма; мне почему-то казалось, что Вильгельм II был очень красив. Она очень решительно опровергнула это замечание мое, говоря, что на портретах его физиономию идеализируют, в действительности же он некрасив и ничтожен.

Меня давно уже привлекала мысль зарабатывать литературным трудом, прежде всего переводами философских книг. По просьбе Козлова, Вл. Соловьев обдумал этот вопрос и посоветовал мне перевести два трактата Канта „De mundi sensibilis atque intelligibilis forma ac principiis“ и „Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolf“. Совет был весьма непрактичен: перевод этих статей, к тому же одной из них с латинского, был очень труден для новичка и слишком ответствен; к тому же даже в случае напечатания его гонорар был бы

очень незначителен, несоразмерен с трудом. Тем не менее я с жаром принялся за дело.

Работа эта была мне в высокой степени полезна: она требовала очень большой обдуманности и тщательности, после труда, вложенного в нее, все другие переводы были уже делом легким. Проверенный Соловьевым и Козловым перевод я отдал в редакцию журнала «Научное обозрение». Печатание его там откладывалось с месяца на месяц, пока я, занятый уже другими переводами, не забыл о нем. Лет через десять или более я случайно узнал, что в конце концов мой перевод был напечатан в журнале. Впоследствии он был переиздан в трудах Петербургского Философского Общества.

Поощряемый Соловьевым я изредка, не более раза в год, позволял себе заходить к нему в гостиницу „Angleterre“, где он останавливался обыкновенно, приезжая в Петербург. Уже с утра у него бывали его многочисленные друзья и знакомые, со всеми он был мил и приветлив, ведя оживленную беседу.

Однажды зашла речь о Н. К. Михайловском и о том, что он всегда окружен молодыми красивыми поклонницами. «Да, да, он известный Жон-Дуан!», подтвердил Соловьев и закатился своим характерным смехом на высоких нотах. Когда Соловьев платил по счету и получал сдачу, он после прикосновения к деньгам неизменно подходил к умывальнику и омывал руки скипидаром.

В последний раз я видел его в 1900 г. В то время я был уже на пути к своему интуитивизму. Соловьев с интересом и симпатиею слушал мои рассуждения о гносеологической проблеме, а я, увлекаясь в то время логикою и гнесеологиею, вовсе и не подозревал, что через двадцать лет окажусь в разработке метафизической системы наиболее близким к Соловьеву из всех русских философов. На прощанье Соловьев подарил мне свое «Оправдание добра» и хотел завернуть книгу в бумагу, но делал это весьма неловко и, когда я пришел ему на помощь, сказал: «Посмотрим, может быть, молодое поколение философов лучше справляется с такими задачами».

Из материальных затруднений меня мывел деловой и практичный Я. Н. Колубовский. Он предоставил мне перевод книги Ремке «Очерк истории философии». Потом, сговорившись с издателем Л. Ф. Пантелеевым, он поручил мне пере-

вод «Истории древней философии» и «Истории средневековой философии» Ибервега-Гейнце. Это был каторжный труд не только вследствие обилия греческих и латинских цитат, но еще и потому, что библиографические данные требовали при переписке их чрезвычайной тщательности. Работа моя длилась года два; Л. Ф. Пантелеев оплачивал ее очень хорошо, но в печати она не появилась. Колубовский хотел издать книгу под своею редакциею, однако, будучи завален множеством работ, все не мог найти времени, чтобы просмотреть перевод.

Кажется, в 1898 г. я познакомился с Д. Е. Жуковским. Он задумал издать по-русски «Историю новой философии» Куно Фишера и предложил мне перевести том о Шеллинге, а потом два тома о Гегеле. В это время моя сестра Аделаида приехала в Петербург, поступила на Высшие Курсы и поселилась тоже в квартире А. А. Козлова. Я купил пишущую машинку Бликенсдерфера и, подготовив заранее в уме перевод нескольких страниц Куно Фишера, диктовал его сестре, а она писала на машинке.

Будучи сначала студентом, а потом от 1896 до 1898 г. вольнослушателем Историко-филологического факультета, я занимался гуманитарными науками лишь настолько, чтобы сдавать экзамены, а все свое время отдавал занятиям философиею. Условия для моих занятий были чрезвычайно благоприятны, особенно летом. В 1895 г. Л. Н. Лосский купил имение Товарово в Островском уезде Псковской губернии. Оно находилось в большой глуши; небольшая река, удобный помещичий дом, сад, большие леса — все привлекало в этом имении. Летом, кажется, 1896 г. мы с Львом Николаевичем поехали в Товарово; осмотрев имение и отдав хозяйственные распоряжения, Лев Николаевич уехал, и я прожил один в полном уединении месяца полтора. В это время я увлекался чтением главных произведений Шопенгауэра, наслаждаясь его языком, разносторонним образованием, использованием фактов естествознания для целей философии. С этих пор я проводил часть лета в Товарове, часть лета в Невельском уезде. В 1898 г. я убедил свою мать провести лето не в Горах, а в собственном имении, в Семенове; мать и сестра наняли комнату в доме арендатора, а я поселился в развалив-

шемся помещичьем доме, где над одною комнатою сохранился потолок.

В этом году весною я сдал государственный экзамен на Историко-филологическом факультете с дипломом первой степени. В качестве зачетного сочинения я хотел представить рассуждение, в котором ставил целью доказать, что множественности причин не бывает и связь действия с причиною однозначна. Введенский, руководясь педагогическими соображениями, предпочитал темы по истории философии, посвященные анализу и сопоставлению каких-либо двух учений. Следуя его совету, я выбрал тему «Рационализм Декарта, Спинозы и Лейбница». В своем сочинении я доказывал, что система Лейбница есть наиболее последовательное развитие основ рационализма.

Глава пятая

УЧЕНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ

Осенью А. И. Введенский предложил мне остаться при кафедре философии для подготовки к профессорской деятельности. По общему правилу держать магистерский экзамен можно было только через два года по выходе из университета, но мне, как лицу, прошедшему курс двух факультетов, было позволено приступить к экзамену через год. Это было не трудно, так как мои знания уже и ранее были рассчитаны для этой цели. Так, например, я заранее уже приступил к чтению и конспектированию шести томов «Истории древней философии» Эд. Целлера. Книга эта доставляла мне громадное удовольствие. Она в полной мере дает представление об импозантном характере греческой философии. Особенно сильное впечатление произвело на меня изложение философии Плотина и Прокла.

В разработке своего миропонимания я подвигался вперед чрезвычайно медленно. Моему уму присуща была склонность к эмпиризму и вместе с тем к рационализму. Первая выразилась в моей любви к Миллю и Спенсеру, вторая требовала приведения всего признанного за истину в стройную логически связную систему. Идеалом для меня были такие философы, как Декарт или Юм, которые начинают свою систему учений абсолютно сначала, стремясь не опираться ни на какие предвзятые учения и предпосылки, но исходя из несомненно достоверного факта. Приступить к такой работе мне было особенно трудно потому, что в моем уме столкнулось влияние метафизики Лейбница и гносеологии Канта, благодаря двум моим учителям — Козлову и Введенскому.

Своеобразная онтологическая природа «я», именно суб-

станциональность его была для меня несомненною истиною, опирающеюся не только на косвенные соображения, но и на непосредственное восприятие своего «я», как существа, стоящего выше отдельных своих психических проявлений. Жизнь каждого «я» представлялась мне, как непрерывный процесс, в котором все предыдущее пережитое имеет значение для новых проявлений «я». Отсюда у меня возникло убеждение, что связь событий, производимых и переживаемых каждым «я», то есть каждою монадою в природе, имеет строго индивидуальный характер и не содержит в себе повторений, потому что «я», произведшее одно какое-либо действие, через несколько часов опирается уже на более богатый опыт, чем прежде, и потому действует иначе, чем прежде. Из этого учения, распространенного на всю природу, вытекала мысль, что связь событий в природе однозначна, как в прогрессивном, так и в регрессивном направлении. Поэтому учение Милля о множественности причин представлялось мне сомнительным и я с разных сторон старался опровергнуть его.

Однако, все рассуждения об онтологическом строении мира представлялись мне висящими в воздухе, пока не был решен основной вопрос: как доказать *существование* внешнего мира и *познаваемость* его свойств. Под влиянием лекций Введенского о Канте я твердо усвоил мысль, что познать можно лишь такой предмет, который имманентен моему сознанию. Будучи вместе с тем убежден, что все сознаваемое мною есть уже не внешний мир, а мое собственное психическое состояние, я мучился мыслью, что интерес мой к метафизике не может быть гносеологически оправдан.

Десятки раз приступал я к попыткам построения своего миросозерцания с намерением воздвигнуть все здание из абсолютно достоверных, гносеологически оправданных материалов, именно только из того, что несомненно наличествует в моем сознании, имманентно сознанию. Однако, в силу оставшейся от материализма наклонности рассматривать мир как органическое множество резко *обособленных* друг от друга элементов, весь имманентный состав сознания представлялся мне не более, как совокупность моих ощущений и чувств; таким образом, я неизменно приходил к солипсизму и скептицизму, который мучил меня своею скудостью и самопротиворечивостью. Не раз возвращался я к мысли, что

даже *существование* внешнего мира не может быть строго логически доказано.

В связи с этим произошел со мною следующий курьёз. Осенью 1898 г. профессор Лесгафт пригласил меня на свои Курсы читать лекции по истории философии. Я ездил на Курсы с Фонтанки на Торговую улицу на велосипеде. Однажды, едучи на велосипеде, я глубоко погрузился в размышления о скандальном положении философии, неспособной доказать существование внешнего мира, и наскочил на грузную телегу ломового извозчика. Велосипед серьезно пострадал, я отделался легкими ушибами, извозчик, грубый, как большинство ломовиков, насладился случаем разразиться смачными ругательствами, а существование внешнего мира осталось недоказанным.

Кажется, той же осенью 1898 г. мы с С. А. Алексеевым ехали на извозчике по Гороховой улице. Был туманный день, когда все предметы сливаются друг с другом в петербургской осенней мгле. Я был погружен в свои обычные размышления: «я знаю только то, что имманентно моему сознанию, но моему сознанию имманентны только мои душевные состояния, следовательно, я знаю только свою душевную жизнь». Я посмотрел перед собою на мглистую улицу и вдруг у меня блеснула мысль: «все имманентно всему». Я сразу почувствовал, что загадка решена, что разработка этой идеи даст ответ на все вопросы, волнующие меня, повернулся к своему другу и произнес эти три слова вслух. Помню я, с каким выражением недоумения посмотрел он на меня. С тех пор идея всепроникающего мирового единства стала руководящей моей мыслью. Разработка ее привела меня в гносеологии к интуитивизму, в метафизике — к органическому мировоззрению.

Придя к мысли, что все предметы внешнего мира могут вступать в подлиннике в кругозор моего сознания, я прежде всего сосредоточился на задаче отграничить в составе своего сознания «мои» психологические состояния, то есть проявления моего «я» от всего того, что «дано» мне извне, из моего тела и вообще из внешнего мира. Передо мною отчетливо обрисовалась мысль, что жизнь моего «я» вся состоит из действий, осуществляемых мною сообразно моим влечениям, стремлениям, хотениям; иными словами, моя жизнь есть

осуществление моей воли. Система психологии, согласно которой вся жизнь «я» состоит из волевых актов, то есть из стремлений к каким-либо целям и из действий, направленных к осуществлению этих целей, есть *волюнтаризм*.

Прежние системы волюнтаризма, например, психология Вундта, были развиваемы в связи с традиционным течением, согласно которому все сознаваемое мною есть *мое психическое* состояние. Такое понимание строения сознания губительно для волюнтаризма: оно обязывает волюнтариста утверждать, будто цвета, сознаваемые мною или зубная боль и т. п. «данные» мне содержания сознания суть творения моей воли. Эта нелепость устранялась в моей системе, благодаря произведенному мною различению «моих» и «данных мне» содержаний сознания: только то, что непосредственно сознается, как «мое», например, «мое» усилие внимания, «мое» хотение слушать музыку, «мое» удовлетворение от слушания ее и т. п. принадлежит к составу моей деятельности и имеет строение волевого акта; все же остальное, «данное» мне принадлежит уже внешнему миру, например, видимый мною белый цвет ландыша принадлежит ландышу, сознаваемая мною зубная боль есть состояние моего зуба; все эти «данные» вовсе не суть творения моей воли; они суть только *созерцаемые* мною элементы бытия, находящегося вне моего «я». Только *акт* созерцания, выбирающий в одном случае для сознательного восприятия цвет ландыша, а в другом случае зубную боль, есть проявление *моей* воли, то есть действие, производимое мною сообразно моим интересам, влечениям, страстям. Таким образом, присоединение тех или других сторон внешнего мира к составу моей сознательной жизни есть уже *выборка*, производимая моею волею.

Свое учение о восприятии и вообще о знании я назвал впоследствии *интуитивизмом*, обозначая словом интуиция *непосредственное созерцание* субъектом не только своих переживаний, но и предметов внешнего мира в подлиннике. Моя система психологии заключала в себе парадоксальное на первый взгляд сочетание волюнтаризма с интуитивизмом, то есть учения об активности «я» с учением о его созерцательности (относительной пассивности) в познавательных процессах. Противоречия в этом сочетании нет: созерцание есть тоже волевой акт, однако содержащий в себе момент пассив-

ности в том смысле, что этот акт не творит созерцаемого предмета, а лишь *выбирает*, какой из множества предметов сделать сознанным или даже познанным. Именно это сочетание волюнтаризма с интуитивизмом облегчало мне задачу доказательства, что жизнь «я» есть непрерывный ряд волевых действий.

Сдавать экзамен на степень магистра у проф. Введенского было нетрудно: как человек умный, ценящий прежде всего логическую связность мысли, он никогда не задавал мелочных вопросов, требующих усвоения одною лишь памятью. К осени 1900 г. мною были сданы экзамены и прочтены две пробные лекции в заседании факультета, после чего я был зачислен в состав приват-доцентов по кафедре философии. Первый курс, объявленный мною, был «Психология воли и чувствований».

В то же время в гимназии Стоюниной уже с 1898 года я преподавал в VIII классе логику и психологию. Жил я в это время уже не в семье Козловых, а с семьею своей матери, которая переехала из Витебска в Петербург осенью 1899 года. Младшая сестра Вера к этому времени окончила курс гимназии в Витебске и мечтала поступить на драматические курсы в Петербурге, но скрывала от всех нас это намерение. Живая, веселая, энергичная, она, может быть, и годилась для сцены, но нуждалась в серьезной подготовке к ней и даже в школе. Кажется, она потерпела крушение на приемном экзамене и тогда поступила на курсы Лесгафта. Специализировавшись по зоологии беспозвоночных, она была впоследствии хранительницею музея Лесгафта.

Брат Владимир, которому не давались древние языки, поступил в Юнкерскую школу в Вильно и, став офицером, уехал в Маньчжурию на Восточно-Китайскую железную дорогу, где служил в корпусе пограничной стражи. Мечтою его было сельское хозяйство. Он хотел заняться им, дослужившись до пенсии. Поэтому на семейном совете нашем было решено, что имение Семеново переходит в его владение; долю, причитающуюся сестрам, он выплатил им деньгами и выслал двоюродному брату Валериану средства для постройки нового дома в Семенове, приглашая всех нас проводить в нем лето.

Брат Иван, окончив курс Гатчинского сиротского инсти-

тута, поступил в университет на Естественнонаучное отделение Физико-математического факультета и стал специализироваться по ботанике.

Гимназия Стоюниной была перемещена с Фурштадтской улицы в очень хорошее помещение в доме Бессера на Владимирской площади. Начало XX века мы решили встретить маскарадом. Представляя себе этот вечер, как обычное интимное собрание нашего кружка, я саморучно изготовил себе курьезный костюм: голова моя выглядывала из чашечки цветка, сделанного довольно грубо. Велико было мое смущение, когда я увидел себя среди множества гостей, некоторые из коих были в очень изящных маскарадных костюмах. Людмила Владимировна и Любовь Алексеевна были очень красиво одеты мифическими птицами: Людмила Владимировна изображала птицу печали, Сирина, а Любовь Алексеевна — птицу радости, Алконоста. Сергей Алексеевич выступал в очень красивом наряде восточного пророка, шедшем к его выразительному лицу. Костюм птицы печали очень шел к серьезному лицу Людмилы Владимировны. В этот вечер во мне окончательно сложилось намерение добиться руки ее.

Все мы очень веселились на этом вечере, танцевали, устраивали игры. К этому вечеру относится одно из последних моих воспоминаний, связанных с попытками беллетристической деятельности. Года за четыре до того мною был написан рассказ следующего содержания. Химик Сутугин влюблен в даму, которая доводит его до белого каления своим кокетливым характером. Наняв квартиру в Максимилиановском переулке-тупике (переулок этот в Петербурге всегда казался мне жутким местом, располагающим к преступлению), Сутугин устраивает в ней под предлогом химических опытов печь, годную послужить, как крематорий. Заманив в эту квартиру даму, вызвавшую в нем неутолимую страсть, Сутугин убивает ее, бросает в пылающую печь, но в этот момент открывает в той же комнате ребенка, случайно бывшего свидетелем преступления. Сутугину приходится убить также и ребенка. Наблюдая ужасные подробности сгорания двух тел, он сходит с ума.

Рассказ этот был прочитан мною прежде всего Евгении Константиновне. Она издевалась надо мною, находя нагро-

мождение ужасов в нем неестественным. Наоборот, я ценил свой рассказ, указывая на психологические детали его. Через несколько лет он был прочитан мною в нашем философском кружке, дамы тоже не одобрили его. Наконец, за месяц до маскарадного вечера у меня взяла его Юлия Владимировна Блюменфельд, одна из знакомых Стоюниных. На вечере она вернула мне рукопись и сказала: «Если бы этот рассказ прочитал петербургский градоначальник, он послал бы агентов тайной полиции следить за вами».

Весною 1901 г. состоялось постановление о командировке моей на год за границу для завершения философского образования. После того, как я провел семь лет на двух факультетах, достигнув уже тридцатилетнего возраста, я вовсе не увлекался мыслью слушать лекции иностранных знаменитостей. В моем уме была уже основная идея моей философской системы. Тема для диссертации по психологии сложилась уже в моем уме; мною было даже уже изложено волюнтаристическое учение об аффектах в форме критики теории аффектов Джемса под заглавием «Недомолвки в теории эмоций Джемса» *(Вопр. фил. и психол. 1901, кн. 57)*.

Я смотрел поэтому на свою командировку только, как на предоставление мне свободного времени для писания диссертации. Начать изложение подготовленного материала было всего удобнее в спокойных условиях домашней обстановки. Поэтому я решил начать свою поездку в сентябре, а лето провести в России у своей сестры Виктории. Она уже несколько лет была замужем за Михаилом Петровичем Троицким, ветеринарным врачом. Троицкий заведовал в Мстиславском уезде Могилевской губ. конным случным пунктом, устроенным для поднятия коневодства крестьян и помещиков. Конюшни с породистыми жеребцами находились в живописной местности в одной верстсе от города Мстиславля. Дом для конюхов и дом врача были тут же. На обширном дворе перед сеновалом мы устроили площадку для игры в теннис, которою я увлекался в то время. Михаил Петрович вскоре достиг в ней большого совершенства.

Поработав всласть два месяца над своею книгою, я предпринял с братом Иваном большую поездку на велосипедах. Мы доехали до ближайшей пароходной пристани в Пропойске на Соже и сели там на пароход до Киева.

Осмотрев живописный Киев, мы совершили прогулку на велосипедах по Киевской, Волынской и Подольской губернии. Особенно понравились нам городок Кременец и Почаевская Лавра вблизи австрийской границы. Поднявшись на колокольню монастырского собора, откуда открывался чудный вид на море лесов, мы увидели послушника, наслаждавшегося своим искусством колокольного звона и любовавшегося в то же время прекрасным ландшафтом.

Погода была все время отличная, но однажды ночью прошел проливной дождь. Тут мы узнали, что такое черноземная грязь. Велосипед пришлось вести в руках, но после каждых четырех-пяти шагов колеса так облеплялись грязью, что приходилось обчищать их палочкою. Насилу добрались мы до таких мест, где сбоку дороги была трава и по ней было легче вести велосипед.

В сентябре я отправился за границу. Члены Философского кружка провожали на вокзал. От Людмилы Владимировны и Любови Алексеевны я получил серебряный карандаш, на котором были выгравированы слова «До свиданья», дата моего отъезда и инициалы дарительниц[9].

В зимнем семестре я собирался поработать у Виндельбанда в Страсбурге, а потом у Вундта в Лейпциге. Перед началом занятий я решил совершить поездку на велосипеде по Тиролю и Швейцарии до Цюриха с тем, чтобы оттуда съездить еще в Париж на свадьбу Люси Лосской, дочери Евгении Константиновны. Лев Николаевич умер от рака в 1899 г. и Евгения Константиновна жила после его смерти с дочерью в Париже. Я отправился из Петербурга в Вену, как бы повторяя первую свою поездку за границу. Полюбовавшись вновь пышною Веною, я выехал из нее, взяв билет, кажется, только до Landeck. В Landeck сел я на свой велосипед и доехал до St. Johann in Pongau, где переночевал в деревенской гостинице. После нескольких дней пути, порядочно утомившись, я остановился в Иннсбруке дня на три, чтобы отдохнуть и полюбоваться чудным местоположением этого города. В дальнейшем пути, вычитав из Бедекера, что долина, параллельная той, по которой я ехал, особенно живописна (кажется, та, где Zell am Zillerthal) и что пробраться туда можно, поднявшись по тропинке для вьючного скота (Saumpfad), я, ничтоже сумняшеся, предпринял этот переход. Велосипед при-

шлось вести на руках по крутой тропе вверх на несколько сот метров; спускаться вниз по другой стороне горы было еще хуже, потому что тропинка была очень камениста и стало смеркаться. Добраться до отеля удалось только поздно ночью. Переехав через границу Швейцарии, я поднялся в Davosplatz и оттуда спустился в Рагац, куда прибыл поздно вечером.[10] Утром, выйдя посмотреть город, я увидел, что рядом с моею гостиницею находится кладбище. Я зашел туда и точтас же наткнулся на прекрасный памятник Шеллинга. Как раз перед этим я переводил том Куно-Фишера о Шеллинге и питал большую симпатию к этому философу. Я вспомнил, что он умер в Рагаце, и что памятник ему был поставлен его почитателем баварским королем. Большое впечатление произвело на меня то обстоятельство, что судьба привела меня провести ночь вблизи его могилы.

В Цюрихе уже не было никого из моих старых добрых знакомых. Мне удалось найти только старого эмигранта Чернышева. Когда-то он основал общество „Slavia“, которое было впоследствии закрыто с нарушением устава. Чернышев был так обижен этим, что неизменно каждый год после страстной пропаганды устраивал собрание русской колонии, подробно излагал все дело и требовал суда, который восстановил бы справедливость. Но каждый раз притязания его разбивались о равнодушие более молодого поколения, и обида его росла. Когда я пришел к нему и стал напоминать о наших прежних встречах, он даже не узнал меня. Самый город вблизи университета сильно изменился, интерес мой к месту, где я много пережил в юности, упал, и я отправился в Париж. Людмиле Лосской было в это время уже лет 18. Она была музыкальна, обладала сильным голосом, училась пению и готовила себя к выступлению в операх Вагнера. Роста она была высокого; фигура ее была крупная. Можно было ожидать, что она будет со временем соперничать с Фелиею Литвин. Не доставало ей только настойчивости в работе и дисциплины характера. Женихом ее был Михаил Александрович Елачич. Он был человек талантливый, но, как и невеста, характера взбалмошного, с бурными страстями. Трудно было ожидать, чтобы жизнь их протекла мирно. И в самом деле, через несколько лет они разошлись; при этом бурно рассорились из-за того, с кем будет жить дочь их. Ми-

хаил Александрович схватил револьвер, выстрелил в свою жену; пуля скользнула по грудной клетке ее, слегка оцарапав, и прострелила руку Евгении Константиновны, стоявшей рядом.

В Страсбурге я записался в семинарий проф. Виндельбанда и проф. Циглера и работал в них до Рождества. Хозяйка, у которой я жил, сдавала другую комнату студенту Гансу Гаагу, родом из Штутгарта. Мы с ним очень сошлись. Он занимался изучением истории литературы, а также истории искусства вообще. Он играл на скрипке, написал изящную новеллу и прочитал ее мне. Я, в свою очередь, знакомил его со своею диссертациею и с его помощью перевел одну из глав ее на немецкий язык. Она была напечатана в Zeitschriff für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 1902 под заглавием „Eine Willenstheorie vom voluntaristischen Standpunkt".

Почти каждое воскресенье мы с Гаагом предпринимали экскурсии в Шварцвальд или в Вогезы. Предметом экскурсии всегда были не только красоты природы, но и какая-лсбо церковь со старинными иконами, монастырь, замок. Эту зиму проводили в Страсбурге также Александр Александрович Чупров, специализировавшийся по статистике, и Андрей Николаевич Римский-Корсаков, занимавшийся философиею. С ними тоже мы устраивали прекрасные прогулки в Шварцвальде и Вогезах. В одно из воскресений я съездил во Фрейбург, чтобы познакомиться с Генрихом Рикертом. Когда я ему сказал о своем намерении позаняться экспериментальною психологиею у Вундта, он не мог удержаться, чтобы не высказать своего пренебрежительного отношения к этому философу.

Целью моих занятий у Виндельбанда и Циглера было не приобретение знаний, а знакомство с техникою ведения практических упражнений по философии. По мере того, как приближалось Рождество, мне стало ясно, что дальнейшее пребывание в Страсбурге будет для меня совершенно бесполезно. Поэтому я решил поехать после Рождества к Вундту, а на Рождественские каникулы отправиться в Петербург, куда меня тянула и семья, и связь с друзьями, которую я поддерживал, между прочим, перепискою с Людмилою Владимировною.

Рождество я провел в Петербурге в повышенном настое-

нии. Я сказал Людмиле Владимировне, что люблю ее, и получил согласие ее и ее матери на брак. Каждый день мы предпринимали прогулки на Острова, катанье на коньках. Решено было, что свадьба состоится летом в Швейцарии на берегу Женевского озера, и что в конце февраля Людмила Владимировна поедет на две недели в Париж с Верою Ивановною Келлер, чтобы заказать там приданое и приобрести все необходимое для будущей семейной жизни.

В Лейпциге я провел только полтора месяца до конца семестра и принял участие в нескольких экспериментальных работах в психологическом институте Вундта. Для отдыха и обдумывания своей диссертации я любил гулять в лесу Розенталь, где любимейший мною философ Лейбниц обдумывал основы своей системы.

Двухнедельный перерыв между семестрами мы провели в Париже с Людмилою Владимировною и Верою Ивановною. Чтобы полюбоваться морем, мы съездили на два дня в Трувиль, но предприятие оказалось не особенно удачным: море было сумрачное, неприветливое, отели не приспособлены для принятия гостей вне сезона.

Из Парижа я поехал в Женеву к профессору Флурнуа, который интересовал меня тем, что пытался сделать предметом научного исследования сложные загадочные явления душевной жизни. Впрочем, главным мотивом поездки в Женеву было желание подготовить свадьбу и спокойно продолжать работу над диссертациею, которая сильно подвинулась вперед.

Флурнуа был человек привлекательный, с живыми духовными интересами. Также и молодой ученый Клапаред был человек доброжелательный. Он был женат на дочери философа Африкана Спира, русского помещика, эмигрировавшего в 1857 г. и оторвавшегося от своей родины настолько, что дочь его даже не говорила по-русски.

Подготовляя свадьбу, я познакомился со священником о. Николаем Апраксиным. Он прежде долгое время был в Праге, потом в Женеве. На меня, тринадцать лет находившегося вне церкви, о. Апраксин произвел большое впечатление своею добротою и глубокою религиозностью. Его красивое лицо светилось благостностью и было особенно привлекательно во время богослужения. Политические взгляды его

были чрезвычайно наивны; всякий либерал, противник абсолютной монархии, принадлежал для него к той же категории людей, что и крайние революционеры. Как водится, он считал евреев зачинщиками всяких движений, разрушительных для государства. Однако, организуя помощь нуждающимся русским, он оказывал ее и евреям, несмотря на свой антисемитизм.

Согласно церковным правилам, за несколько дней до венчания необходимо было исповедоваться и причаститься. Я сказал отцу Николаю о своем неверии, он исповедал меня и разрешил мне не подходить к причастию.

В начале июня приехала моя невеста с матерью, с Адель Ивановною, с M-lle Софи, с двумя Жуковскими и еще одною из учениц гимназии Марусею Галуновою, которую родители отпустили в эту поездку для упражнения во французском языке. Поселились мы в пансионе в Шальи над Кларан0м, так как решено было, что венчание состоится в маленькой православной церкви в Веве.

Согласно швейцарскому закону, раньше церковного обряда мы должны были заключить гражданский брак в мэрии города Женевы.[11] Венчание происходило в Духов День 16 июня (3 июня по старому стилю) в Веве. Шаферами были старый друг наш С. И. Метальников и новый приятель мой Гааг, приехавший для этой цели на несколько дней из Штутгарта. День был солнечный, маленькая красивая церковь вся в розах, которые цвели в это время, была чрезвычайно привлекательна. Служба отца Апраксина произвела на всех сильное впечатление. Каждую деталь обряда венчания, надевание кольца, хождение вокруг налоя и т. п. он выполнял с силою и внушительностью. Своею службою он пробуждал ясно есознание того, что венчание есть таинство, завершающее и оформляющее духовно-телесную связь, создающее в органическом целом Церкви новое единство, поддерживаемое сверхчеловеческою силою.

Общество, находившееся в церкви, было довольно многочисленное. Кроме упомянутых выше лиц, с нами была старая знакомая Козловых писательница Варвара Васильевна Тимофеева (писавшая под псевдонимом Боловино-Починковская), и еще А. Г. Слободзинская с маленьким сыном, который нес икону при вступлении нашем в церковь. После

свадьбы все мы отправились в гостиницу в Веве, где в саду был сервирован обед; потом всею компаниею поднялись на фуникулере на Mont Pélerin, там пили чай, любуясь на озеро. Вся компания наша была настроена очень весело; мое приподнятое состояние выразилось в том, что, подписываясь под общим письмом, посланным нами в Россию, я написал свою фамилию с тремя с. Через несколько часов мы, молодожены, отправились в свадебное путешествие по Италии. В тот же вечер мы доехали от Веве до Бэ (Bex), где переночевали в гостинице, а на следующее утро были уже на станции Бриг (Brig) у подножия Симплона. В то время Симплонский тоннель еще только строился. Поэтому мы наняли в Бриге лошадей, которые должны были довезти нас до железной дороги в Домодоссола в Италии.

Поездка эта доставила нам громадное удовольствие резкими контрастами, пережитыми в течение одного дня. На перевале Симплона мы находились среди природы полярных стран; там было холодно, пустынно и неприветливо; а к вечеру мы очутились в мягком климате Италии, среди богатой растительности, в воздухе, напоенном ароматами цветов. Особенно поражали красивые статные фигуры итальянцев и итальянок.

Пожив на Лаго-ди-Комо и Лаго-Маджиоре, мы отправились в Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь, увлекаясь музаями, церквами и сочетаниями красот природы с творениями искусства. В храме св. Петра мы были на богослужении в праздник Апостолов Петра и Павла. Приятно было видеть среди паломников крестьянина, на плаще которого были нашиты раковины. Из Неаполя мы совершили поездку в Помпею, на Везувий и на Капри. Восхождение на Везувий мы сделали из Помпеи верхом на лошадях. Добравшись до крутых склонов вблизи кратера, усыпанных вулканическою пылью, пришлось сойти с лошадей и идти пешком. Ноги вязли в пыли, Людмила Владимировна с проводником шла медленно, а я, сгорая нетерпением увидеть отверстие кратера, побежал вперед. В ту минуту, когда я дошел до края кратера и заглянул вниз, вулкан вздохнул, — издал звук вроде тяжелого вздоха. Проводник сказал, что это не часто случается слышать.

Вернувшись в Швейцарию, мы купили для всех членов

семьи на две недели билет, дававший возможность ездить по всем железным дорогам. Таким образом нам удалось сделать ряд интересных прогулок, например на Чертов мост в воспоминание о геройском походе Суворова, в Базель, в Люцерн с прогулкою по Axenstrasse и т. п. Обратно в Россию разные группы нашей компании поехали различными путями. Мария Николаевна, Людмила Владимировна и я остановились дня на два в Мюнхене и направились на юг России в Одессу и в Крым в имение Метальниковых.

Подъезжая к Кракову мне пришло в гоолву, что нам легко было бы воспользоваться случаем осмотреть соляные копи Велички. Все мы, не исключая и Марии Николаевны, были настолько подвижны, что тотчас решили привести этот план в исполнение и через четверть часа уже высаживались на станции Величка. Грандиозные залы с причудливыми сталактитами и сталагмитами, сверкающими сверху соляными кристаллами, произвели на нас большое впечатление. Утомленные этою прогулкою и ездою по железной дороге мы с удовольствием пожили два дня в тихом Кракове, одном из древнейших культурных славянских городов.

В 1902—1903 учебном году я читал в университете лекции по «Философии психологии». Диссертацию свою «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» я напечатал сначала в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1902 и 1903 гг., а потом она была принята в «Записки Историко-филологического факультета» и осенью 9 ноября 1903 года должен был состояться публичный диспут для защиты ее.

На лето 1903 г. я получил командировку в Геттинген к проф. Георгу Элиасу Мюллеру. Я знал, что он педантически точный психолог-экспериментатор и хотел познакомиться с приемами его работы. Людмила Владимировна ожидала ребенка и мы полагали, что роды в культурном университетском городке в Германии будут обставлены благоприятно. Поехали мы туда с Людмилою Владимировною очень рано в начале апреля, а потом в мае к нам присоединились Мария Николаевна и Адель Ивановна, без хозяйственных забот которой никакое важное событие в нашей семье не могло обойтись.

Геттинген очень понравился нам, как город тесно связан-

ный с немецкою духовною культурою. На каждом почти доме была дощечка с надписью в воспоминание о великом человеке, жившем в Геттингене или проведшем там хотя бы несколько дней. Имена Гаусса, Вебера, Гете, Шопенгауера, — всех кого угодно, можно было найти там. В наше время в Геттингенском университете преподавали великие математики Клейн и Гильберт, химик Нернст. Философ Э. Гуссерль был также в это время в Геттингене, но я не знал еще его имени и не поинтересовался его лекциями: все мое внимание было сосредоточено на психологическом кабинете Г. Э. Мюллера. У него работало человек десять молодых людей, между прочим и Fröbes, S. I., будущий автор чрезвычайно ценной книги, обзора результатов экспериментальной психологии.

Из русских кроме меня здесь были Федор Евдокимович Волошин и Полина Осиповна Эфруси. Волошин участвовал в опытах Нарцисса Аха, который был в то время ассистентом проф. Мюллера. Ах изучал условия возникновения сновидений, а Волошин, как испытуемый субъект, в определенные часы приходил в психологический кабинет спать там. Я занялся экспериментами над заучиванием пар слов русского и немецкого языка и установлением скорости припоминания их в различных условиях. Кроме того, мною была предпринята большая работа перевода моей диссертации „Die Grundlehren der Psychologie vom Standpunkt des Voluntarismus“ на немецкий язык. Перевод был выполнен господином Клейкером, который страстно любил изучение языков и знал несколько десятков их. Русский язык он знал не настолько, чтобы самостоятельно перевести книгу, но он быстро схватывал мои пояснения и легко находил точное выражение моей мысли. Особенно важно было найти выражение для введенных мною слов «осознать», «опознать» и т. п., что Kleuker удачно выполнил.

У геттингенских химиков работал этим летом Даниил Данилович Гарднер, ассистент Петербургского Технологического института. С ним была жена и двухлетняя дочь. Они увлекались германскою социал-демократиею, выписывали „Vorwärts“ и, приходя к нам, сообщали из этой газеты волнующие политические новости.

Поселились мы в одном километре от города, наняв маленький домик при ресторане Rohns, на склоне холма, откуда

открывался красивый вид на Геттинген. Когда приблизилось время родов, мы обратились к гинекологу профессору Мюллеру, который дал нам опытную акушерку. Роды оказались очень тяжелыми вследствие неправильного положения ребенка. Они длились 60 часов; сердце матери начало ослабевать, поэтому профессор Мюллер решился наложить петлю на ножку ребенка, чтобы извлечь его. Он предупредил нас, что ножка будет сломлена, но это необходимо для спасения жизни матери. Так появился на свет старший сын наш Владимир в день Св. Духа 26 мая (старого стиля). У него была сломлена правая нога у самого бедренного сустава. „Das Kind ist verloren“, сказал профессор.

Измученные трехдневными страданиями жены моей, близкие уже к отчаянию, мы не могли допустить в свое сознание мысли, что крепкий, здоровый ребенок, с прекрасно развитою грудью, с ярко выраженною индивидуальностью, уже обречен на гибель. Когда его купали, он кричал на весь дом сильным басистым голосом. По совету проф. Мюллера мы пригласили из хирургической клиники доктора X, молодого асссистента. Он наложил на ножку ребенка стеклянную повязку, уложил его в колыбель с поднятою ногою, к которой была привязана гиря на шнуре, перекинутом через блок. Проф. Мюллер, принимавший живое участие в наших горестях, сказал д-ру X: «Верните мне мои спокойные ночи». Добрые качества немецкого народа ярко обнаружились в отношении наших обоих докторов и акушерки к нашей семье: добросовестность в работе, сердечное отношение к людям.

Кормить нашего Владимира приходилось коровьим молоком и разными искусственными препаратами, потому что вынимать его из колыбели было нельзя. К тому же у Людмилы Владимировны, истощенной долгими родами, не было вовсе молока. Недели через две ребенок, появившийся на свет чрезвычайно упитанным и крепким, исхудал и истощился. Однажды ночью вследствие какого-то движения ребенка повязка сорвалась, соскочила к ступне и впилась в нее, натягиваемая гирею. Я бросился в клинику за доктором X. Пока я искал его, что было очень трудно ночью, Адель Ивановна все время держала ножку по возможности в правильном по-

ложении. Часа через два—три мы пришли с доктором и он наложил вновь повязку.

После трех недель лечения доктор X снял повязку и нашел, что кость срослась правильно. Силы Людмилы Владимировны начали восстанавливаться к этому времени, но она все еще лежала в постели. Когда к ней поднесли ребенка, удивительным образом в груди ее появилось молоко, и с этих пор наш Володя стал быстро и правильно развиваться. Появление молока через три недели после родов было столь необыкновенно, что проф. Мюллер сказал: «Такие чудеса случаются, вероятно, только у русских».

Холмы, на склоне которых мы жили, были покрыты лесом со множеством дорожек. По всем направлениям мы исходили его, возя с собою сына в колясочке. И дома и днем и ночью он дышал свежим воздухом; окно в его комнате было всегда открыто, несмотря на холодное и сырое лето. Мы увлекались учением о том, что лечить болезни нужно не лекарствами, а силами природы и что для сохранения здоровья нужно жить ближе к природе. Спали мы не только летом, но даже и зимою в Петербурге с открытою верхнею частью окна.

О рождении сына мы написали отцу Николаю Апраксину в Женеву, выражая желание, чтобы он крестил его, если обстоятельства сложатся так, что ему было бы удобно приехать. Велика была наша радость, когда этот добрый пастырь действительно приехал к нам и совершил таинство крещения. Не только платы за требу, но даже и оплаты проезда он не пожелал взять у нас.

Когда мы вернулись в Петербург, факультет постановил организовать психологический кабинет. Заведование им принадлежало проф. Введенскому, а мне было поручено быть помощником его. Однако в это время, когда я закончил работу над книгою по психологии, в центре моего внимания стояла теория знания и логика. Психологиею, как специальною наукою, я интересовался все менее и менее. Вскоре после того, как я начал принимать участие в организации кабинета, я сделал крупную ошибку, ясно показавшую мне, как мало я был приспособлен вести дело, требующее многих технических знаний и, главное, интереса к приобретению их. Нуждаясь в электрическом двигателе для приборов по экс-

периментальной психологии, я купил мотор. Оказалось, что он приводим в движение постоянным током, между тем как в здании университета ток был, конечно, переменный. Эта ошибка моя так возмутила и огорчила меня, что я отказался от должности заведующего кабинетом, несмотря на все убеждения проф. Введенского и членов факультета сохранить за собою это место.

Осенью 1903 г. состоялась защита на степень магистра философии моей диссертации «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма». Все, что случилось во время этой защиты, будет понятно, когда я расскажу о содержании и форме моей книги. Мне пришло в голову разработать особую новую форму волюнтаризма. Своеобразие ее заключалось в том, что она сочеталась с интуитивизмом, то есть с учением, что в кругозор сознания человеческого я вступают предметы внешнего мира в подлиннике.

Согласно свидетельству непосредственного опыта, одни процессы суть проявления *самого* моего я, например усилие внимания, хотение слушать пение любимого артиста и т. п., они переживаются непосредственно, как и «мои»; другие процессы суть нечто независимое от моего я, они переживаются как нечто «данное мне» извне, например звук выстрела. Даже органические ощущения, стремления и чувственные удовольствия, локализованные в теле и переживаемые, как нечто «данное мне», например зубную боль, жажду, локализованную в нёбе и всем теле, я рассматривал уже, как проявление не моего я, а моего тела, то есть ближайшего к моему я внешнего мира. Наблюдения эти были накоплены мною уже давно благодаря занятиям у Лесгафта и развившейся у меня тогда склонности следить за органическими ощущениями и всеми изменениями в теле.

Освободившись от материализма и усвоив лейбницианское представление о теле, как союзе монад, подчиненных одной главной монаде, которая и есть само человеческое я, я истолковал различие «моих» и «данных мне» переживаний в духе этой метафизики. Задача моей книги состояла в том, чтобы доказать основной тсзие волюнтаризма, именно что вся жизнь я состоит из процессов, имеющих строение волевого акта или начала его, то есть состоит из стремления, чувствования активности и произведенной этою активностью

перемены. Защита волюнтаризма была облегчена для меня различением «моих» и «данных мне» содержаний сознания: состояния «данные мне» я вовсе не обязан был считать творением моей воли.

Форма моего изложения и развития мысли была обусловлена двумя факторами: склонностью моею к эмпиризму и опасением возражений кантианца Введенского. Разработанной теории умозрения, как особого вида опыта, у меня в то время еще не было; поэтому я излагал свои основные положения нередко так, как будто они обоснованы индуктивным методом; между тем, в действительности многие из них основывались на том, что гуссерлианец назвал бы Wesensschau. Опасаясь вражды Введенского к метафизике, я ввел понятие я, как субстанции, только в середине книги, да и здесь разумел под субстанциальностью преимущественно единство стремлений, а не особое онтологическое начало (гл. V, 1).

Несмотря на все эти мои предосторожности, мой замысел представить в виде университетской диссертации книгу, содержащую в себе оригинальное новое направление, был смелым предприятием. Увлекаясь своею работою, я не думал о практической стороне дела и не подозревал опасности, которой подвергался. Вопрос о допущении диссертации к публичной защите обсуждается в факультете на основании отзыва двух специалистов и, в случае явной несостоятельности труда, диссертация отклоняется факультетом. Если диссертация допущена к защите, то это уже означает, что аспирант признан заслуживающим ученой степени, и диспут есть только средство общественного контроля над правильностью присуждения степени. Нужны какие-нибудь исключительные обстоятельства, обнаружившиеся на диспуте, например полное неумение аспиранта защитить свою мысль или раскрытие кем-либо из публики плагиата и т. п., для того, чтобы степень не была присуждена. Таким образом, неприсуждение степени на диспуте есть губительный для молодого ученого скандал, редкий в летописи русских университетов.

Согласно обычаю, аспирант заказывает где-либо в ресторане обед, на который приглашает декана факультета, своих оппонентов и близких себе лиц. Я не любил ресторанов и потому мы решили приготовить обед у себя на квартире. Идя вместе с членами факультета из профессорской комнаты в

актовый зал, где должен был состояться диспут, я подошел к профессору Введенскому и пригласил его на обед после диспута. «Подождите», ответил Введенский, «может быть, мы расстанемся врагами». Я побледнел, поняв, что мне предстоит выдержать решительный и страшный бой. Введенский, искусный диалектик, находчивый в спорах, был чрезвычайно опасным врагом. Тотчас же мне пришло в голову, что я должен хорошенько выяснить слушателям содержание моей книги и подготовить их к сознательному слушанию спора.

Согласно обычаю, диспутант имеет право перед началом возражений произнести краткую речь минут на двадцать о своем труде. Я тотчас сказал Введенскому, что хотел бы в начале диспута получить слово. На это Введенский ответил: «Зачем? Это вовсе не требуется». Тогда я обратился к декану факультета С. Ф. Платонову и заявил ему о моем желании. «Это ваше право», сказал декан.

Большой актовый зал был полон народу; даже на хорах все места были заняты. Книга моя обратила на себя внимание; к тому же, вероятно, многие знали об отношении к ней проф. Введенского и ждали интересного зрелища. Мне удалось в двадцатиминутной речи изложить сущность своей книги, основной тезис ее и главные доказательства. Говорил я оживленно, ясно и последовательно. Моя речь была покрыта громом рукоплесканий. У меня явилась поэтому уверенность, что процесс мой выигран уже с самого начала. Проф. Введенский начал систематически ставить мне вопросы, связанные с возражениями на отдельные части книги. Сознание опасности вызвало во мне напряженную сосредоточенность всех сил при полном спокойствии. Легкая улыбка играла на моем лице; я отвечал своему учителю, неизменно сохраняя почтительное отношение к нему, но указывая постоянно на то, что правильное понимание моей книги возможно лишь для читателя, принимающего во внимание тонкие оттенки переживаний, несомненно наличные в опыте, однако с трудом улавливаемые. После трех четвертей часа беседы Введенский подвел спор к вершине его. Он привел главный тезис моей книги «все сознательные процессы, поскольку мы относим их на основании непосредственного чувства к своему я, заключают в себе все элементы волевого акта и причиняются *моими* стремлениями», который я формулиро-

вал, как доказанное мною обобщение, и стал утверждать, что этот тезис есть суждение аналитическое. Тут мне ясно открылся остроумный план нападения Введенского. Он вполне соответствовал его представлениям о системах метафизических учений, как совокупностях суждений, в которых понятие, служащее субъектом, произвольно построено так, что в его содержании уже находится понятие, высказываемое затем в предикате.

Если бы я не сумел ясно показать, что мой основной тезис есть суждение синтетическое, проф. Введенский свел бы всю мою книгу к нулю: он стал бы с торжеством показывать, что она есть набор пустых тавтологий. Поэтому я напряг все силы, чтобы отчетливо показать аудитории, какую опасность представляло бы для меня возражение Введенского, если бы суждение, выражающее закон, который я хотел доказать, действительно было аналитическим. Я разложил его на субъект и предикат и показал, что субъектом этого суждения служит понятие психического состояния, характеризующегося непосредственно переживаемым оттенком, выражаемым словом «мое», а предикат присоединяет сюда нечто новое, именно указание на то, что в таком процессе всегда можно найти элемент волевого акта, — стремление, чувствование активности и перемену, связанную с чувствованием удовлетворения или неудовлетворения.

Слушателям стало ясно, что спор мой с проф. Введенским достиг завершения и что ответом моим успешно устраняется его возражение. Вероятно, чувствовалось, что аудитория в большинстве на моей стороне; у Введенского даже вырвалась фраза, как бы в извинение своего поведения: «Ведь я на медные гроши воспитан». В заключение он, как истый кантианец, насмешливо процитировал то место моей диссертации, где я говорю, что «я есть субстанция, непосредственно сознающая все свои состояния, как свои акты, производимые ею сообразно своим стремлениям».

После А. И. Введенского моими оппонентами были товарищ мой приват-доцент И. И. Лапшин, профессор физиологии Н. Е. Введенский и из публики Каллистрат Фалалеевич Жаков. Диспут длился не менее пяти часов, что чрезвычайно утомительно для диспутанта, который все время должен стоять и напряженно работать умом. По окончании диспута

степень магистра философии была присуждена мне факультетом без колебаний.

Обед у нас на дому прошел очень хорошо в оживленной и благожелательной беседе. Проф. Ф. А. Браун произнес, согласно традиции таких обедов, остроумную речь, полную шутливых замечаний о диспутанте и оппонентах.

Все мое внимание и все интересы сосредоточились теперь на разработке интуитивизма, как нового направления в гносеологии. Эта задача должна была стать важнейшим делом моей жизни. Удачное решение ее должно было содержать в себе преодоление «Критики чистого разума» Канта и оправдание метафизики, как науки. Я понимал, что интуитивизм есть гносеологическое направление стол же основное, как эмпиризм и рационализм. С увлечением я принялся за свою новую книгу и решил представить ее как диссертацию на степень доктора философии.

Ввиду смелости своего замысла я очень ограничил задачу своей диссертации: стремясь выработать новую теорию знания без предпосылок, я занялся в первых главах исследованием ложных предпосылок докантовского эмпиризма и рационализма, из которых вытекал вывод, будто все имманентное сознание необходимо должно быть моим индивидуально-психическим состоянием. В качестве ложных предпосылок я нашел неправильным использование понятий причинности и субстанциальности при решении проблем теории знания. В самом деле, и эмпиристы, и рационалисты полагали, что чувственный состав восприятия есть результат *причинного* воздействия предметов внешнего мира на душевно-телесную жизнь познающего субъекта. Далее, сторонники обоих направлений полагали, что все имманентное сознанию в процессе познавания, чувственные содержания восприятия, мыслимые содержания понятий, суждений, умозаключений, одним словом все находящееся в сознании, есть *состояние* познающего *субъекта*, принадлежащее ему, как *его* психическая жизнь, подобно тому, как ему принадлежат его чувства и желания.

Отбросив эти предпосылки, я занялся анализом познающего сознания и различил в нем содержания, непосредственно испытываемые как «мои», то есть принадлежащие мне, и как «данные мне», то есть чуждые моему я. Далее, я пока-

зал, что непосредственное свидетельство опыта, находящего внутри кругозора сознания субъекта не только его внутреннюю душевную жизнь, но и внешний мир, познаваемый им в подлиннике, должно быть принято за истину, потому что субъективирование и психологизирование «данных мне» содержаний сознания есть следствие ложных предпосылок, ведущее к безвыходным затруднениям в теории знания. Вслед за этим очерком основ интуитивизма я занялся критикою теории знания Канта, находя, что эту задачу легче осуществить после того, как читатель познакомится с учением, возрождающим истину наивного реализма. Пользуясь филологическими исследованиями Файтингера, изложенными в его «Комментарии к Критике чистого разума», я показал, что в основе критицизма Канта лежат те же две ложные предпосылки, какие были и у его предшественников: субъективирование и психологизирование всего имманентного сознанию произведено им вследствие неправильного использования понятий причинности и субстанциальности в гносеологии. Непосредственный анализ сознания, не сбиваемый с толку никакими ложными предпосылками, дает право утверждать, что «данное мне» есть уже сам внешний мир, вступивший в мое сознание в подлиннике.

Поскольку мое учение об интуиции, как непосредственном созерцании бытия субъектом, не было дополнено метафизическими учениями о строении мира и его онтологической связи с познающим индивидуумом, в моей книге решение трудных проблем теории знания сопутствовалось возникновением ряда метафизических загадок: как возможно, чтобы субъект непосредственно созерцал в подлиннике не только свои переживания, но даже и внешний мир? как возможно, чтобы субъект непосредственно наблюдал события, отошедшие в область прошлого, и даже заглядывал в будущее? какую роль играют раздражения органов чувств? и т. п. Откладывая решение этих вопросов для будущих работ и желая подчеркнуть, что моя книга есть введение в новое гносеологическое направление, я назвал ее в подзаглавии «Пропедевтическою теориею знания».

Мне было бы неприятно думать, что моя теория знания есть нечто абсолютно новое, какая-то индивидуальная выдумка, не стоящая ни в какой связи с прошлым философии.

Поэтому я присоединил главу, в которой рассмотрел зародыши интуитивизма в докантовской новой философии и особенно старался показать, что после Канта развитие философии необходимо вело к интуитивизму, что и обнаружилось особенно ясно в метафизическом идеализме Фихте, Шеллинга и, главным образом, Гегеля, а также далее в неокантианстве. Даже в позитивизме Спенсера я нашел проблески учения о непосредственном восприятии внешнего мира познающим субъектом.

Свою работу я напечатал сначала в «Вопросах философии и психологии» в 1904—5 гг. под заглавием «Обоснование мистического эмпиризма». Потом, печатая ее в «Записках Историко-Филологического факультета», как книгу, представленную для соискания степени доктора философии, я дал ей заглавие «Обоснование интуитизма». Главным мотивом этого изменения заглавия было соображение, что моя теория есть направление своеобразное, заключающее в себе органический синтез традиционного эмпиризма с рационализмом, и потому должна быть названа совершенно новым термином.

Сохраняя неприятные воспоминания о своем магистерском диспуте о проф. Введенского, я решил защищать докторскую диссертацию в Московском университете у проф. Лопатина. Диспут состоялся в апреле 1907 г. Он протекал вполне нормально. Официальными оппонентами были проф. Лопатин и приват-доцент Виноградов. Возражения Лопатина против некоторых отдельных положений диссертации были серьезные, но общее отношение его к моей книге было благожелательное. Когда мы с женою вернулись из Москвы, Введенский, разговаривая со мною о моем докторском диспуте, упрекнул меня за то, что я защищал свою докторскую диссертацию не у него.

Свою книгу я издал также на немецком языке под заглавием „Die Grundlegung des Intuitivismus“ в 1908 г., а в 1919 г. она была издана по-английски под заглавием „The Intuitive Basis of Knowledge“ в переводе Наталии Александровны Дэддингтон (урожденной Эрталь, которая была ученицею старших классов гимназии М. Н. Стоюниной и слушала у меня в восьмом классе философскую пропедевтику). Мой интуитивизм привлек к себе внимание широких кругов русского общества.

Возможно, что интерес к моей книге основывался у некоторых лиц на некотором недоразумении, именно на предположении, что я называю словом интуиция особую загадочную способность, присущую лишь некоторым высокоодаренным лицам. В действительности я разумел под словом интуиция нормальные обычные способы восприятия и умозрения, но задался целью показать, что все они имеют характер непосредственного созерцания бытия в подлиннике. Задача моего исследования была сухая, но гораздо более притязательная, чем рассуждения о какой-нибудь загадочной исключительной способности познавания. Утверждая, что всякое познавание есть видение самой живой действительности, я задавался целью дать положительное истолкование и метафизическому умозрению, и научному наблюдению, и религиозному опыту. Теория знания интуитивизма должна была оказать помощь лицам, стоящим на двух противоположных флангах, — и натуралистам, и религиозным мистикам. Натуралистам она дает право утверждать, что, наблюдая в микроскоп инфузорий или в телескоп светила небесные они исследуют не свои представления, а саму живую действительность внешнего мира. Религиозным мистикам она дает новые основания защищаться против упрека, что они живут в мире субъективных иллюзий, и утверждать, что их созерцания суть проникновение в высший Божественный мир. Среди молодых людей, понимавших, какие широкие горизонты открывает интуитивизм для нового истолкования и освещения данных знания в различных областях, появились восторженные поклонники моей теории знания.

Один из них, Прейс (в начале войны он был в Германии и с тех пор я ничего не слышал о нем), обратил внимание на то, что наряду с материальными и душевными процессами мы имеем в кругозоре сознания в подлиннике также социальную действительность, как особое царство бытия. Он знал наизусть введение в «Обоснование интуитивизма» и некоторые другие отрывки из этой книги. Слушательница Высших Женских Курсов Лебедева сказала моей сестре: «Если бы я сделала такие открытия, как ваш брат, я выбежала бы на улицу и кричала бы о них всем прохожим от счастья». В кругах старших философов отношение к интуитивизму было сдержанное, однако и среди них были лица, например Э. Л.

Радлов, сочувственно относившиеся к моей работе. М. И. Каринский после одного из заседаний Философского общества, на котором читался чей-то доклад, содержавший в себе критику интуитивизма, сказал мне, спускаясь с лестницы, что основной замысел интуитивизма граничит с безумием, однако согласился, что у Спенсера есть строки, содержащие в себе зародыш такой теории.

В течение ряда лет после защиты диссертации я продолжал затрачивать все силы на дальнейшую работу над теориею знания и логикою. Я занимался изучением современных гносеологических направлений, чтобы сопоставлять с ними, защищать и развивать далее интуитивизм. В 1908—1909 учебном году мною был осуществлен в университете, а потом на Высших Женских курсах грандиозный семинарий, посвященный обзору важнейших современных теорий знания. Темы своих семинариев и просеминариев я объявлял студентам весною, чтобы они могли летом подготовиться и прочитать рекомендуемые сочинения, иногда весьма обширные, как, например, „Erkenntnisstheoretische Logik“ Шуппе. Нередко после такой большой работы студенты и курсистки, участвовавшие в семинарии, снимались все вместе со мною; от слушательниц Высших Курсов я иногда получал в конце года цветы.

Какая-то заметка в словаре Эйслера, кажется, по поводу философии Ремке, обратила мое внимание на то, что учения о сознании, как объемлющем не только индивидуально-психические состояния субъекта, но и внешний мир, предполагает новое понимание сущности сознания, именно учение о том, что в основе сознавания субъектом предмета лежит особое *отношение*, связывающее друг с другом субъект и предмет. Я стал разрабатывать учение о гносеологической координации познавающего индивидуума с предметами внешнего мира. Мною были написаны статьи: «Гносеологический индивидуализм в новой философии и преодоление его в новейшей философии» (речь 1907 г. перед защитою диссертации; нем. перевод в Zeitschrift für Philosophie und philos. Kritik, Bd. 132); «Идея бессмертия души как проблема теории знания», 1910; «Реформа понятия сознания в современной теории знания, и ее значение для логики» (по-нем. в „Encykl. der philos. Wissenschaften, I, Logik, 1912). «Реформа понятия сознания

в современной гносеологии и роль Шуппе в этом движении», 1913; «Интуитивная философия Бергсона», 1914; «Восприятие чужой душевной жизни», 1914.

Желая дать подробное сопоставление интуитивизма с индивидуалистическим эмпиризмом, рационализмом и критицизмом, я написал «Введение в философию. Часть I. Введение в теорию знания», 1911. В этой книге критицизм был изложен мною дважды: в традиционном психологистически-феноменалистическом истолковании и в реформированном трансцендентально-логическом понимании, особенно тем, которое развито Когеном.

Словарь Эйслера привлек мое внимание к Ремке. Я уже и раньше в «Обосновании интуитивизма» упомянул Ремке, как автора книги „Die Welt als Wahrnehmung und Begriff“, в числе предшественников интуитивизма, но причислил его, согласно распространенному о нем мнению, к имманентной школе наравне с Шуппе. Взгляды Шуппе я знал хорошо, а книгу Ремке только перелистал, надеясь найти у него объективистическое учение о фантазии. Ожидания мои не оправдались. У меня получилось впечатление, что гносеология Ремке есть не более, чем одна из форм неокантианства, разновидность имманентной философии. В 1908 году мое «Обоснование интуитивизма» появилось на немецком языке. Ремке познакомился с моею теориею и в 1913 г. поеле того, как им была издана „Philosophie als Grundwissenschaft“, написал мне, что я неправильно причислил его, следуя общему мнению, к школе имманентной философии; он утверждал, что его теорию знания следует понимать в духе интуитивизма, а не в духе неокантианских теорий. И в самом деле, гносеология, намеченная Ремке в „Philosophie als Grundwissenschaft“, а также его статья „Unsere Wahrnehmung der Aussenwelt“ очень близка к моему интуитивизму. Однако у меня явилось убеждение, что это новая ступень в развитии его гносеологии, и что в то время, когда он писал „Die Welt als Wahrnehmung und Begriff“, он еще слишком неопределенно подходил к интуитивизму, стоя еще слишком близко к неокантианскому гносеологическому идеализму, что и выразилось даже в заглавии его книги. Я хорошо познакомился с „Philosophie als Grundwissenchaft“; метафизическая часть которой меня весьма не удовлетворила, а книгу „Die Welt als Wahrnehmung und Begriff“ так и не прочитал.

В 1913, кажется, году в Петербурге был болгарский философ Д. Михальчев, верный ученик и последователь Ремке, написавший книгу „Philosophische Studien“, 1909. В беседе его со мною явно проскальзывало убеждение, что мой интуитивизм есть не более, как видоизменение теории Ремке, и что я написал свое «Обоснование интуитивизма» под влиянием Ремке. Меня очень забавляло это недоразумение. В то время, когда я обдумывал и писал «Обоснование интуитивизма», убеждение мое в возможности непосредственного созерцания внешнего мира связано было с философией Шеллинга, Гегеля, а книгу Ремке я взял в руки только тогда, когда писал главу о предшественниках интуитивизма, да и то прочитал из нее лишь несколько страниц.

Вообще надо заметить, что новые направления, обыкновенно, возникают сразу во многих умах независимо друг от друга, но в связи с общим состоянием культуры и ее прошлым. Обыкновенно, в каждом уме новая система философии вырастает органически изнутри, будучи в то же время аспектом всего культурного развития. Поэтому историк, пытающийся понять какую-либо систему, как мозаику, полученную из заимствований от других мыслителей и как результат прямых влияний их друг на друга, обыкновенно, попадает пальцем в небо. Прямые влияния возможны бывают только в области деталей двух систем, более или менее родственных друг другу, тогда как целое их при ближайшем рассмотрении оказывается глубоко различным.

Одно непосредственное влияние на развитие моих взглядов я могу указать точно. С. А. Алексеев, беседуя со мною, однажды указал на то, что связь душевных процессов с телесными рассмотрена французским философом Бергсоном в духе, благоприятном для разработки моего интуитивизма. Я тотчас выписал „Essai sur les donneés immédiates de la conscience“ и „Matière et mémoire“.

Учение Бергсона о том, что раздражения органов чувств и физиологические процессы в нервных центрах суть не причина, а только стимул, подстрекающий духовное я человека к восприятию и припоминанию, я приветствовал с радостью и приобщил к числу защищаемых мною теорий. Но, конечно, антиплатонизм Бергсона, его гносеологический дуализм, иррационализм, учение о чувственных качествах, как сгущени-

ях, производимых субъектом, далее, его учение о свободе воли, не дающее ясного решения вопроса, были мною отвергнуты. Получив приглашение прочитать несколько публичных лекций в Москве, я изложил в них сущность философии Бергсона и отличие ее от моих взглядов. Эти лекции напечатаны были мною в брошюре «Интуитивная философия Бергсона» (издательство «Путь», Москва 1913).

Немалым шагом вперед была поправка к ошибочному учению о чувственных качествах, которое было изложено в первом издании «Обоснования интуитивизма». Там я высказывал мысль, что чувственные качества возникают *внутри тела субъекта*, как результат раздражения органов чувств и нервной системы. Считая их принадлежащими к внешнему миру «данному мне» в восприятии, я тем не менее слишком приближал их к познающему индивидууму, потому что относил их к телу индивидуума, а не к окружающему его тело внешнему миру. Критикуя систему Бергсона, я уже понимал, что не только умозрительно открываемая сущность и строение внешних предметов, но и чувственные качества их суть нечто принадлежащее к их составу, независимому ни от познающего индивидуума, ни от его тела.

Меня очень интересовал вопрос об истории интуитивизма. Я был уверен, что это направление, хотя оно и не развивалось непрерывно, как эмпиризм и рационализм, должно было появляться спорадически на всем протяжении истории европейской мысли. Например, частично интуитивизм может быть найден у Платона, Аристотеля, Плотина и в полной мере у некоторых средневековых мыслителей. Однако у меня не было времени для занятий такими историческими исследованиями. Я надеялся, что кто-нибудь из моих учеников или последователей возьмет на себя эту задачу; сам же я хотел разработать интуитивизм настолько, чтобы положить начало в дальнейшем его непрерывному развитию в истории философии. Впрочем в это время у меня была мысль написать историю гносеологии в новой философии с целью обрисовать гносеологический индивидуализм XVII и XVIII вв. и намечающийся переход от него к гносеологическому универсализму со времени представителей германского метафизического идеализма, Фихте, Шеллинга, Гегеля.

Однако и эту работу я оставил в стороне, все более убеж-

даясь в том, что прочное обоснование интуитивизма требует от меня занятий не только теориею знания, но и метафизикою. Переход к этой науке был подготовлен тем, что в описанный период разработки интуитивизма я постепенно прочитал, подготовляя лекции и семинарии, почти все произведения Фихте, Шеллинга, Гегеля, а также Плотина. Писание книги «Мир как органическое целое» вводит в совершенно новый этап моей философской работы; поэтому, раньше, чем приступить к описанию его, я расскажу о своей жизни за это время вплоть до начала революции.

Кафедра философии в Петроградском университете очень долго обслуживалась одним профессором Введенским. Он читал все обязательные для студентов общие курсы: логику, психологию, историю древней и новой философии, введение в философию. Специальные курсы он читал редко. У него не было времени вырабатывать их: нуждаясь в средствах, он читал лекции в множестве высших учебных заведений Петербурга. Даже докторскую диссертацию он не имел времени написать и до конца жизни имел только степень магистра философии. Имея властный характер, он не хотел, чтобы рядом с ним было при кафедре философии учреждено еще одно или два штатных профессорских места.

Впоследствии Иван Иванович Лапшин и я, оставаясь приват-доцентами, тем не менее завоевали себе право читать также общие курсы и стали участвовать в ведении экзаменов, так что работа наша отличалась от профессорской лишь тем, что у нас не было обязанности посвящать лекциям и практическим занятиям шесть часов в неделю. Обыкновенно, я отдавал университету только четыре часа в неделю: два часа лекций и два часа семинария или просеминария. Факультет, признавая нашу работу необходимою для обслуживания кафедры, назначил нам постоянное жалованье. Я получал 1200 рублей в год.

Будучи противником моего направления, Введенский както однажды заявил: «Пока я жив, Лосский не будет занимать кафедры в Петербургском университете». В 1907 г., когда И. И. Лапшин представил диссертацию на степень магистра «Законы мышления и формы познания», он получил сразу степень доктора, что случается весьма редко в наших университетах, только в случае особенно выдающихся до-

стоинств труда*. Тем не менее Введенский и Лапшина не допускал до получения профессуры вплоть до 1913 г.

Введенский полагал, что студенту, занимающемуся философиею, полезнее всего получать знания только от одного учителя и находиться под его исключительным руководством. Поэтому он рекомендовал студентам не разбрасываться, а сосредоточивать свои занятия или у него, или у Лапшина, или у меня. Мои учения он подвергал на своих лекциях чрезвычайно резкой критике. В его книге «Логика как часть теории познания» есть следующая выходка против меня.

Приведя цитату из введения в «Обоснование интуитивизма», где я говорю, что ошибки, ведущие к субъективному идеализму, веками гнездились в философии, потому что источник их кроется в бессознательных предпосылках, «где их не может усмотреть даже и наиболее чувствительный к противоречиям, строго логический ум» (стр. 4), Введенский продолжает: «А вот Н. О. Лосский усмотрел то, чего не может усмотреть даже и наиболее строгий логический ум. О, как должна гордиться Россия появлением Н. О. Лосского. Что перед ним Архимед, Галилей, Лавуазье, Фарадей, Гаус, Лобачевский, Кант, Конт, Менделеев и т. д.» — «Ведь еще никто, ровно никто в мире до него не мог установить знание, проникающее в сущность вещей, а он установил его. Говорят,что такие умы, как: Аристотель, Декарт, Лейбниц, Кант родятся не каждое столетие, но такие, как Н. О. Лосский, родятся даже не каждое тысячелетие».**

Однажды мы с Введенским сидели одни в профессорской *и беседовали о философских вопросах. Коснувшись моего* учения о непосредственном восприятии внешнего мира, Введенский сказал, что это мое учение есть своего рода «одержимость». Эту психологию моего мышления я отпарировал не менее жестоким объяснением кантианского субъективизма, проповедуемого Введенским. Зная, что Введенского считают больным табесом, и наблюдая ослабление у него мускульного чувства, выражавшееся между прочим в том, что

---

* Мой отзыв о книге И. И. Лапшина в «Вопр. фил. и псих.», 1907, кн. 88.

** А. И. Введенский. «Логика как часть теории познания», 1909.

он с трудом и большою осторожностью спускался с лестницы, я сказал: «А кантианское учение, будто мы в сознании имеем дело только со своими субъективными представлениями, свойственно паралитикам, которые утратили живое общение с внешним миром»[12].

Моя резкость нисколько не ухудшила наших личных отношений. На заседаниях Философского Общества, когда я выступал с докладом или когда читались доклады обо мне, Введенский называл меня своим талантливым учеником; он говорил иногда, что я занимаю в русской философии место, равное положению Соловьева. Тем не менее звание профессора философии Петербургского университета было мною получено очень поздно, только уже во время войны в феврале 1916 г. Правда, до этого времени мною был получен ряд предложений кафедры из других городов, но все их мне приходилось отклонять вследствие обстоятельств моей семейной жизни. Моя жена была помощницею своей матери в ведении дел гимназии.

Ввиду семейных традиций и возрастающего значения гимназии бросить это дело было нельзя и потому наша семья не могла переехать из Петербурга. Еще до защиты магистерской диссертации Введенский предлагал мне устроить меня на кафедру в Варшавском университете, однако я отказался не только в силу семейных условий, а также и потому, что считал положение лица с полупольским происхождением, но решительно русским национальным сознанием особенно трудным в варшавском обществе.

Когда степень магистра была мною получена, в Петербург приехал старый знакомый Марии Николаевны профессор Казанского университета Корсаков, кажется, в то время декан Историко-филологического факультета. Он предлагал мне кафедру в Казани, но на семейном совете мы решили отклонить это предложение.

В 1906 г. Г. И. Челпанов был приглашен из Киева в Московский университет, он хотел устроить меня на свое место в Киевском университете, но и от этого предложения мне пришлось отказаться. Наконец, незадолго до войны, когда профессор Лопатин за выслугою лет перестал занимать штатное место, проф. Браун от имени Московского университета вел со мною переговоры о моей профессуре в Москве.

Я высоко ценил Московский университет и общество московских философов было бы благоприятною средою для моей работы. Поэтому я поставил вопрос, нельзя ли, живя в Петербурге, исполнять обязанности профессора Московского университета путем поездок в Москву. Но мне ответили, что интенсивная жизнь факультета требует постоянного присутствия профессора в Москве. Таким образом в Петербургском университете я оставался в положении приват-доцента целых 16 лет до начала 1916 года. Однако звание профессора я имел уже давно по своей работе в других высших учебных заведениях Петербурга.

В Петербурге на Гороховой улице давно уже существовал Женский Педагогический институт. Это было захиревшее учреждение, но приблизительно в 1904 г. оно вступило в новую энергичную фазу существования. Почетным попечителем института был назначен Вел. князь Константин Константинович, директором профессор С. Ф. Платонов. Были отпущены средства на расширение преподавания и на постройку собственного здания на Петроградской стороне на Малой Посадской улице. Логику в институте преподавал Я. Н. Колубовский. Платонов, заменяя многих прежних профессоров новыми, хотел пригласить меня для преподавания логики. Когда он заговорил об этом со мною, я сказал, что не могу прямо принять его предложение, потому что место занято Колубовским и я не вижу причин, почему он должен уйти. Платонов был взбешен, натолкнувшись на неожиданное препятствие; в споре со мною у него даже вырвалась фраза, что он сломит палку о меня. Посоветовавшись с Колубовским и заручившись его согласием, я принял место преподавателя логики в Педагогическом Институте.

Занятия в этом учреждении удовлетворяли меня. Слушательницы усердно занимались и охотно выполняли практические работы. Очень сочувственно относилась к моей работе в Институте начальница его г-жа Попкова. Но в отношении к начальству были у меня шероховатости. В 1905 г. после избиения манифестантов на Дворцовой площади 9 января несколько слушательниц Института заявили какой-то протест или приняли участие в какой-то политической демонстрации. Поднялся вопрос об исключении их.

Был созван Совет профессоров под председательством Вел.

князя Константина Константиновича для обсуждения этого дела. Во время прений о мерах воздействия на слушательниц я попросил слова и высказал мысль, что молодые люди, чуткие к вопросам социальной справедливости, будут ценными членами общества, особенно как педагоги, и потому их надо беречь и предоставить им возможность закончить образование. Спустя несколько лет, пять или шесть профессоров, в том числе И. И. Лапшин и я, вышли из состава преподавателей Института, вследствие какого-то несогласия с начальством Института.

На Бестужевских Высших Женских Курсах философию преподавал проф. Введенский. Его блестящий талант изложения философских проблем и внушительная фигура производили сильное впечатление. Многие слушательницы страстно любили его; наоборот, другие столь же страстно ненавидели его за то, что он резко и насмешливо высказывался против крайних революционных увлечений молодежи.

После одной из сходок, на которой бессовестные и легкомысленные агитаторы убеждали курсисток устроить забастовку, Введенский, кажется перед лекциею, сказал несколько слов о бессмысленности этого замысла и назвал «баранами» курсисток, слепо идущих за вожаками. Слова эти вызвали возмущение; начались сходки, протесты, требования извинения. Введенский вышел в отставку и несколько лет не читал лекций на Курсах. В это время я был приглашен читать лекции на Курсах. И. И. Лапшин уже раньше был там профессором. Введенский через несколько лет вернулся на Курсы и мы все трое работали на них до тех пор, пока большевики не слили Курсы с Университетом.

Упомяну еще о том, что в 1905—1908 гг. при гимназии Стоюниной были учреждены вечерние «Высшие Курсы Историко-филологические и юридические». На них читали отдельные лекции и небольшие курсы многие профессора университета и экономического отделения политехникума. Философские лекции читали С. А. Алексеев и я. С. Л. Франк начал на этих курсах свою философскую деятельность. Среди его слушательниц была Татьяна Сергеевна Барцева, которая стала вскоре его женою. Незадолго до войны открылись на Гороховой улице Курсы Раева, на которых я читал

лекции, пока курсы эти, кажется, во время революции, не закрылись.

Кратковременным эпизодом было мое преподавание в Александровском лицее. В этом привилегированном заведении учились дети сановников и титулованных лиц. В нем было семь классов, соответствующих средней школе, и три или четыре курса, соответствующих юридическому факультету университета. Э. Л. Радлов преподавал философские предметы на Курсах Лицея. Он устроил мое приглашение для преподавания элементарного курса логики в 7-м классе Лицея. Элементарный курс логики я преподавал также в восьмом классе гимназии Стоюниной. У меня был уже большой опыт в этом деле. Я выработал систему практических занятий по логике, которые, обыкновенно, интересовали учащихся, например, анализ формальных ошибок в силлогизмах и в индуктивных умозаключениях, ошибки в доказательствах и т. п.

В Лицее я ничем не мог привлечь внимание учащихся к своему предмету. Только один-два из них, например Кавелин, добросовестно относились к делу. Меня возмущали дерзкие шалости лицеистов и надменное отношение их ко всему, что находится вне круга их общества. Так, занимаясь с ними вопросом об отношении понятий друг к другу, я привел в качестве примера рода и вида пару понятий — студент и лицеист первого курса, определив предварительно понятие студент, как учащийся в высшем учебном заведении. Слушатели мои запротестовали, выражая в своих замечаниях пренебрежение к студенчеству и нежелание иметь что-либо общее со студентами.

Мое терпение окончательно лопнуло, когда после Масленицы я увидел в классе испитые физиономии своих учеников, причем один из них, казалось мне, был пьян. Я пошел к инспектору лицея и заявил ему, что считаю свои занятия в Лицее бесполезными и хочу уйти из Лицея. Меня уговорили не делать скандала и довести занятия до конца года.

Накануне экзамена по логике мои ученики попросили меня приехать в Лицей и вкратце сделать обзор курса логики. Я исполнил их желание. В течение трех часов я изложил им основы логики и произвел с ними анализ логических задач. Они были очень внимательны к каждому моему слову. На

следующий день они великолепно сдали экзамен. Когда я прощался с ними, один из учеников произнес от имени класса благодарственную речь. Лицеисты, готовясь к будущей своей государственной деятельности, любили упражняться в произнесении речей. Среди них, по-видимому, было много способных людей, но предрассудки их среды и привилегированный характер учебного заведения портили их.

Деятельность переводчика я закончил тем, что в 1905 г. принялся за перевод «Критики чистого разума» Канта. Труд этот я предпринял не ради уже заработка и не по заказу какого-либо издательства, а по собственной инициативе. Я считал, что существенным условием для преодоления критицизма должно быть знание и точное понимание текста «Критики чистого разума», книги, написанной тяжелым языком и потому мало доступной широким кругам общества.

На русском языке было уже два перевода «Критики чистого разума». Первый был сделан проф. Владиславлевым и появился в 60-х годах. Он был достаточно точен, но язык его был не менее тяжелый, чем оригинал. Второй перевод был сделан в 90-х годах цензором Соколовым, лицом мало осведомленным в философии и не особенно хорошо знавшим немецкий язык. Он изобиловал ошибками, иногда доходившими до того, что отрицательное предложение Канта было передано по-русски утвердительным предложением и наоборот. Небрежность Соколова доходила до того, что в переводе «Критики практического разума» в таблице этических направлений этика Крузия была названа этикою Христа.

Приступая к работе, я достал много переводов «Критики чистого разума». Прежде всего я выписал английский перевод М. Мюллера, лингвиста, знавшего немецкий и английский языки, как родные. Далее, я достал из библиотеки старый французский перевод Tissot и новый переводс Pacaud и Tremesaygues. Вороужившись таким образом, я принялся за дело, стараясь, где можно, разбивать длинные предложения Канта на две, на три части, чтобы делать выражение его мысли более легко обозримым. В 1907 г. книга была напечатана мною, как мое издание, в типографии М. М. Стасюлевича.

М. Н. Стоюнина в это время печатала там сочинения своего мужа В. Я. Стоюнина следующим образом. У Стасюлеви-

ча, редактора и издателя журнала «Вестник Европы», было издательство, склад изданий и типография. Заведовал этими предприятиями М. К. Лемке очень умело и энергично. М. Н. Стоюнина, печатая труды своего мужа в типографии Стасюлевича, получала кредит на год и отдавала свои издания в склад Стасюлевича. Спрос на книги Стоюнина в это время очень возрос и по окончании года расходы по печатанию книги всегда оказывались покрытыми и даже получался доход. К такому же методу издания своих работ прибегнул и я с таким же успехом. Только революция, разрушившая все культурные предприятия, уничтожила возможность такой частной инициативы.

Перед революциею 1905 г. общественная жизнь во всей России была бурная, беспокойная. Политическая борьба путем забастовок была, по примеру рабочих, усвоена студентами и нарушила нормальный ход занятий в высших учебных заведениях. К социализму я перестал питать повышенный интерес, потому что понял, осбенно под влиянием книги «Государство» французского ученого Michel, что задача подчинения экономики общественному служению есть проблема социальной техники, разрешимая, как и все технические вопросы, самыми разнообразными способами, даже и без отмены частной собственности на средства производства. Но задача достижения политической свободы и гражданских свобод, задача ограничения монархической власти по-прежнему увлекала меня. В то время устраивались по разным поводам политические банкеты ученых и писателей, обыкновенно под председательством Короленко. Я был постоянным участником их.

В 1902 г. произошла демонстрация на площади перед Казанским собором. В ней участвовала и сестра моя Вера. Участники демонстрации были жестоко избиты казацкими нагайками и многие из них арестованы. Сестра моя избежала ударов нагайки благодаря тому, что вовремя наклонилась. *Она была арестована и выслана на несколько месяцев из Петрограда. Выслан был также и П. Ф. Лесгафт.*

В следующем году после одного из таких избиений демонстрантов состоялось большое собрание ученых и литераторов, на котором была выработана докладная записка с протестом против грубых действий администрации. В это собра-

ние явился, между прочим, с большим синяком под глазом, Н. Ф. Анненский, подвергнувшийся избиению на демонстрации. Во время обсуждения записки некоторые участники собрания находили, что подписывать ее не следует; это очень огорчило Н. К. Михайловского: «Я старик уже и много испытал на своем веку», сказал он, «но был бы очень утешен, если бы эта записка была подписана нами». Решено было поставить на ней подписи, которых набралось, кажется, более девяноста.

Спустя несколько недель мною было получено приглашение явиться к ректору университета для выслушания выговора от министра Народного Просвещения за подпись на записке. Процедура выговора оказалась очень простою и не тягостною ни для ректора, ни для меня. Когда я пришел в приемную ректора, он, не говоря от себя ничего, дал мне прочитать бумагу, полученную им из Министерства.

В эти годы перед революциею возникло множество профессиональных союзов. Профессиональные интересы, отстаиваемые этими союзами, неизменно сочетались также и с политическими требованиями и прежде всего с требованиями ограничения самодержавия. Перед революциею все эти союзы объединили свои силы путем образования Союза союзов и стали представлять собою грозную силу, проявившуюся особенно осенью 1905 г., когда возникла всеобщая забастовка, в которой приняли участие не только рабочие, но и многие группы лиц интеллигентных профессий. Во всех университетах и других высших учебных заведениях сорганизовались так называмеые младшие преподаватели, то есть преподаватели, не имеющие звания профессора.

В Петербурге был организован «Союз приват-доцентов, лаборантов и ассистентов», число членов которого было очень велико, так как в Петербурге было много высших учебных заведений. Председателем этого союза был избран я. В мирное время я, обыкновенно, отказывался от всевозможных таких общественных должностей, стремясь обставить свою жизнь так, чтобы можно было все силы свои сосредоточить на философской работе.

Но в эту бурную пору я не счел себя в праве уклониться от общественной обязанности и года полтора принужден был переносить тягости ее. На собраниях этого союза молодые,

несдержанные члены его, особенно ассистенты и лаборанты произносили иногда речи, оскорбительные для профессоров, обвиняя их в несправедливостях и притеснениях. Отсюда возникали трения и неприятности. Однажды по поводу одной из таких речей ко мне приехали, по поручению двух факультетов, проф. Ф. Ф. Зелинский и проф. И. И. Боргман и мне пришлось улаживать дело путем комментариев, смягчающих нападки моих коллег на профессоров.

Незадолго до революции состоялся даже съезд преподавателей всех союзов младших преподавателей высших учебных заведений России. Собралось несколько сот лиц. Открывая заседание Съезда, я произнес небольшую речь, в которой, между прочим, сказал, что скоро наступит время, когда мы перестанем быть подданными и сделаемся гражданами.

Кроме Союза младших преподавателей был еще Академический союз, в состав которого входили и профессора, и приват-доценты, объединенные желанием добиться некоторых реформ высших учебных заведений. В этом многолюдном союзе для большей успешности работы было устроено несколько секций. Я записался в секцию выработки нормального устава университетов и других высших учебных заведений. Вопрос о строе высших учебных заведений меня всегда живо интересовал. Я несколько раз писал о нем, например в газете «Наша жизнь» под заглавием «Единство науки и университет» (1905, № 298) и в газете «Речь» по вопросу о «Философии в университете» (12 июня 1915 г., № 159).

Председателем секции для выработки устава был избран Н. И. Кареев, а секретарем я. Здесь я работал старательно и с интересом, ведя все протоколы, размножая записки, представляемые членами секции и т. п. Кажется перед революциею состоялся съезд Академического союза в Москве и я был в числе делегатов его.

Осенью 1904 г. в Петербург приехали из Москвы С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев с целью основать журнал «Вопросы жизни». В то время получить разрешение на издание журнала можно было лишь под условием, чтобы редактором журнала было лицо, не скомпрометированное в глазах правительства политически. Булгаков и Бердяев не могли, конечно, получить разрешение на свое имя и решили обратиться ко мне с предложением взять на себя номинально звание ре-

дектора. Знакомство с этими двумя общественными деятелями, которые с течением времени стали все более отдавать свои силы философским и, наконец, религиозно-философским проблемам, было очень приятно. Познакомившись с программою журнала, я согласился числиться редактором его, фактически не беря на себя никакой работы и, конечно, не претендуя на вознаграждение.

Финансовая сторона дела находилась в руках Д. Е. Жуковского; хлопоты в Главном управлении по делам печати также были возложены на него. Самое печальное было то, что для получения разрешения необходимо было дать взятку видному чиновнику, через руки которого проходили дела о периодических изданиях. Имя его было, насколько помню, Адикаевский. Конечно, он не сам брал взятки, а посылал для этой цели подставных лиц. Они приходили всегда вдвоем; оба они были, кажется, инженеры, один с польскою, другой с немецкою (еврейской) фамилиею. Жуковский, я и эти два грязные господина встретились в моем кабинете раза два и, наконец, сошлись на сумме в несколько сот рублей, после чего разрешение на журнал было дано.

В том же 1904 г. мне в первый и последний, надеюсь, раз пришлось столкнуться с цензурою. В то время К. П. Победоносцев напечатал книгу «Московский Сборник», составленную из его статей против представительного образа правления. Я написал статью «О народном представительстве», которая заключала в себе, главным образом, критику аргументов Победоносцева. «Вопросы жизни» еще не начали своего существования и потому я отдал ее в журнал «Новый путь». Когда статья была набрана, оказалось, что цензор, фамилия его, кажется, была Врублевский, требует устранения из нее нескольких фраз и особенно изменения заглавия. Мне пришлось пойти к нему для объяснений. Изменения текста были сравнительно незначительны, но вопрос об изменении заглавия меня поставил в затруднение. Между прочим, я предложил озаглавить статью словами «О народовластии», и цензор охотно согласился на это.

Таким образом, статья моя под давлением цензуры получила заглавие, идущее гораздо дальше моих намерений; тогда, как и теперь, я был сторонником демократического представительного образа правления, относясь равнодушно

к тому, будет ли это республика или конституционная монархия. Курьезное изменение заглавия мне объяснили тем, что в то время Главное Управление по делам печати издало секретный циркуляр, рекомендующий не допускать статей о народном представительстве. Однако напор общественного мнения, требовавшего ограничения самодержавия, был так велик, что сопротивление становилось невозможным, и цензор исполнил свою обязанность чисто формально, устранив только запрещенное, сравнительно невинное слово и заменив его словом гораздо более опасным для существовавшего в России самодержавия.

Настал 1905 год, год революции, завершившийся ограничением самодержавия. Начался этот год грандиозным движением петербургских рабочих под руководством священника Гапона, демагога и авантюриста, мечтавшего, быть может, об основании рабоче-крестьянской демократической монархии. На воскресенье 9-го января назначено было выступление стотысячной массы безоружных рабочих с хоругвями, иконами и крестом на площадь Зимнего Дворца с целью подать Государю прошение о нуждах рабочих. Правительство не поверило, что эта демонстрация будет иметь мирный характер; оно решило подавить ее суровыми мерами, не останавливаясь перед применением огнестрельного оружия.

Прогрессивные круги не революционной интеллигенции предвидели страшное кровопролитие и хотели предотвратить его. Наскоро было созвано собрание писателей, профессоров, общественных деятелей, — всех, кого удалось оповестить. Состоялось оно в 9 час. вечера в маленьком помещении издательства «Знание» на Невском проспекте. Участвовало в нем человек восемьдесят. Было оно беспорядочное, проникнутое сознанием своего бессилия. Часам к одиннадцати ночи оно завершилось решением избрать небольшую депутацию и тут же ночью направить ее к нескольким сановникам, которые могли бы предотвратить кровопролитие. Они поехали и им удалось увидеть лиц, к которым они были посланы; однако все распоряжения уже были отданы, и власти относились с недоверием к утверждению, что демонстрация будет носить мирный характер.

Мало того, у них явилось нелепое подозрение, будто собрание, избравшее депутацию, было революционным коми-

тетом, который, предвидя свержение власти, избрал временное правительство, и именно члены депутации были намечены для этой цели. Насколько эта ложная, ни с чем не сообразная мысль была укоренена, видно из «Воспоминаний» гр. В. Коковцева, который прямо так и говорит, что депутация состояла из лиц, назначенных быть членами временного правительства.

Отсюда ясно, что сановники, стоявшие во главе нашего правительства, были курьезно неосведомлены о составе и группировках нашего освободительного движения: самых мирных прогрессистов они ставили на одну доску с крайними революционерами. Депутация состояла именно из лиц, неспособных к революционному захвату власти, и многие из них, например проф. Кареев, вообще были непригодны к тому, чтобы стоять во главе правительства. Тем не менее члены депутации были через несколько дней арестованы, но вскоре их выпустили на свободу.

Настало 9-ое января. К полудню до нас стали доходить слухи, что демонстрация была разогнана не только нагайками казаков, но и силою огнестрельного оружия. Мы с женою вышли на Кабинетскую улицу, где находилась в то время гимназия. До нас доносились звуки выстрелов. Мысль, что в нескольких сотнях саженей от нас гибнут безоружные люди, вышедшие с крестом и иконами к царю, чтобы искать у него помощи в нужде, глубоко угнетала нас.

Весьма вероятно, что среди агитаторов, поднявших громадные толпы народа, были люди, надеявшиеся превратить мирную демонстрацию в попытку насильственного захвата Зимнего Дворца. Однако толпа, в которой было много стариков, женщин и детей, не представляла серьезной опасности для правительства, имевшего наготове надежные войска. И если в составе правительства были лица, решившие произвести кровопролитие с целью запугать народ и таким образом подавить революционное брожение в самом начале, то это было великое преступление. Расплатою за него через двенадцать лет была революция «без креста» и против креста, изображенная в стихотворении Блока «Двенадцать».

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни . . .
В зубах цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
«Свобода, свобода.
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в святую Русь — . . .
И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль . . .

Вечером, узнав, что в помещении Вольно-экономического общества происходит собрание членов различных союзов, я и Мария Николаевна отправились туда (жена моя ожидала появления второго нашего ребенка и потому не могла поехать). Большой зал и хоры были полны народу. Здесь были лица всевозможных левых течений, вплоть до крайних революционеров. Социал-демократ Н. Д. Соколов произносил горячую речь, призывая молодежь идти сейчас к одной из тюрем, чтобы выпустить из нее арестованных в эти дни лиц. Это предложение явным образом было рассчитано лишь на то, чтобы вызвать кровопролитное столкновение с войсками, стоявшими в городе всюду наготове, и таким образом углублять народное раздражение, усиливать беспорядок и революционное брожение.

Волнение и возбуждение собрания достигло крайних пределов, когда на хорах появился Горький в сопровождении сбрившего бороду Гапона и сказал несколько слов, содержания которых я не помню. Никаких серьезных решений наше беспорядочное и разношерстное собрание, конечно, принять не могло.

28 марта у нас родился сын Борис. Имея маленького ребенка на руках, мы принуждены были провести каникулы вблизи Петербурга и наняли дачу в Финляндии на берегу Сайменского канала в Раухаранта.

В это лето состоялся съезд Союза учителей низшей и средней школы. Он был устроен в Финляндии, потому что в этой

провинции России общественная жизнь пользовалась сравнительно высокою степенью свободы. На нашей даче была большая широкая терраса с лестницею в сад из пятнадцати или более ступеней, где свободно могло расположиться двести человек. В хорошую погоду на этой террасе и лестнице можно было удобно устроить собрание и мы предложили распорядителям съезда воспользоваться ею. Никто из нашей семьи не был делегатом съезда; поэтому мы наблюдали его лишь издали. Двухлетний сын мой Владимир, выглянув в окошко и увидев на лестнице много народу, воскликнул: «Люди добрые, чего собрались?.. Кутутуция!» (конституция). Сатирический журнал „Pluvium“ правого толка писал потом, что в семье приват-доцента Лосского «конституция» — первое слово, произносимое младенцами.

Из видных впоследствии деятелей революции на съезде были, помнится, социал-демократы М. Н. Покровский и приват-доцент Рожков. Социал-демократы настаивали на этом съезде на том, чтобы профессиональные союзы были аполитичны. Скрытый мотив этой борьбы против политики заключался в том, что они были в то время в меньшинстве в профессиональных союзах.

В августе правительство опубликовало проект конституции, выработанный Булыгиным. В нем были изложены основные положения об учреждении представительного собрания, имеющего только совещательный характер. Этот проект вызвал всеобщее и единодушное разочарование. Глубокое недовольство охватило все слои общества и революционное движение стало ускоренно развиваться. Начались стачки рабочих. Когда к ним присоединились железнодорожники, забастовка стала приобретать всеобщий характер; с часу на час приходили известия о присоединении к забастовке все новых и новых групп. Банковские служащие, студенты, учителя — кто только не принял участие в забастовке. Что-то грозное чуялось в воздухе.

Вечером 17 октября я отправился в биологическую лабораторию П. Ф. Лесгафта на собрание, кажется, Академического съезда. Во время дебатов о положении высших учебных заведений, уже часу в десятом, кто-то привез известие о правительственном манифесте, возвещающем учреждение Государственной Думы, как законодательного учреждения.

Трудно описать волнение и радость, охватившие нас. Многолетние усилия либеральных кругов русского общества, добивавшихся политической свободы, как условия для мирного развития духовной и материальной культуры и форм общественности, были в основе удовлетворены. Являлась надежда, что и крайние революционеры вступят на путь легальной борьбы за осуществление своих идеалов.

Отправляясь домой, я нанял извозчика вместе с Тарле, так как мы жили недалеко друг от друга. Оживленно обсуждали мы открывающиеся перед Россиею перспективы дальнейшего развития. Дома я нашел жену мою и Марию Николаевну, получивших уже известие о манифенте, охваченными тем же радостным волнением, какое переживал и я.

На следующий день утром к нам пришел Д. Д. Гарднер, живший в Технологическом институте. Он рассказал, что улицы запружены народом и во многих местах устраиваются импровизированные сходки. На площади против Технологического института собралась большая толпа; на какое-то возвышение стал Тарле и начал разъяснять значение манифеста; отряд войска стал разгонять толпу и офицер, командовавший им, ударил Тарле шашкою по голове. Слушая этот рассказ, я пришел в состояние крайнего возбуждения, которое закончилось сердечным припадком, чрезвычайно ускоренным сердцебиением и тягостным чувством близости смерти. С тех пор такие припадки стали повторяться у меня раз или два в месяц. Чаще всего они начинались ночью часа в три. Этот психоневроз мучил меня в течение двенадцати лет до наступления революции 1917 года. Сильное впечатление, произведенное на меня началом этой революции, и чувство ужаса перед нею, так как я понимал ее опасность для государства и общества, как будто излечил меня от моего психоневроза. Только лет через шесть, когда я был уже вне России, припадки эти возобновились. Как я излечился от них, расскажу в дальнейшем.

Началась пора, с одной стороны, нелепых вспышек революции вроде московского вооруженного восстания и, с другой стороны, жестокого подавления революции правительством. Начали возникать и организоваться политические партии. В Петербург приехал П. Н. Милюков и в квартире А. И. Каминки было устроено собрание, на которое было

приглашено 20—30 лиц, в том числе и я. Милюков изложил программу конституционно-демократической партии. Когда она образовалась, я вступил в нее и был членом ее все время, пока все политические партии не были раздавлены большевицкою революциею.

В партии к.-д. я принадлежал к левому крылу ее, которое сочувствовало глубокому изменению социально-экономических отношений, но не примыкало к социалистам, полагая, что постепенные социально-экономические реформы вернее приведут к социальной справедливости, чем интегральный социализм. После одной из речей Изгоева, говорившего о фанатической непримиримости социал-демократов и невозможности соглашений с ними, я стал внимательнее наблюдать психологию этой партии и испытывать отвращение к сектанской ограниченности ее мировоззрения и ее нетерпимости.

Большое впечатление произвел на меня следующий факт. В 1907 г. происходили выборы во вторую Государственную Думу. Выборы были двухстепенные. Петербург выбирал около 120 выборщиков, которые в свою очередь должны были выбрать, кажется, шесть депутатов. Выбрано было более 0,9 выборщиков из числа партий к.-д. и только 0,1 из партии социал-демократов. В числе выборщиков находился и я. Партия к.-д., считая справедливым, чтобы в Думе был представитель, выражающий мнение большинства рабочих, постановила выбрать депутатами пять к.-д. и одного социал-демократа, стоявшего первым в списке с.-д., именно Алексинского.

Дисциплина у нас была образцовая; все мы, как один, голосовали согласно указанию партии, и Алексинский был выбран. Собрание выборщиков происходило в одной из зал Городской Думы. Тотчас после выборов явился фотограф снять группу новых депутатов. Поставили шесть стульев; депутаты к.-д. сели и пригласили шестого депутата, Алексинского, выбранного нашими голосами. Но он решительно отказался сняться с представителями «буржуазии».

За несколько лет до этого времени тяжелое впечатление произвело на меня поведение наших революционно настроенных интеллигентов в следующем случае. На Шлиссельбургском тракте был Народный университет, в котором многие рабочие получали недурное образование. В течение од-

ной зимы я прочитал там целый курс психологии, причем слушателями моими были рабочие, знающие уже основы физики, химии, анатомии, физиологии. В этом университете работали многие лица, знакомые мне, между прочим, и старый мой товарищ Владимир Андреевич Мокиевский, которого я любил и поддерживал с ним сношения.

Мокиевский был убежденным сторонником освободительного движения и увлекался задачею поднятия духовной культуры народа. Но от наших революционеров он резко отличался тем, что был русским патриотом и высоко ценил государственную мощь России. Между прочим, особенною любовью его пользовался русский флот; он знал имена наших броненосцев и других военных судов, их водоизмещение и с любовью следил за развитием флота. Этого было достаточно, чтобы революционно настроенные товарищи его стали подозревать, не шпион ли он охранного отделения. В их узких умах не могла совместиться любовь к русскому народу и его свободе с любовью к русскому государству.

Владимир Андреевич был директором технической химической школы. Он успешно работал в области науки и приближался к открытию способов производства синтетического каучука. Но жизнь, по-видимому, глубоко не удовлетворяла его. Он был одинок. В одно печальное утро его нашли в постели мертвым; он отравился цианистым кали. Приятели его решили устроить в Народном университете собрание, посвященное его памяти. Гарднеры, муж и жена, обратились ко мне, как его старому университетскому товарищу, чтобы я сказал о нем слово с целью рассеять нелепые подозрения о нем. Тут я впервые услышал о том, что политические фанатики сумели даже и этого человека с кристально чистою душою заподозрить в способности к низменным поступкам. Я поехал в Народный университет и произнес речь, в которой было немало сарказмов, направленных против узости мировоззрения и шаблонных критериев оценки людей. Уже с этих пор во мне начало постепенно складываться убеждение, что культурный человек, дорожащий высшими духовными ценностями, может, пожалуй, быть социалистом, но не может быть членом социалистических партий, проникнутых сектантским духом нетерпимости.

В это время, кажется, зимою 1906 г., со мною случилось

неприятное происшествие. Я был избран в число членов ревизионной комиссии Высших Женских курсов. Получив повестку на собрание комиссии, которое должно было состояться в 8 час. вечера, я вышел из дому вместе с Д. Е. Жуковским, который зашел ко мне. У подъезда стояли извозчичьи сани. Мы сели и поехали с Кабинетской улицы по направлению к Литейному. На Большой Московской извозчик стал почему-то сильно замедлять ход, а другой извозчик, ехавший сзади, налетел в это время на нас и оглоблею сильно ударил меня в левую сторону затылка, так что я выпал из саней. Пока я поднимался, наехавший извозчик успел скрыться. Мы вернулись домой, стали прикладывать лед к затылку. К счастью, пролома черепа не оказалось. Но в течение целой зимы я чувствовал себя несколько ослабленным.

Лет шесть тому назад у меня явилось следующее подозрение по поводу этого случая. Я читал книгу В. А. Поссе «Мой жизненный путь». В ней он рассказывает, как он ездил по Сибири и во многих городах читал публичные лекции на политические темы. В Томске на пролетку, в которой он ехал, наскочил другой экипаж и он чудом спасся от гибели. Вспоминая аналогичный случай, происшедший со мною в те же годы, и думая, далее, о политических убийствах, совершенных черносотенцами в ту же пору, об убийстве Герценштейна, Иоллоса, я пришел к мысли, что также происшествие с Поссе и со мною могло быть подстроено террористами из крайних правых кругов. Крайние правые фанатики не уступают левым в бессовестности методов борьбы с противниками.

Опыт революции 1905 г. многому научил русскую интеллигенцию. Освобождение от узости сознания, сосредоточенного только на политической борьбе с самодержавием и на социально-экономических проблемах, начавшееся уже до революции, пошло ускоренным ходом. Появился интерес к религиозным проблемам и к православию; ценность национальной идеи и государства стала привлекать к себе внимание; проблемы эстетики, художественного творчества, истории искусства стали увлекать широкие круги общества. Журнал «Русская Мысль», редактором которого стал П. Б. Струве, был выражением этого расширения и подъема интересов

ко всему богатству духовной культуры. Этот поворот в жизни русской интеллигенции нашел себе философское выражение в сборнике «Вехи», появившемся в 1909 г. В нем были статьи Бердяева, Булгакова, Гершензона, Изгоева, Б. А. Кистяковского, Струве, Франка. Когда сборник был задуман, я получил от С. Н. Булгакова письмо с предложением написать для него статью. В то время однако я весь был поглощен занятиями гносеологиею и логикою; отвлекаться в сторону для статьи о проблемах общественной жизни мне было трудно и я выразил сожаление о том, что не могу принять участия в сборнике. Булгаков написал мне, что я, по-видимому, предпочитаю „splendid isolation“. До некоторой степени он был прав. Мое направление в гносеологии вело меня на новый путь, отличный как от идеализма, так и от реализма. И в сношениях с обществом я избегал чрезмерного расширения моих знакомств. В Религиозно-философском обществе я стал принимать некоторое слабое участие только уже после революции 1905 г. и даже некоторое время состоял членом правления его. Там приблизительно в 1910 г. мною был прочитан доклад «Идея бессмертия души как проблема теории знания».*

Нескольким молодым философам, которые присутствовали на докладе, он пришелся очень не по душе. В то время в Петербурге и в Москве появилась группа молодых людей, получивших философское образование преимущественно в Германии. Большинство из них были сторонниками трансцендентального идеализма; одни из них были последователями Рикерта, другие — Когена. Они основали в 1911 г. русское отделение международного журнала «Логос». Редакторами были С. И. Гессен, Ф. А. Степун и Б. В. Яковенко.

Спор, который произошел по поводу моего доклада, был образцом того, как трудно новому направлению пробить толщу привычных представлений и быть хотя бы точно понятым. Основные учения моего интуитивизма были мною применены к вопросу о познании бессмертия души. Отличая вечность, как сверхвременность существа, от вечности как бесконечного процесса во времени, я поставил вопрос, может ли

---

* См. сборник моих статей «Основные вопросы гносеологии».

сверхвременное существо быть дано в опыте, как сверхвременное, и ответил на этот вопрос утвердительно. В самом деле, согласно интуитивизму, в восприятии и суждении, основанном на восприятии, следует отчетливо различать с одной стороны, интенциональные акты опознания, направленные на предмет (различение, прослеживание связей основания и следствия и т. п.), а, с другой стороны, сам предмет, осознаваемый и опознаваемый в этих актах. Эмпиризм Юма, исходящий из не доказанной им предпосылки причинного воздействия предмета на душевную жизнь субъекта, необходимо приходит к убеждению, что все данное в опыте и познаваемое в опыте состоит из временных процессов и притом процессов, совершающихся в настоящее время, в момент восприятия. Отсюда Юм с бесстрашною последовательностью пришел к солипсизму и скептицизму: само строение познавательного процесса и состав сознания, по его учению, таковы, что в опыте не могут быть даны, а, следовательно, и не могут быть познаны сверхвременные субстанции, невременные отвлеченные идеи в платоновском смысле, материя, прошлое существование вещи, будущее существование ее и даже существование внешнего мира вообще.

Многие философские школы исходят, нередко безотчетно, из той же предпосылки причинного воздействия предмета или, что еще хуже, предпосылку эту отвергают, но сохраняют важное следствие ее, именно убеждение в том, что идеальное бытие, сверхвременные и живые творения деятельности его, не могут быть предметом непосредственного созерцания. Поэтому, чтобы спастись от скептицизма, они должны строить более или менее искусственные теории, объясняющие, как возможны всеобщие и необходимые синтетические суждения, как возможно знание, выводящее за пределы индивидуально-психической жизни субъекта и т. п. Таких затруднений нет для моего интуитивизма, потому что, отбросив каузальную теорию восприятия и утверждая *непричинную* надвременную и надпространственную *координацию* субъекта со всеми предметами всего мира, я мог далеко уйти от всякого гносеологического идеализма и настаивать на данности в опыте самых разнообразных аспектов живой действительности.

Я резко разграничивал в составе познающего сознания

субъективную и объективную сторону, именно интенциональные акты субъекта, с одной стороны, и вступивший в сознание предмет, с другой стороны; я указывал на то, что только интенциональные познавательные акты субъекта суть индивидуально-психические переживания его, совершающиеся в настоящем времени, а предмет, данный в сознании, может принадлежать к любой области бытия: он может быть моим психическим состоянием, но может быть и чужим психическим проявлением или даже материальным процессом внешнего мира, он может быть временным процессом из области не только настоящего, но также прошлого или будущего, наконец, он может быть вовсе не временною отвлеченною идеею в платоновском смысле, или даже сверхвременным существом, каковым и оказывается человеческое я при точном наблюдении его.

После доклада был объявлен, как обыкновенно, краткий перерыв. Лица, близкие к «Логосу», успели обменяться между собою мнениями и после перерыва первым стал возражать мне С. Л. Франк, начав такими словами: «Мы были поражены содержанием доклада». Как и С. И. Гессен, выступивший вслед за ним, он говорил о вечности истины, но не предмета истины. Противники мои не усматривали, что новый путь, открытый мною, дает право вернуться к метафизике докантовской философии, вовсе не впадая в некритический натурализм. Кажущаяся простота решения вопроса и защита основной правды наивного реализма казалась им недостатком философской культуры.

Правда, очень скоро после этого спора С. Франк сам примкнул к интуитивизму и начал разрабатывать своеобразную форму его в своей книге «Предмет знания». В письме ко мне перед опубликованием этого труда он говорил, что мое «Обоснование интуитивизма» содержит в себе только факт интуиции, а его книга будет содержать в себе исследование онтологических условий возможности ее. Как раз в это время и я занимался тем же вопросом, подготовляя к печати книгу «Мир как органическое целое» (сначала она была напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1915 г.). Решение вопроса, данное Франком и мною, в основе глубоко различно. Однако многие отдельные исследования, произведенные в этом труде (например, о природе числа), я

высоко ценю. Книга была использована С. Франком, как диссертация на степень магистра. Официальными оппонентами на диспуте были Введенский и я. Моя речь на диспуте, содержащая в себе изложение пунктов моего согласия и разногласия с Франком, напечатана в сборнике моих статей «Основные вопросы гносеологии».

Семейная жизнь наша текла мирно. Она была тесно связана с гимназиею: все члены семьи работали в гимназии или учились в ней и жила наша семья вместе с Марией Николаевной при гимназии. В 1904 г. гимназия была перенесена с Владимирской площади на Кабинетскую улицу в дом № 20 Тами и Дейчмана[13]. Это помещение было нанято в то время, когда дом еще строился; поэтому оно было целесообразно приспособлено к требованиям учебного заведения.

Заботясь о гигиенических условиях, Мария Николаевна пригласила инженера Тимоховича, изобревшего своеобразную систему вентиляции, и под его руководством ввела ее в гимназии. В каждом классе в стене у потолка были проделаны на улицу отверстия, от которых по потолку тянулись желоба, покрытые белой материей. Кроме того в каждом классе был электрический вентилятор, выкачивающий воздух из помещения. На место удаленного воздуха поступал свежий, просачивавшийся из желобов на потолке тонкими струйками. В помещении с такою вентиляциею воздух был свежий, как на дворе, и в то же время сохранявший равномерную температуру.

Квартира Марии Николаевны и наша, соединенные друг с другом, помещалась в четвертом этаже. Против нас было здание, принадлежавшее Синоду; в нем, между прочим, была синодальная типография. Из окна моего кабинета и нашей спальни видна была нарисованная на стене синодального здания икона, изображающая благословение детей Спасителем. Улица наша была тихая, спокойная, удобная для кабинетных занятий. Раньше, во времена моего студенчества, по ней проходила в одном направлении конка, параллельная конке, шедшей в другом направлении по Загородному проспекту. Когда конка была заменена электрическим трамваем, обе колеи были проложены на Загородном проспекте и Кабинетская освободилась от рельсового пути. Меня удивляло воспоминание о том, что будучи студентом я нередко,

проезжая по Кабинетской на империале конки, с симпатиею приглядывался к этой улице и думал о том, как приятно было бы жить на ней.

У Марии Николаевны было много знакомых. Немало их было и у меня, хотя я и старался не расширять круга их. Чтобы упорядочнить общение с людьми, мы назначили определенное время приема гостей, именно вечера по воскресеньям. К нам обыкновенно собиралось до тридцати, а то и сорока гостей. Часа полтора уходило на игру в итальянскую лапту. Для этого мы спускались в рекреационный зал гимназии. Состоит эта игра в том, что общество разделяется на две партии; зал делится на две половины, и одна партия перебрасывает другой большой легкий каучуковый мяч; проигрывает та партия, у которой мяч определенное число раз упал на пол. Отбиваемый мяч ударялся о потолок, об углы стен, делал самые неожиданные прыжки; требовалась иногда большая ловкость и находчивость, чтобы не ловя мяч, отбить его в лагерь противников.

Особенную ловкость проявляли обе сестры Жуковские и моя жена. Веселье и оживление были заразительные. Большим любителем игры был Виктор Андреевич Фаусек, в то время директор Высших Женских курсов. Он приезжал со своим сыном Всеволодом, студентом университета. Фаусек привозил даже к нам на зиму свой легкий чесучовый пиджак, чтобы надевать его во время игры. Однажды, приехав со своим сыном, он смеясь рассказал о следующем диалоге, происшедшем за полчаса до того: Икс предлагает Игреку поехать к Лосским играть в мяч; Игрек отнекивается, говорит, что у него много работы; Иксу приходится долго убеждать Игрека отложить работу на завтрашний день и поехать; спрашивается, кто в этом диалоге отец и кто сын; решение загадки такое: — Х — отец, У — сын.

После игры, часов в десять вечера, мы поднимались наверх в столовую Марии Николаевны; это была большая комната; в будни она служила также для завтраков учителей гимназии. Беседы за чаем были очень разнообразны, потому что состав нашего общества был весьма сложный. В. А. Фаусек в это время интересовался вопросами философии природы; он склонялся к витализму и даже обращал серьезное внимание на статьи зоологов, отрицающих эволюцию видов.

Жена его Юлия Ивановна, бывшая талантливою рассказчицею, как и муж ее, сообщала свои наблюдения над детьми и над их способностью мифического восприятия природы и жизни. Вечер часто заканчивался музыкою и пением, Иосиф Антонович Лесман играл на скрипке, Надежда Осиповна Голубовская, Тамара Абрамовна Гершович и др. — на рояле.

Вечера наши не затягивались до слишком позднего часа. Я любил вставать рано, ценя труд в утренние часы и употреблял их всегда на работу, которую считал наиболее важною, именно на то, чтобы каждое утро написать хотя бы четверть страницы новой книги или статьи. Все остальные члены семьи тоже должны были вставать рано для работы в гимназии. Гости знали это и не засиживались позже двенадцати. Привычка эта так глубоко укоренилась во мне, что однажды, сидя в столовой прямо против стенных часов и увидев, что уже поздно, я среди оживленной беседы забыл, что нахожусь дома, вскочил со стула и, смотря на часы, сказал: «Однако, пора уже» ... С веселым смехом гости стали подниматься и прощаться с нами.

Летом мы всею семьею селились в самых разнообразных местах. Пожив месяц на даче спокойно, мы с женою отправлялись еще на месяц куда-нибудь за границу или на Кавказ и делали, обыкновенно, при этом экскурсии пешком где-либо в горах. Еще зимою мы разрабатывали план экскурсии, пользуясь указаниями Бедекера. Дети оставались на попечении Адели Ивановны и няни Лизы, которая поступила к нам в возрасте 20 лет, когда родился наш старший сын Владимир, и воспитала вместе с Адель Ивановною всех наших детей.

В 1904 г. мы жили на даче в Пиетиле на Сайменском канале. Отсюда мы с женою предприняли прекрасную поездку в Швецию и Норвегию. Переехав по железной дороге из Стокгольма в Дронтгейм, мы посетили отчасти на пароходах, отчасти переезжая через горы на лошадях, живописнейшие фиорды Норвегии — Moldefjord, причем были не только в Molde, но и в Aandelsnees, Roursdal, далее — Nordfjord, Sognefjord.

К скандинавским странам мы, как и все русское общество, питали большую симпатию. Мы любили скандинавскую литературу, особенно Ибсена; нам нравился мирный культур-

ный прогресс этих стран и благородный характер их жителей. Понятно, как мы были огорчены, когда во время экскурсии к подножию одного ледника, мы услышали от наших норвежских компаньонов, что они и шведы боятся России, так как уверены, что Россия хочет отнять у них северный берег Скандинавии с целью приобрести незамерзающие гавани. Тщетно мы указывали на миролюбие русского народа, на пацифистские настроения русской интеллигенции и даже самого правительства. В самом деле, именно по почину Николая II и русского правительства была в 1899 г. созвана в Гааге конференция для выработки соглашения о решении споров между государствами не путем оружия, а посредством международного суда; соглашение это не состоялось, потому что было сорвано Германиею, которая очевидно уже тогда поставила себе целью добиться мировой гегемонии путем оружия.

Кажется, в этом же году осенью мы с женою совершили поездку в Ярославскую губернию. Там находилось небольшое имение (60 десятин) Бяково, доставшееся Марии Николаевне по наследству от дядюшки ее генерала Никтополиона Васильевича Тихменева. Мария Николаевна никогда не видела этого имения. Она сдавала его в аренду местным крестьянам за смехотворно малую цену, за 60 рублей в год. Крестьяне надеялись со временем купить это имение и потому берегли в нем лес. На семейном совете было решено, что я с Людмилою Владимировною съездим в Бяково и посмотрим, в каком состоянии оно находится.

Приехав в Ярославль, мы с немалым трудом установили точно, где находится имение, и наняли на почтовой станции ямщика. Велико было наше удивление, когда оказалось, что на месте барского дома остался только фундамент. Так как владельцы не приезжали в течение нескольких десятков лет, то крестьяне понемногу растащили сначала окна, двери, а потом и все деревянные части дома. Выяснилось, что служить дачею для летнего отдыха Бяково не может и в том же году это имение было продано крестьянам по дешевой цене. Эта продажа хороший пример того, как в то время дворянские имения уходили из рук помещиков и земля переходила к крестьянам.

Весною 1906 г., стоя в очереди перед окошком универси-

тетского казначея, я спросил неходившегося рядом со мною приват-доцента по кафедре физики Добиаша, куда он поедет на лето. Он ответил, что едет вместе со своею женою Лидиею Николаевною (урожденной Кремлевою) и с сестрою Ольгой Антоновной в Чехию. Оказалось, что отец его Антон Вячеславич Добиаш, чешский ученый, специалист по латинскому языку и литературе, был профессором в Нежинском Историко-Филологическом Институте, выслужил пенсию и жил на родине в собственном домике в городке Брандейс над Орлицею. Дети его ехали к нему на каникулы. Узнав, что Брандейс находится в очень живописной местности и что в нем есть санатория, в которой можно нанять комнаты, я убедил нашу семью провести лето в Чехии.

Мы были настолько энергичны и подвижны, что отправились всею семьею, имея двух маленьких детей, Владимира трех лет и Бориса, которому был год и три месяца. С нами ехала, конечно, воспитательница наших детей Адель Ивановна и няня Лиза. Переезд оказался очень затрудненным вследствие того, что в Австрии, чтобы добраться до Брандейса, нужно было сделать на небольшом расстоянии три или более пересадки. Вероятно, железнодорожное расписание в Австро-Венгрии было нарочно составлено так, чтобы затруднить прямое сообщение России с Прагою.

Воспоминание о лете, проведенном в Брандейсе, принадлежит к особенно приятным в нашей жизни. Долина речки Дикая Орлица с городком Брандейсом очень живописна. По всем направлениям были прелестные прогулки, в которых участвовали и наши дети в колясочках. Вблизи от нашего дома стояло католическое распятие. Трехлетнего Володю оно поражало своим реализмом, ранами на теле Христа и кровью из них. Оно внушало ему такой ужас, что пройти мимо него он решался не иначе, как отвернувшись или закрыв лицо[14]. С молодыми Добиашами мы предприняли прогулку пешком по Крконошам (Riesengebirge) и поднялись на Снежку на границе Германии. Со всех сторон нас окружали мягкие красоты горных видов, напоминающих картины художника-романтика Швинда. В то же лето мы с женою совершили поездку в Татры, от озера Чорбы прошли несколько десятков километров пешком, затем поехали в Будапешт и провели недели две в Аббации, купаясь в море. По дороге

мы осмотрели замечательную Адлербергскую пещеру, где в грандиозном зале из стены вырывается подземная река и низвергается в пропасть.

Зимою в этом году у Марии Николаевны очень обострилось болезненное состояние печени. В молодости она страдала от желчнокаменной болезни в очень тяжелой форме и с тех пор печень ее никогда не приходила в нормальное состояние. Во время Рождественских каникул жена моя и я поехали с нею для лечения ее в Шварцвальд, где была превосходная санатория в St. Blasien. По дороге мы остановились в Берлине, чтобы посоветоваться с известным клиницистом доктормо Эвальдом. Осмотрев Марию Николаевну, Эвальд нашел несколько серьезных пороков в ее сердце и вообще признал здоровье ее очень слабым. Он рекомендовал ей работать не более двух-трех часов в день. Этот совет был подтвержден и врачами в Сант-Блазиене. Жизнь в санатории в Шварцвальде была чрезвычайно приятна. На довольно большой высоте холод был значительный и солнечных дней было много.

Пользуясь великолепным снежным покровом, все, кто мог, в санатории, предназначенной не столько для тяжело больных, сколько для выздоравливающих и отдыхающих, катались с гор в салазках, проезжая иногда расстояние в один километр и более. Вечером, при наступлении темноты, мы с женою, тепло одевшись, садились на балкон для чтения и работы при свете электрической лампочки. В то время я подготовлял семинарий по «Критике способности суждения» Канта. На свежем морозном воздухе даже и продолжительная умственная работа была не утомительна. Вернувшись в Петербург, Мария Николаевна не послушалась врачей, продолжала усиленн оработать и дожила до очень глубокой старости.

Лето 1907 г. мы провели в Семенове. Брат Владимир, который стал владельцем этого имения, построил в нем хорошенький домик, желая, чтобы все члены семьи жили в нем летом. В этом году он и сам приехал в отпуск из Ханьдаохедзы (Хантахеза, как упростили это название русские). Конечно, и мать моя проводила лето с нами.

В 1908 г. Екатерина Ивановна Виннер, мать Сергея Ивановича Метальникова, предоставила на лето нам свой дом в

Артеке в Крыму. Здесь в конце мая у нас родилась дочь Мария. Приезжал к нам на несколько дней Д. Е. Жуковский, я поехал с ним к Михаилу Ивановичу Ростовцеву, который проводил лето в Симеизе в имении своей жены. Было условлено, что мы будем сопровождать Ростовцева в Керчь, куда он ездил каждое лето осматривать новые археологические раскопки, произведенные за год.

В Керчи мы вместе с ним через узкий вход ползком спустились в только что найденную древнегреческую гробницу. Стены ее были расписаны изображениями богов. Михаил Иванович объяснял значение каждой детали росписи, указывал на сходство изображений богов с древнехристианскою иконописью, и каждое слово, произносимое им, производило на нас глубокое впечатление. С этою древностью он сжился так, как будто был современником ее. Сложность его восприятий невольно передавалась нам, поучая нас бесконечно больше, чем это можно сделать словесными пояснениями.

Из Керчи мы с Жуковским поехали в Туапсе, где у него был небольшой участок земли. Вблизи этого городка в лесу находится «дидова хата». Мы наняли извозчика и поехали посмотреть это замечательное жилище доисторического человека. Это огромный камень, полый внутри и прикрытый сверху громадною каменною плитою. Внутрь этой полости проникнуть можно только через круглое отверстие в боку камня, сквозь которое может проползти человек. Совершенно непонятно, какими силами могло быть создано такое сооружение.

Из Туапсе мы поехали в Адлер и оттуда по вновь сооруженному горному шоссе в поселок Романовск, расположенный в живописной горной долине среди лугов с роскошными травами и девственных лесов Кавказа, поражающего своей буйной растительностью. Вблизи поселка находился недавно построенный деревянный царский дворец. Семья государя еще ни разу не приезжала в него. Когда мы осматривали дворец, управляющий в нескольких местах показывал нам, как быстро начинают разрушаться некоторые части этой деревянной постройки под влиянием климатических перемен, быстро тающих снегов, морозов, дождей и горячего солнца.

Когда мы вернулись с Кавказа, Д. Е. Жуковский поселился в гостинице в Гурзуфе и часто бывал у нас. Однажды в

конце июля после завтрака он отправился в Суук-су, чтобы сесть там на местный пароходик и поехать куда-то. Я пошел провожать его. Дорогою Жуковский задал мне вопрос о том, что представляет собою эмпириокритицизм Авенариуса. Я стал оживленно излагать ему основное содержание «Критики чистого опыта». День был особенно жаркий; солнце пекло нас неумолимо. Вдруг я почувствовал себя дурно, но успел, к счастью, добраться до тени деревьев вблизи дороги и лечь на землю. До потери сознания дело не дошло, но сердечная слабость была очень велика. Только вечером мы могли с трудом добраться до Суук-су, хотя находились очень близко от него.

Поместив меня в гостинице, Жуковский по телефону сообщил в Артек о моей болезни и за мною прислали коляску. В течение недели сердечная слабость и боязнь солнца были у меня так велики, что я выходил в парк лишь после заката солнца и мог пройти не более ста саженей[15]. Оставив семью в Артеке, я поехал проводить лето на север в Великие Луки к сестре Марии, которая была замужем за присяжным поверенным Владимиром Владимировичем Шмидтом. Муж ее был сын помещика Великолуцкого уезда. Несмотря на свою немецкую фамилию, он был и по внешности и по характеру чисто русским человеком и даже не знал немецкого языка, Специальностью его в адвокатской практике были крестьянские дела. Он любил русскую литературу, хорошо декламировал и с успехом участвовал в любительских спектаклях. В Великих Луках я оправился от последствий солнечного удара.

Тяжелою заботою для всех нас в течение последних полутора лет была душевная болезнь младшего брата моего Ивана. Окончив курс университета и специализировавшись по ботанике, он был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Перед выборами в первую Государственную Думу, когда нужно было примкнуть к той или другой политической партии, у него обнаружилась склонность к социал-демократии, но видно было, что полного удовлетворения и определенности в его взглядах и настоениях нет. Он стал проявлять необыкновенное беспокойство и беспричинные опасения. Наконец, у него появились мучительные галлюцинации, например, однажды он заявил, что

во дворе дома, где он жил в семье нашей матери, разложен костер инквизиции и что он будет сожжен на его огне. Пришлось поместить его на Удельной в лечебницу для душевно больных имени св. Николая.

Доктора определили его болезнь, как меланхолию, и давали надежду на излечение. В те периоды, когда острота болезни ослабевала, его отпускали на некоторое время пожить дома. Осенью 1908 г., возвращаясь из такого отпуска в больницу в сопровождении сестры Веры, Ваня гулял с нею по платформе Финляндского вокзала и неожиданно бросился под колеса подходившего поезда. Грудная клетка была раздавлена, он умер на месте. Так произошло третье самоубийство в нашей семье. Трудно описать горе нашей бедной матери, да и всех членов семьи.

В мае 1909 г. мы с женою совершили поездку в Костромскую губернию с целью познакомиться с начальною школою имени В. Я. и М. Н. Стоюниных, находившеюся вблизи Пучежа. Школа это возникла следующим образом. В 1906 г. праздновался двадцатипятилетний юбилей гимназии М. Н. Стоюниной. Родители учениц собрали капитал, около шести тысяч рублей, и подарили его Марии Николаевне. Она решила употребить его на устройство земской народной школы. Костромскую губернию она избрала потому, что оттуда происходил род Стоюниных, а кроме того и потому, что там уже находилось несколько школ, устроенных народным учителем Вячеславом Яковлевичем Аврамовым.

Скажу несколько слов об этом замечательном человеке. Вячеслав Яковлевич был дворянин, имевший маленькое поместье в Костромской губернии. Получив высшее образование в Институте Путей Сообщения, он решил отдать всю свою жизнь делу народного образования и стал учителем в начальной школе в Петербурге вблизи Волкова кладбища. Уроки его по русскому языку, по арифметике были своего рода художественными произведениями. В его школу ежедневно приезжали учителя из других школ Петербурга или провинции, чтобы присутствовать на его уроках и учиться у него. Мария Николаевна привлекла его к своей гимназии.

При восьмом педагогическом классе была маленькая бесплатная начальная школа, где давалось первоначальное обучение детям несостоятельных родителей, дворников, пра-

чек, рабочих. Каждая ученица восьмого класса получала в этой школе воспитанника или воспитанницу, которых она преимущественно должна была вести, и обязана была не только обучать, но и познакомиться с семейною обстановкою.

Руководителями в этой школе были талантливые педагоги — Людмила Николаевна Ватсон и Евгения Августиновна Угринович. В эту школу Мария Николаевна и пригласила Аврамова приезжать раз в неделю на несколько часов, чтобы давать показательные уроки. Она давно была знакома с Аврамовым, а теперь он стал другом и всей нашей семьи. Он любил детей и, приходя в детскую, вступал с ними в дружеское общение. И мы взрослые привязались к этому умному, разносторонне образованному и доброму человеку. В молодости он женился фиктивным браком на дочери какого-то генерала, чтобы дать ей возможность поехать за границу для получения высшего образования. Вскоре она умерла и Вячеслав Яковлевич, который, по-видимому, любил ее, остался на всю жизнь одиноким.

В конце XIX в. было двадцатипятилетие его педагогической деятельности. Многочисленные почитатели его устроили в его честь торжественное собрание в зале гимназии Стоюниной; ими был собран и вручен Аврамову капитал, который он употребил на устройство земской школы в Костромской губернии. Учредив школу, Аврамов и потом постоянно поддерживал ее материально из своего жалованья. По своим общественным взглядам он принадлежал к прогрессивной русской интеллигенции, но в свою педагогическую деятельность он не вводил никакой политической пропаганды. Задачею его было народное просвещение, воспитывающее общечеловеческие начала добра. Это был настоящий неканонизованный святой нового, современного типа.

Аврамов ездил в Костромскую губернию, чтобы наблюдать за своею школою и содействовать усовершенствованию ее. По его советам и указаниям была устроена и школа имени Стоюниных, которую мы с женою поехали осматривать на третьем году ее существования. И здание школы, и преподавание двух молодых учительниц нам понравились. Дело народного образования вообще быстро подвигалось вперед благодаря усилиям Земства, Государственной Думы и всего русского общества. Оно развивалось органически и плано-

мерно не только со стороны количества, но и качества школ. Соответственно увеличению числа начальных школ увеличивалось также число средних школ, педагогических институтов и университетов, без чего нельзя обеспечить низшую школу кадром хорошо подготовленных учителей. Если бы не было революции, Россия имела бы в 1922 году сеть школ, достаточную для обучения всеобщего и притом поставленного на большую высоту, потому что школьные здания все улучшались, снабжение школ учебными пособиями все совершенствовалось и образование учителей все повышалось.

Большевицкая революция разрушила всю эту систему и чрезвычайно понизила уровень народного образования. Большевики хвалятся своими количественными успехами, но скрывают чрезвычайное понижение качества школы: во множестве школ учителями у них состоят лица, сами получившие только начальное образование, не умеющие грамотно писать и грамматически правильно выражать свою мысль.

Поездку в школу мы совершили от Рыбинска по Волге, проехав на пароходе до Нижнего Новгорода. Этот верхний плес Волги оставляет незабываемое впечатление, потому что здесь река оживлена множеством сел и городов; особенную теплоту придают русскому пейзажу многочисленные церкви и монастыри.

Через две недели после этой поездки мы отправились всею семьею на лето в Семеново. Тотчас же по приезде мы оба, жена моя и я, слегли; у нас начался брюшной тиф. Возможно, что мы схватили заразу где-нибудь на Волге. Болезнь эту мы перенесли благополучно благодаря заботам добрых людей докторов В. Ф. Ланге и А. М. Борткевича. Они прислали нам из Петербурга опытную фельдшерицу, ванну и другие предметы, необходимые для ухода за тифозными больными. Борткевич приехал к нам на несколько дней и дал точные наставления, как ухаживать за нами.

Вскоре после нашего выздоровления в Семенове состоялась свадьба моей сестры Веры с молодым инженером Владимиром Михайловичем Алтуховым. Скажу несколько слов о его семье. Отец его Михаил Иванович Алтухов был известным в России инженером специалистом по водопроводам. Во многих гордах России, например в Царском Селе, им были построены водопроводы. Некоторые из них, например в

Двинске, в Белостоке, даже принадлежали ему на правах частной собственности. С семьею этою я познакомился уже на первом курсе университета благодаря В. Ф. Ланге, который был гувернером Володи Алтухова, тогда мальчика лет девяти. У Алтуховых была прекрасно устроенная дача в Левашове с оранжереею и парком при ней. Весною и осенью я часто проводил у Алтуховых на даче по несколько дней. В семье этой я был дружен и с Василием Федоровичем Ланге и с дочерью Алтуховых Верою Михайловною, которая в это время окончила гимназию и поступила на Высшие Женские курсы.

Мать семьи София Григорьевна, урожденная Малеванная, была очень привлекательная добрая женщина, сочувственно входившая во все духовные интересы нас, молодых людей. Сын их Владимир был во многих отношениях человек не от мира сего. По окончании гимназии Гуревича, он был послан отцом в Цюрих, где получил высшее образование в политехникуме. Отец хотел выработать из него себе помощника, но он, обладая большими техническими способностями, питал в то же время отвращение к деловой жизни и предпочел стать учителем физики. Свое необычайное искусство экспериментирования и как бы магического подчинения себе материи он показывал, устраивая иногда публичные лекции, на которых демонстрировал множество эффектных и трудных опытов по всем отделам физики. Я не видел случая, когда бы опыт у него не удался. В свободное время он отдавался чтению книг по оккультизму и собрал целую библиотеку своеобразных книг из этой области.

Венчание происходило в церкви св. Онуфрия, которая несколько десятков лет тому назад была построена моим отцом в селе Песок в полутора верстах от Семенова. На свадьбу приехали и родители Владимира Михайловича. В это время Михаил Иванович, после тридцати лет семейной жизни, разошелся с Софией Григорьевной и женился на молодой красивой француженке Луизе Людвиговне. София Григорьевна была очень угнетена разрушением семьи, однако у нас в Семенове бывшие супруги встретились спокойно и все торжество протекло благополучно.

Незадолго до войны Владимир Михайлович выработал новый тип батарейки для карманных электрических фонарей;

он назвал ее «Светлячком» и устроил мастерскую для выработки их. Дело это быстро стало развиваться. К началу большевицкой революции в мастерской было занято пятнадцать работниц под руководством Владимира Михайловича и моей сестры, которые работали в этом деле усерднее всех своих служащих. Большевики в короткое время разорили эту зарождавшуюся фабрику налогами и придирками, так что пришлось закрыть ее. Вскоре после того Владимир Михайлович заболел какою-то странною болезнью крови и умер.

Следующие четыре лета 1910—1913 гг. наша семья проводила на даче в имении Машук Ивана Ильича Петрункевича в Тверской губернии Новоторжского уезда. До революции 1905 г. Иван Ильич жил здесь вместе с женою своею Анастасиею Сергеевною, урожденною Мальцевою, по первому браку графинею Паниною. Они очень заботились о поднятии благосостояния населения, о его просвещении и здоровье. Недалеко от усадьбы на опушке леса был выстроен дом для известного земского врача психиатра Литвинова. Когда кто-либо из окрестных крестьян заболевал или случалось какое-либо несчастие на работе, помощь тотчас же была оказываема или доктором или помещиками в усадьбе.

К сожалению, крестьяне, как и везде в России в то время, с недоверием относились к «господам». Верстах в трех от усадьбы находилась деревня Святцово, население которой отличалось особо хулиганским характером. Это были как будто остатки старой новгородской вольницы. В революционную пору 1905 г. кто-то поджег деревянный дом, где жил доктор Литвинов, и он сгорел дотла. Во время аграрных беспорядков какой-то крестьянин, проходя мимо усадьбы, выстрелил из револьвера в дверь, пуля отскочила и слегка ранила хулигана. Он был настолько бессовестен, что пришел в усадьбу просить помощи и перевязки.

Впечатление, произведенное этими переживаниями, было настолько тяжело, что И. И. Петрункевич уехал совсем из Машука. Имение это И. И. передал своему сыну Михаилу Ивановичу, где тот поселился с семьей. В Машуке был построен целый дачный поселок; на лето дачи эти нанимались большею частью приезжими из Петербурга и Москвы. Барский дом был очень велик; к старой постройке было присоединено новое великолепное здание, производящее впечатле-

ние дворца величиною комнат, высотою их и отделкою. После отъезда И. И. Петрункевича эта новая часть дома отдавалась внаем и мы занимали его все эти годы. Перед домом был парк и чудная лужайка, поражавшая весною своею буйною растительностью. Въезжая в усадьбу при приезде из Петербурга я всегда вспоминал описание лугов в парке в романе Золя „La faute de l'abbé Mouret".[16]

В первый год нашего пребывания в Машуке здесь случайно собралась очень интересная компания: Александр Александрович Корнилов с семьей (он писал в это время книгу «Молодые годы Бакунина» и пользовался бакунинским архивом, находящимся в имении Прямухино), семья академика Насонова, женатого на сестре Корнилова, семья Ф. Ф. Ольденбурга, известного педагога из Твери, семья горного инженера А. Г. Мягкова, женатого на сестре Б. Савинкова Вере Викторовне, бывшей одно время преподавательницей французского языка в гимназии Стоюниной, семьи С. Л. Франка, Старынкевичей, Шуяниновых[17]. Вся эта компания несколько раз собиралась слушать вновь написанные Корниловым главы о Бакунине. В них много говорилось об имении Бакуниных Прямухине, находившемся от Машука в нескольких десятках верст. Оно расположено на реке Осуге, притоке Тверцы, в которую Осуга впадает недалеко от Машука. На эту реку с живописными берегами мы ездили пикником.

Молодые люди, которых в перечисленных семьях набралось до сорока человек, весьма удачно инсценировали сказку Андерсена «Соловей»; костюмы и декорации в ней были очень живописны; очень эффектен был, например, наш семилетний Володя, изображавший турецкого мальчика в белой чалме. Руководил постановкою гимназист восьмого класса Лев Зак, сводный брат Франка, ставший теперь известным художником и тогда уже ярко проявлявший свое дарование. В это лето он, между прочим, очень талантливо написал портрет Марии Николаевны Стоюниной в духе умеренного пуэнтилизма. Впоследствии брались писать портрет ее художница Клокачева, гравер Матэ, художник Траншель (учитель рисования в гимназии), но все эти попытки оказались совершенно неудачными, только Заку удалось магически перенести на полотно кусочек жизни[18].

Машук находился на берегу реки Тверцы; верстах в пяти от него на берегу той же реки было маленькое именьице Константиново, принадлежащее брату Ивана Ильича Михаилу Ильичу Петрункевичу, земскому деятелю и врачу. Летом в этом прелестном уголке жили Михаил Ильич, человек необыкновенно привлекательный, с женою Любовью Гавриловной, урожденной Вульф, внучкою А. Бакунина (племянница М. Бакунина). С ними жили дочери их — Анна Михайловна с мужем своим Владимиров Ивановичем Поль и Александра Михайловна, преподававшая в гимназии Стоюниной историю. Анна Михайловна Поль — известная певица, выступающая в концертах под именем Ян Рубан. Большое удовольствие доставляло нам ее изящное пение с художественною фразировкою.

Муж ее композитор В. И. Поль очень интересовал меня своими теориями искусства и всем своим мировоззрением, сложившимся под влиянием оккультизма и индусской философии. Также и образ жизни он вел необыкновенный. Увидев гимнастические упражнения его на трапеции, я выразил удивление перед его силою; он дал мне потрогать мускулы своей руки, они оказались стальными. Он и его жена были вегетарианцы; главною их пищею были фрукты, сырая зелень, салаты, орехи, мед и т. п. Брюшная полость его имела очень малый объем. Однажды, уже в годы эмиграции в Париже, обсуждая со мною вопросы питания, он поджал живот и предложил мне ткнуть в него пальцем; у меня получилось впечатление, что я касаюсь прямо его позвоночника. На вопрос о его возрасте он сказал, что ему триста лет. Он имеет право так оценивать свой возраст потому, что на деле проявил свою необычайную жизненную силу, руководимую волею. Несколько раз он был болен настолько, что врачи теряли надежду, и каждый раз он преодолевал свою болезнь, по-видимому, главным образом силою своего духа.

Помещение, которое мы занимали, было расположено в двух этажах. Внизу был зал, столовая красиво отделанная дубом, и комнаты, где жили Мария Николаевна и моя мать, часто проводившая лето вместе с нами. Наверху — детская и наша спальня. Однажды во время обеда мы услышали наверху страшный грохот. Оказалось, что штукатурка потолка прямо над письменным столом, за которым я обыкновенно

работал, обвалилась и расщепила доску стола. Если бы я сидел за столом, она проломила бы череп.

Большое удовольствие доставляли нам приезды в Машук Димитрия Васильевича Болдырева. Его талант, философский и художественный, дал бы блестящие результаты, если бы не преждевременная гибель его во время гражданской войны*.

Любили мы его за разносторонние интересы, остроумие и благородный характер. И мальчики наши, особенно старший, Володя, увлекались им. Нередко он, человек высокого роста, брал за руку маленького Володю и отправлялся с ним гулять по парку, импровизируя художественные рассказы, часто из средневековой истории. Возможно, что эти беседы так глубоко запали в душу нашего сына, что он, поступив в университет, стал специально заниматься прежде всего историею средних веков и историею вообще у проф. Гревса, Добиаш-Рождественской и Карсавина в Петербурге и у проф. Ф. Лота в Сорбонне, и потом перешел на историю средневековой философии у проф. Э. Жильсона.

С Александрою Михайловною Петрункевич мы были знакомы давно. Она была доцентом Высших Женских курсов по кафедре истории Западной Европы. Ею были написаны два исследования — о Маргарите Ангулемской и о Кола-ди-Риенци. Она была преподавательницею истории в гимназии Стоюниной и проявляла свою талантливость не только как учительница, но и как оратор, когда выступала с речами на различных торжествах. Если ко всему сказанному прибавить еще, что обитатели Константинова и мы с женою любили играть в теннис, понятно будет, что наше общение с ними летом было весьма оживленным.

Мы с детьми, нянею и Адель Ивановною делали большие прогулки, часто ходили за грибами, а Мария Николаевна и моя мать много читали вместе. Очень насмешило нас однажды саркастическое замечание наших мальчиков, Володи и Бори, по поводу этих чтений: «Бабушки не позволяют нам говорить дурных слов, а сами что читают? — «Идиот», «Бесы», «Мужики».

---

* См. мое предисловие о нем в его посмертной книге «Знание и бытие».

После обеда и после ужина я читал детям какое-либо художественное произведение русской или иностранной литературы. По мере подрастания детей изменялся и выбор предметов чтения. Так, в 1913 г. мы уже читали «Давида Копперфильда».

Из Машука мы с женою совершили две поездки на Кавказ, — в 1911 г. по Военно-Сухумской дороге и в 1912 г. по Военно-Осетинской дороге. Первая из этих поездок была особенно замечательна. Сначала мы пожили в Кисловодске на даче Марии Павловны Ярошенко, вдовы известного художника, семья которого была издавна в дружеских отношениях с Мариею Николаевною. Отсюда мы совершили прекрасную поездку на Бермамут, гору, с которой любуются на Эльбрус при восходе солнца, а затем стали готовиться к поездке по Военно-Сухумской дороге.

Через Кавказский хребет есть три шоссе — Военно-Грузинская дорога из Владикавказа в Тифлис, самая короткая и легко доступная, по ней в это время было уже организовано ежедневное автомобильное сообщение, Военно-Осетинская дорога из Владикавказа в Кутаис и, наконец, Военно-Сухумская дорога из Баталпашинска в Сухум, проложенная через высокий Клухорский перевал. Эта дорога — наиболее живописная, но и наименее доступная: на высоте на протяжении нескольких десятков верст это была уже не дорога, а только шоссированная тропа; она освобождалась от снега лишь на короткое время летом и то иногда не вполне; пролегала она вблизи от дикой мало доступной Сванетии и на ней часто совершались грабежи и убийства.

М. П. Ярошенко понравилось мое увлечение мыслью совершить, несмотря на все трудности, поездку по этой дороге и она уговорила своего знакомого зажиточного казака Х. быть нашим проводником. Х. в молодости был проводником по Кавказу; теперь, став стариком и будучи человеком зажиточным, он жил на покое и только иногда отправлялся в горы с целью поохотиться. Согласившись провести нас по ту сторону перевала, он запряг в телегу пару своих лошадей и повез нашу компанию, состоявшую из трех лиц — моей жены, меня и присоединившейся к нам в Кисловодске женщины-врача Ольги Михайловны Чеботаревой. Ехать в повозке можно было только до Теберды: дальше начинался крутой

подъем по тропе. В помощь русскому проводнику мы наняли в Теберде молодого татарина и отправились в путь, имея с собою пять верховых лошадей.

Часов в десять утра мы были уже на большой высоте. Тропа нередко была совсем узкая, с одной стороны которой — пропасть, а с другой подымалась отвесная скала. И я, и моя жена не могли бы идти по такой лестнице на стене небоскреба, но здесь обаяние суровой величественной природы было так велико, что мысль об опасности, о возможности головокружения и в голову не приходила.

Когда мы поднялись на высшую точку над Тебердою, оказалось, что перед нами дальнейший путь во многим местах завален снегом. Как раз когда мы подошли к такому снежному полю, нам встретилась группа купцов, шедших из Сухума и уже миновавших все опасные и трудные места. Из нее выделился молодой, стройный и красивый человек, он попросил нас, когда мы будем по ту сторону перевала в Цебельде, отдать его родителям записку от него, извещающую, что он благополучно совершил переход. «Вас хорошо примут у моих родителей», сказал он. Это был сын турецкого армянина, как мы узнали потом, очень богатого человека, владельца мельниц и табачных плантаций.

На высоте нам предстояло пройти километров двадцать то немного поднимаясь, то спускаясь, пересекая иногда снежные поля на протяжении полукилометра и более. Они представляли собою немалую опасность, потому что в эту пору года под ними в некоторых местах мчались потоки воды. Часу в одиннадцатом мы подошли к месту, где надо было спускаться на протяжении метров ста или двухсот по обледенелым обломкам скал; для нас это не было трудно, но городские лошади скользили и упирались; проводники наши возились с ними часа два.

Небо стало заволакиваться облаками, поднялся ветер и после сильной жары на этой высоте стало очень холодно. Мы заметили, что лицо у нашего опытного старого проводника стало встревоженным. Оказалось, потом, что он боялся снежной бури; мы находились в расстоянии более, чем двадцати километров от ближайшего жилья; никакого убежища и никакого топлива среди голых скал не было. Наконец, лошадей удалось провести через трудное место и к часу дня

мы сделали привал в небольшой высокогорной долине на зеленом холмике, находившемся посреди нея. Такое место отдыха было безопасно в случае горного обвала: на холмик камни не вскатились бы. Лошадей развьючили и пустили пастись, а сами мы легли и уснули.

Проснувшись, мы с Людмилой Владимировной решили пойти вперед по тропе, пока проводники соберут лошадей и навьючат их. Минуты через две после заворота тропы за скалу мы очутились совершенно одни в дикой пустынной природе, а еще через несколько минут внезапно налетело грозовое облако и пошел проливной дождь такой силы, что кругом нас по склонам горы полился сплошной поток воды.

Мы немного поднялись на склон горы и присели у громадного камня, защищавшего от катившихся с горы струй воды. Молнии сверкали на одном уровне с нами, так как мы находились в самом грозовом облаке; раскаты грома в горах были оглушительны. Людмила Владимировна шептала: «Мы не переживем этого дня; я сойду с ума». Я не испугался, потому что пришлось ее успокаивать. Но через несколько минут и я побледнел от ужаса. По склону горы покатилось несколько камней и комьев земли и пронеслись мимо камня, под защитою которого мы сидели. Эти камни и комья могли быть предвестниками большого обвала. Я схватил жену за руку и мы бросились на тропу, нашли в долине пригорок и стали на нем в расчете таким образом быть защищенными от обвала. Гроза скоро прошла, но наши проводники и Чеботарева все еще не показывались. Оказалось, что при первых ударах грома лошади испугались и разбежались; пришлось затратить немало времени, чтобы поймать их.

Все ручьи пересекавшие дорогу налились водою и бурно текли, затрудняя нам путь. Один из них оказался настолько широким, бурным и глубоким, что пришлось перебираться через него верхом. Это было нелегко, потому что течение было слишком быстрое, дно ручья состояло из круглых, скользких камней и лошади с трудом находили место, куда можно прочно поставить ногу. Сначала переправились на другую сторону русский проводник и дамы. Затем настала моя очередь.

Моя лошадь была навьючена двумя чемоданами и сидеть было на ней очень неловко, растопырив ноги над чемодана-

ми; к тому же в руках у меня была большая соломенная шляпа О. М. Чеботаревой. Сделав несколько шагов, лошадь испугалась и заупрямилась, проводник подтолкнул ее сзади; она споткнулась и упала. К счастью она не придавила меня, я высвободился из-под нее, но меня понесло бурным потоком; я цеплялся рукою за камни, но они были скользкие и меня несло водою дальше; еще минута и я низвергнулся бы со скалы, но в это время проводник татарин подхватил меня и помог мне выбраться на берег. Курьезно, что в левой руке у меня оказалась шляпа Чеботаревой, которую я так и не выпустил, барахтаясь на дне под водою.

Два проводника и я перебрались через ручей, взявшись за руки и вместе сопротивляясь стремительному течению воды. Жена моя всех этих приключений не видела, — обе дамы ожидали меня верхом на лошадях за выступом скалы.

Спасителю своему при расставаньи я подарил часы. Русский проводник надел на меня свой кожух, я был мокр с ног до головы, вода лила с меня ручьями. Весело и бодро продолжали мы свой путь. Клухорский перевал становился все живописнее. Начинался спуск на южную сторону Кавказского хребта и мы торопились добраться до зоны, на которой начинают расти кустарники, и где можно найти сухой валежник для костра. Стало смеркаться, южная ночь наступает быстро. Пришлось заночевать прямо на тропе. С одной стороны ее поднималась почти отвесная скала, а с другой мало пологий склон поросший кустарником. Мы разостлали бурки для ночлега, а проводники набрали сухих веток для костра, нащупывая их ногами, потому что стало уже совсем темно. Белье мое в кожаном чемодане оказалось совсем сухим, так что можно было переодеться. Через полчаса мы весело ужинали при свете костра. Легли мы все пятеро рядом; я был на одном из краев ряда. Старик-охотник рассказывал, что на тропе случается встречаться с медведем и, пошучивая, говорил, что не ручается за мою безопасность. Уснули мы крепко, подложив седла под головы, и утром были бодры и здоровы; благодаря чистоте воздуха и почвы девственной природы горных вершин даже насморка не было ни у кого после передряг предыдущего дня.

Вскоре мы очутились среди лесов южного склона; гигантские деревья разных пород, дубы, кедры восхищали нас. Бо-

ковые долины и пропасти были одна другой живописнее. Жаль было, что эти красоты природы так мало доступны туристам. К полудню мы добрались до первой небольшой деревни, где жили русские крестьяне. Старик-охотник передал нас своему знакомому, который взялся довезти нас до Цебельды, и мы распрощались со своими проводниками.

В дальнейший путь мы отправились в крестьянской телеге. Дорога была узкая, не безопасная. Возница наш развлекал нас приятными рассказами о различных приключениях, происходивших на этой дороге. Я сказал ему, руководясь путеводителем по Кавказу, что следовало бы в ближайшем поселке остановиться у вдовы А., потому что у нее проезжие могут получать закуску. «Ничего там нельзя достать», ответил наш возница. «Года три тому назад вдова А. убилась. Ехала по этой дороге в телеге в сумерки. Извозчик и А. задремали и не заметили, что едут по самому краю узкой дороги; колесо соскользнуло в пропасть и оба они убились». Через четверть часа он показал нам и место, где это случилось.

Немного дальше, проезжая мимо какой-то усадьбы, видневшейся сквозь деревья, возница наш рассказал, что там жил князь Бебутов. В прошлом году ночью на его дом напали разбойники, убили его и ограбили, а дом сожгли.

Перед закатом солнца часов в шесть вечера из придорожных кустов внезапно вышли четыре горца и стали поперек дороги перед нашими лошадьми. «Здравствуй, П., С., М.!», тотчас ж есказал наш кучер, называя их по именам, и горцы тотчас расступились и пропустили нас. «Хотели ограбить», пояснил нам кучер, «да не удалось, потому что я их знаю». Оказывается, если бы они были незнакомы нашему вознице, они ограбили бы нас; но так как кучер знал их, то им пришлось бы не только отнять у нас вещи, но и убить нас; тогда вся полиция была бы поставлена на ноги, и такое преступление им даром не обошлось бы. Защититься против них мы не могли бы. У меня был с собою заряженный браунинг, но из него я никогда не стрелял, и лежал он в чемодане, так что на доставание его надо было затратить четверть часа.

Переночевали мы в именьице приятелей нашего кучера, молокан (как и наш возница), переселенцев из Белоруссии,

а на следующий день к закату солнца были в местечке Цебельда. Без труда мы нашли отца молодого армянина, встреченного нами в начале пути, и передали ему записку сына. Он был очень рад и предложил нам переночевать у себя. Дом его оказался богато и комфортабельно обставленным. Нас угостили вкусным ужином и каждому отвели по комнате с прекрасною кроватью и мраморным умывальником. Утром нам пришлось встать очень рано, чтобы ехать в дилижансе в Сухум. Хозяин дома встал, чтобы проводить нас и дал нам по чашке замечательного турецкого кофе. Тут мы узнали чудодейственную силу этого напитка. До самого Сухума, куда дилижанс пришел к полудню, мы чувствовали себя вполне бодрыми и вовсе не были голодны.

Приключения, испытанные нами во время увлекательной поездки по Военно-Сухумской дороге, имели неожиданное продолжение зимою. Однажды уже в ноябре мы с женою были в театре и вернулись домой поздно, когда уже все в доме спали. В столовой для нас был приготовлен чай. У моего прибора лежало на белоснежной скатерти письмо в сером отвратительно грязном конверте. Оказалось, что это письмо с Кавказа из санатории для прокаженных, написанное татарином-проводником. Он сообщал, что давно уже болен проказою, и раньше он бывал в лепрзоории, а теперь болезнь его обострилась и он просит меня узнать, нет ли новых лекарств против проказы.

Мы вспомнили, что цвет лица у него был буро-коричневый и что он как-то странно волочил ногу, закутанную тряпкою. Считая проказу очень заразительною болезнью, мы записали его адрес, а самое письмо осторожно отнесли в печь и сожгли его. При спуске по обледенелым скалам, при посадке на лошадь нам случалось подавать руку своему проводнику; мы считали, что шансов заразиться было очень много. В каком-то словаре я прочитал, что по мнению некоторых ученых инкубационный период проказы бывает до тридцати лет. Поэтому меня не успокаивали три месяца, протекшие со времени поездки по Кавказу.

У знакомых врачей я начал наводить справки о лечении проказы. Между тем, дня через два у меня появилось красное пятно в сгибе локтевого сустава левой руки. У меня иногда бывал обыкновенный лишай, и я в два, три дня обы-

кновенно вылечивал его зеленым мылом. К этому же лечению прибегнул я и в данном случае, только мазал руку энергичнее, под влиянием тревожной мысли, что болезнь моя не лишай, а проказа. Через два дня состояние руки значительно ухудшилось, начало обнаруживаться что-то вроде язвы. Я пришел к убеждению, что это — проказа, и считал себя обреченным до конца жизни находиться в лепрозории, будучи отрезанным от семьи, университета и общества.

Фантазия моя, по обыкновению, разыгралась до крайности; я сообщил жене, какие книги мне нужно будет доставлять в лепрозорий, какие работы я намерен выполнить там. Узнав, что в Петербурге живет главный специалист по проказе и деятель по борьбе с нею в России доктор Петерсон, я отправился к нему. Взглянув на мою руку, он посмеялся надо мною, сказал, что у меня обыкновенный лишай и что плачевное состояние моей руки объясняется слишком энергичным употреблением зеленого мыла, которое, если бы я продолжал усиленно втирать его, могло бы разъесть мне руку до кости. Он прописал мне какую-то мазь, и рука через несколько дней выздоровела. В наказание за мнительность он записал меня членом учрежденного им общества борьбы с проказою.

С тех пор ко мне раз в год являлся посыльный для получения членского взноса в пять рублей. Проводнику я послал сообщение о новых лекарствах с указанием, однако, что особенно чудодейственных результатов от употребления их ожидать нельзя.

В 1912 г. мы с женою отправились летом из Машука во Владикавказ с целью на этот раз совершить переезд через хребет по Военно-Осетинской дороге в Кутаис. Путь этот можно было совершить с начала и до конца в повозке; однако предприятие это нам не удалось. Несколько дней перед нашей поездкой лили проливные дожди. Реки разлились и нам пришлось, проезжая по степи вблизи Ардона, временами ехать по шоссе, затопленному разливом на метр и выше, так что приходилось поднимать ноги и ставить их на козлы, чтобы не вымокнуть. Когда мы поднялись в горы и доехали до урочища св. Николая, находящегося на значительной высоте, оказалось, что после дождей на дальнейшем пути в нескольких местах произошли обвалы и проехать весь путь в

нашей повозке нельзя; нужно было бы часть дороги проделать на вьючных лошадях. Хуже всего было то, что у меня сильно поднялась температура; я заболел ангиною.

Прожив дня два, три в урочище св. Николая, мы решили вернуться во Владикавказ и оттуда пересечь хребет по Военно-Грузинской дороге в автомобиле, который в двенадцать часов довез нас до Тифлиса. Дарьяльское ущелье, Казбек и спуск в долину Арагвы, конечно, произвели на нас большое впечатление, но все же нельзя сравнить эту дорогу с красотами Военно-Осетинской и особенно Военно-Сухумской дороги. Из Тифлиса мы поехали в Батум и морем в Новороссийск. Впечатления, полученные нами от Кавказа незабываемы. Швейцария дает, конечно, гораздо более разнообразные впечатления; там, кроме величественной природы, турист находит произведения старой и современной культуры, но мощь природы и дикое великолепие ее несравненно более значительны на Кавказе.

Вернувшись в Петербург, мы с женой поступили в школу Берлица и взяли там тридцать уроков английского языка. У нас был план поехать следующим летом из Машука не месяц в Англию. Большое удовольствие доставил нам энергичный живой метод преподавания в школе. После тридцати уроков язык у нас развязался для произнесения коротких, житейски необходимых предложений. После школы Берлица мы продолжали занятия английским языком у мисс Джексон, которая несколько спустя учила и наших детей, Володю, Борю и Марусю. Занятия дополняли чтением рассказов Конан-Дойля и Уайльда. Как многие русские интеллигенты, мы давно уже заочно любили Англию. Шекспир, Вальтер Скотт, Диккенс были любимыми нашими писателями. Сравнительно спокойное развитие английской демократии, гарантии прав личности, выработанные ею, социальная мудрость английской нации, все эти черты английской общественности были глубоко симпатичны нам. Готовясь к поездке, я прочитал «Краткую историю Англии» Грина и том географии Реклю, посвященный Великобритании.

В Лондоне мы должны были поселиться в квартире Деддингтонов. Наталия Александровна Деддингтон, урожденная Эртель, дочь русского писателя Александра Ивановича Эртеля, автора романа «Гарденины», была ученицею гимна-

зии Стоюниной в старших классах. Она занималась у меня логикою и психологиею. Заинтересовавшись философиею, она познакомилась с моим интуитивизмом. По окончании курса гимназии она поехала в Англию и поступила в Лондонский университет, где занималась философиею, главным образом, под руководством проф. Dawes Hicks'a, и получила степень М. А. Здесь она вышла замуж за м-ра J. N. Duddington'a, впоследствии директора Whitechapel Art Gallery. Семья Эртелей жила в своем имении в Воронежской губернии. В 1913 году[19] Деддингтоны собирались провести лето в этом имении, а нам предложили поселиться в их квартире в Лондоне. Это было тем более удобно, что в их квартире жила во время их отсутствия Фанни Марковна Кравчинская, вдова известного революционера Кравчинского-Степняка.

В Лондон мы приехали вечером, и в автобусе отправились на север его к Golders Green'y, где с немалым трудом нашли уличку Carlton Terrace и на ней квартиру Деддингтонов. Большим удовольствием было уже то, что проникнуть в квартиру нужно было не посредством звонка, а после ударов кольцом в дверь, как в романах Диккенса. В тот же вечер мы сошлись с приветливою Фанни Марковною и со следующего дня начали знакомиться с Лондоном, где провели две недели. Мы не только осмотрели главные достопримечательности Лондона, но даже съездили на автобусе в St. Albans, где похоронен философ Бэкон и где находится замечательный собор, образец нормандского зодчества.

Из Лондона мы поехали на северо-запад Англии на берег моря в Silverdale, где проводила лето у себя на родине мисс Джексон. Еще в Петербурге мы условились вместе с нею совершить пешеходную прогулку в «Озерной области». Мы побывали на озерах Конистон и Уиндермир, полюбовались горными пейзажами и на ночь остановились у знакомого мисс Джексон фермера.

Поразило нас жилище его. Оно было построено несколько веков тому назад; стены такие толстые, как будто оно служило крепостью. Вся семья фермера работала, как простые крестьяне. Сам хозяин дома доил коров. Занимаясь этим делом, он беседовал с нами и с большим любопытством расспрашивал о России. Почему-то его очень интересовала Сибирь и громадные реки ее. Между прочим, он заявил, что

если бы у него не было семьи, он охотно женился бы на русской. Обстановка дома этих простых людей была весьма комфортабельна. Особенно поразила нас сервировка стола за ужином. Такого разнообразия утвари, ложек и ложечек, вилок и т. п. не было и у нас в петербургской квартире. Не помню, сколько мы заплатили за удобный ночлег, вкусный ужин и утреннее кофе. Во всяком случае все это обошлось сравнительно недорого.

Из Сильвердэля мы совершили вместе с мисс Джексон поездку в Ланкастер на pageant*, который был в это лето устроен там. Первою сценою было сражение каких-то доисторических племен, происходившее на территории теперешнего Ланкашира; потом поставлена была картинка из жизни Ланкастера во времена Адриана; далее, ряд сцен из средневековой жизни, например приезды высокопоставленных особ Бьянки, John'a Gaunt в костюмах и повозках соответствующей эпохи, наконец, процесс ведьм, происходивший в Ланкастере в XVII или XVIII веке. В исполнении этих сцен участвовало несколько тысяч человек. Вернувшись в Петербург, мы стали пропагандировать устройство таких инсценировок в России и мысль эта была поддержана историками и артистами. Но вскоре начавшаяся война положила конец таким планам.

В самом Сильвердэле нам удалось повидать спортивное состязание, устроенное местными гимнастическими организациями. Особенное удовольствие доставили всем зрителям выступления старика, приближавшегося к семидесятилетнему возрасту и тем не менее принимавшего участие в борьбе. Вся публика аплодировала ему, крича: „John Flemming, well done!"

В числе моих ранних детских воспоминаний были «Песни Оссиана». Поэтому в плане нашей поездки находилась, конечно, Шотландия. Вместе с мисс Джексон мы поехали в Глазгов и, далее, из Глазгова пароходом в Обан. Выезд в море по Клайдскому заливу произвел сильное впечатление картиною мощного судостроения англичан. На протяжении нескольких десятков километров на обоих берегах высились

---

* Pageant — инсценировка ряда исторических событий, связанных с данным местом; производится она обыкновенно под открытым небом при участии множества любителей.

остовы строющихся судов. Выйдя в море, мы проезжали мимо грота Фингала и островов, напоминающих о «Песнях Оссиана».

В Обан мы приехали поздно вечером и устроились в гостинице на берегу моря. Проснувшись рано, я открыл жалюзи и ахнул от удивления, увидев при утреннем освещении чудной красоты залив и амфитеатром расположенный при нем городок. Мисс Джексон познакомила нас со своим приятелем пресвитерианским священником, любителем парусного спорта. День был ясный, солнечный; дул довольно сильный ветер. Пастор любезно предложил нам покататься, усадил в свою лодку и мы стрелою помчались по заливу. Впечатление от этой поездки было чрезвычайно усилено тем, что, по просьбе мисс Джексон, друг ее спел нам несколько старинных песен на гаэльском языке.

На пристани Обана нас поразила быстрота и напряженность работы женщин, потрошащих сельдей и упаковывающих их в бочки. Здесь мы попрощались с мисс Джексон и по Каледонскому каналу поехали до Инвернесса. Осмотрев прекрасный Эдинбург, мы вернулись в Лондон и направились домой в Россию заканчивать летний отдых в Машуке.

На пути из Вержболова в Петербург мы ехали в купе второго класса с двумя молодыми немцами, не говорившими по-русски. Вблизи от Пскова один из них сказал нам, что удивляется, как долго мы едем от границы, приближаемся уже к Петербургу, а между тем все еще находимся на территории, населенной преимущественно немцами. Тогда я, в свою очередь, удивился и стал объяснять ему, что Псков один из самых старинных русских городов, что сначала он принадлежал к составу Новгородской республики, а потом был во главе самостоятельный республики. Немец недоверчево слушал меня и самое название Псков отвергал, говоря, что действительное название этого города Плескау, и звучит оно, как немецкое. Вероятно, мой собеседник включал Псковскую губернию в состав Курляндии, Лифляндии и Эстонии, которые в глазах немцев были немецкими провинциями, потому что крупные землевладельцы в них были немцы, а исконное основное население их, литовцев, латышей и эстов, они не считали людьми.

Осенью этого 1913 года во всей России торжественно празд-

новалось трехсотлетие династии Романовых. Петербург был роскошно иллюминован. Вечером мы с женою наняли извозчика, чтобы объехать главные улицы и полюбаваться иллюминациею. Поехав на Исаакиевскую площадь, мы были поражены видом германского посольства. Здание это, выстроенное недавно, имело вид суровой неприступной крепости. На фасаде его красовался германский орел из желтых огней электрических лампочек, но когти орла и клюв его были кроваво-красные. Это символическое изображение того, как Германия будет терзать Россию, помещенное внутри нашей столицы во время мира, в день национального торжества, глубоко возмутило нас своею дерзостью. В нем ярко выразились презрение и ненависть Германии к России.

После этого вечера стали припоминаться и обращать на себя внимание другие мелкие факты этого рода. Например, однажды вечером, торопясь войти в трамвай, я терпеливо ожидал своей очереди и даже дал место двум немцам, очевидно иностранцам, которые, нарушая очередь, протиснулись вперед меня. Заметив мою услужливость, один из них сказал другому: „Nur nicht kämpfen!“ (Только не бороться!). Миролюбие и мягкость русского характера вызывали в них не симпатию, а презрение. Такие наблюдения были очень огорчительны. К Германии я питал глубокое уважение, высоко ценя немецкую философию, немецкую музыку, таких поэтов, как Шиллер и Гёте.

Признаков того, что близится война Германии с Россией и Францией, а, может быть, и Англией, было немало. Первого апреля я часто обманывал своих детей какою-либо шуточною ложью. В 1914 г., развернув утром газету, я воскликнул: «Германский флот приближается к Кронштадту. Ну, значит, война». Мальчики, конечно, на минуту поверили этому известию. Несмотря на предчувствие и предвидение войны, мы решили провести всею семьею лето в Швеции.

Произошло это таким образом. Д. Д. Гарднер ездил в последнее время ежегодно в Стокгольм к Сванте Аррениусу работать у него в лаборатории. В 1914 г. он задумал устроить свою семью, жену и двух детей, на юге Швеции в чудной местности на берегу Скагеррака. И нам он прислал объявления о дачах в этой местности, уговаривая нас тоже поселиться там. Полученные нами описания местности и фото-

графии были очень заманчивы, и мы попросили Гарднера нанять помещение также и для нас. За нами последовало еще несколько знакомых: В. А. Герд с женою и двумя сыновьями; семья П. Б. Струве, жена его и пятеро сыновей в возрасте от 7 до 9 лет (сам Петр Бернгардович оставался в Петербурге).

Расселились мы все по берегу небольшого залива в городках Люнгшиле, Люкорна, Ульвезунд. Наша семья жила в Люкорна. Местность эта оказалась необыкновенно привлекательною. Дачи были заняты летом шведами; русских здесь до тех пор никогда и не видели. Переезд из Петербурга оказался очень легким, и жизнь дешевле, чем на даче вблизи Петербурга. Сначала приехал в Люкорна я с тремя нашими детьми, Володею, Борею и Марусею, в сопровождении воспитательницы их Адель Ивановны, няни Лизы и кухарки. Бóльшую часть пути мы сделали водою: из Петербурга в Стокгольм морем, далее до Трольгетского водопада по Готскому каналу. Путешествие это хорошо знакомит с красотами Швеции и привлекательным характером ее населения. Людмила Владимировна не ехала с нами, потому что занята была в это время большою гимназическою экскурсиею в Соловецкий монастырь.

Об организации экскурсий в гимназии Стоюниной стоит сказать несколько слов. Замечательный педагог В. А. Герд, бывший в это время председателем педагогического совета гимназии, вместе с выдающимся персоналом гимназии, при живом участии М. Н. Стоюниной, выработали сложную систему экскурсий. Ученицы гимназии вносили каждое полугодие по пяти рублей в экскурсионный фонд. На средства этого фонда устраивались образовательные экскурсии, в которых участвовали, конечно, все ученицы, и платящие и бесплатные. Экскурсий бывало в каждом классе не меньше восьми в год. Для младших классов это были небольшие экскурсии в самом Петербурге и его окрестностях. Начиная с четвертого класса, экскурсии становились все сложнее и предпринимались все на бóльшие расстояния.

Цели экскурсий были весьма разнообразны, — кроме различных естественно-научных экскурсий, были осмотры фабрик, заводов, имений, городских сооружений, были экскурсии в музеи, картинные галереи, экскурсии археологические,

исторические и т. п. Ученицы ездили под руководством соответствующих специалистов в Новгород, Псков, при изучении Средних веков Западной Европы — в Ригу, в замок Зегевольд под Ригой, в Ревель и т. д. В руководстве экскурсиею принимали участие и местные историки, археологи и т. п. специалисты, с которыми заранее списывалась гимназия. Особенно сложны были экскурсии для шестого и восьмого классов (седьмой выпускной класс вследствие экзаменов не мог принимать участия в большой экскурсии). Была, например, экскурсия на Урал для знакомства с его природою и горной промышленностью; другая по Днепру в Киев для знакомства с древностями «матери городов русских и в образцовые имения Малороссии. Экскурсия в 1914 г. была предпринята по Северной Двине в Архангельск, в Соловецкий монастырь и Кемь.

Вернувшись из Соловецкой экскурсии, жена моя приехала к нам в Швецию, а еще позже присоединилась к нам М. Н. Стоюнина после лечения в одной из шведских санаторий. Погода этим летом стояла на редкость хорошая. Жизнь на берегу Скагеррака доставила нам громадное удовольствие. От сурового Северного моря мы были отделены бесчисленным множеством шхер самых разнообразных величин, то островков, покрытых лесом и лугами, то отдельных небольших скал, торчащих из моря. Чтобы добраться до открытого моря, нужно было проехать несколько десятков километров. Живя в Люкорна, можно было подумать, что находишься на берегу озера, если бы не приливы и отливы.

При каждой даче была гребная лодка. Пешеходные прогулки по чудным лесам и лугам чередовались с поездками на лодке. Особенно восхищало нас богатство жизни в Скагерраке. Дно моря и склоны скалистых островков были покрыты водорослями и анемонами. Среди них плавали морские коньки, креветки, медузы. Однажды я плыл с тремя детьми в лодке от Люкорна в Уддевалла. На середине залива мы увидели почти на поверхности воды светло-розовое животное с длинными щупальцами. Принимая его за крупную медузу, я хотел поднять его веслом, но оно быстро опустилось в глубину. Впоследствии я пришел к мысли, что это была не медуза, а большой осьминог.

Нам захотелось повидать шхеры вплоть до открытого мо-

ря и мы совершили прогулку на пароходе, делавшем круговые поездки. У выхода из шхер в море находится большой остров Черинген, на котором мы провели часа два. Условия жизни на этом острове, где расположился рыбачий поселок, очень своеобразны. Черинген — неровная гранитная скала, почти лишенная почвы. Деревянные домики и церковь держатся и сопротивляются ветрам благодаря тому, что прикреплены к камню стальными цепями. Кладбище при церкви устроено на земле, привезенной с материка. У входа в село находились ворота из ребер кита, а рядом несколько китовых позвонков, вроде тумбочек, на которых удобно сидеть. Это были части скелета громадного кита, которого некогда выбросило на остров бурею.

Из Люкорна мы с женою предприняли еще поездку по Норвегии. Из Христиании мы поехали по железной дороге до станции Финзе высоко в горах среди снегов и льдов. Там мы остановились в гостинице, откуда предпринимаются прогулки на ледник в сопутствии проводника. На следующий день рано утром компания, идущая на ледник, оказалась небольшою: трое датчан, молодой человек с женою и тестем и я с женою. Мы шли и беседовали по-немецки с молодыми людьми, которые оказались педагогами, а старик был впереди, мрачно поглядывал на нас и не вступал в разговор. Как-то во время беседы я сказал: «мы, русские...» «Как, так вы русские!», прервал меня мой собеседник и тотчас сообщил об этом своему тестю. Оказывается, старик датчанин принял нас по языку за пруссаков и потому враждебно смотрел на нас. Он в детстве пережил нападение Германии на Данию и отнятие Шлезвиг-Голштейна, а потому не выносил пруссаков. Когда недоразумение было устранено, он, как и молодая парочка, оказался очень милым спутником.

Насладившись горными видами и опасною прогулкою по узким тропам между зиявшими с боков голубыми трещинами ледника, мы спустились к Гердангер фиорду и на пароходе приехали в Берген. В эту поездку по Норвегии, в отличие от первой, мы познакомились не с суровыми, а с приветливыми, веселыми фиордами ее.

В Бергене — это было 25 июля — нас поразило оживление на улицах. Во многих местах стояли кучки людей, с большим интересом обсуждавших что-то. Придя на вокзал и за-

няв свои места в скором поезде, который должен был привезти нас в Христианию, мы были удивлены тем, что поезд в назначенный час не отошел. Когда он выехал с большим опозданием, мы пошли в ресторан. Против нас сидел какой-то норвежец, погруженный в газету. Мы обратились к нему с вопросом, что делается в Европе, объяснив ему, что совершали прогулку в горах и давно не заглядывали в газеты. «Как! Вы не знаете? В Европе — война; не сегодня, но, может быть, завтра». Он рассказал нам об убийстве в Сараеве и о том, что германский император Вильгельм, находившийся, по обыкновению, летом в фиордах, сел в Мольде на свое военное судно, прибыл в Берген и, чтобы ускорить свое возвращение в Берлин, отправился далее экстренным поездом. Этим объяснялось запоздание нашего поезда.

Встревоженные приехали мы домой, однако нашли в русской колонии мирное настроение и сами тоже успокоились. 28 июля (в день св. Владимира 15 июля старого стиля) вся русская колония собралась у нас праздновать именины Владимира Александровича Герда и нашего Володи. Чрезвычайной близости катастрофы никто не предвидел. Однако на следующее утро к нам пришла Нина Александровна Струве и сообщила, что получила ночью из Петербурга телеграмму от мужа, требующего немедленного возвращения домой. Мы решили, что всем необходимо собираться к отъезду, однако Нина Александровна, которую наши рассказы о поездке по Норвегии увлекли мыслью совершить прогулку с сыновьями по этой чудной стране, заявила, что и не подумает так торопиться уезжать. Дня через два однако она получила от мужа вторую телеграмму: „Sofortige Abreise dringend notwendig“ (немедленный отъезд настоятельно необходим). Тут уже все стали торопливо укладываться.

Вечером 1 августа с нами заговорил о современном положении молодой швед инженер. Он утверждал, что война неминуема и всю вину возлагал на Россию. «Россия потерпит поражение и потеряет свои окраины — Финляндию, Польшу, Кавказ», говорил он, считая, что это будет справедливое наказание за неправильную политику, внешнюю и внутреннюю. Грустно было видеть такую безоговорочную убежденность в правоте Германии. Я энергично оспаривал своего собеседника. В этот самый час германский посланник Пурта-

лес предъявлял ультиматум в Петербурге, и война была объявлена.

На следующий день утром, выглянув из окна, мы увидели, что на берегу залива шагают часовые, поставленные на стражу. В Швеции была объявлена мобилизация, и берега ее охранялись. Сочувствие шведов Германии было ясно видно во всем, однако все встречавшиеся нам шведы проявляли к нам рыцарски благородное отношение.

Все мы, русские, сели в поезд 2 августа вечером. Солнце закатывалось и все небо пылало от ярко-красной вечерней зари. Все обратили внимание на необыкновенный цвет ее и с тяжелыми предчувствиями пустились в дорогу. С тех пор и до настоящего дня, в течение двадцати четырех лет, мы, русские, не знаем, что такое нормальная жизнь. Пишу я эти строки 19 августа 1938 г. в Чехословакии вблизи городка Высокое Мыто (Vysoké Myto), где семья наша проводит лето в прекрасной вилле, но душа наша неспокойна: в Германии происходят маневры, имеющие характер мобилизации, отношения между Германиею и Чехословакиею весьма напряженны, не сегодня завтра может вспыхнуть война, которая опять станет мировою и, вероятно, повлечет за собою всеобщий коммунистический переворот.

Приехав в Стокгольм, мы на вокзале очутились в потоке русских, бежавших из Германии. Пароходы из Стокгольма в Финляндию и Петербург перестали ходить. Железная дорога, по которой, обогнув Ботнический залив, можно было безопасно вернуться в Россию, не могли перевезти сразу огромного количества внезапно нахлынувших пассажиров, так что приходилось дожидаться очереди. В гостиницах почти невозможно было найти свободную комнату. К тому же банки перестали менять русские бумажные деньги. Множество беженцев толпилось во всех вокзальных помещениях; дети, старики сидели на своих чемоданах и корзинах. Многие из них еще накануне терпели в Германии возмутительные оскорбления, некоторые были буквально оплеваны немецкою толпою. Были случаи душевных заболеваний. Шведские дамы со своими детьми обходили эти толпы растерянных людей, стараясь оказать посильную помощь и раздавая провизию. И к нам подошли, предлагая нам пищу, что глубоко потрясло Марию Николаевну.

Вскоре нам удалось найти два номера в гостинице. Мы купили билеты для поезда по железной дороге и ждали своей очереди. Дня через два к нам пришел Д. Д. Гарднер и сообщил, что ехать с детьми через Торнео не следует: на границе Финляндии и России, вследствие недостатка вагонов, занятых под мобилизацию, образовалась пробка; толпы людей ждут там очереди и живут чуть ли не под открытым небом. Он сказал, что барон Эммануил Нобель едет в Петербург, наймет пароход и даст возможность поехать с ним многим лицам. Действительно Нобель нанял пароход Gauthiod для переезда из Стокгольма в Раумо; на случай если пароход будет потоплен германскою миною, он дал залог, равный стоимости парохода.

На свой пароход Нобель взял около 120 русских с семействами, возвращавшихся домой, и нас в том числе. Выехали мы вечером и подвигались очень медленно, сначала потому, что нужно было осторожно продвигаться между шведскими минами; в это время пассажиры не имели права смотреть, где мы едем. На следующий день, когда мы выехали в открытое море, как только капитан замечал где-либо на горизонте дымок, наш пароход останавливался, чтобы своим дымом не выдать своего местонахождения.

Только к вечеру следующего дня мы прибыли в Раумо.[20] Переезд из Раумо по железной дороге был тоже нелегок: часто приходилось останавливаться и пережидать воинские поезда. Воинские части, ехавшие в них, были охвачены патриотическим энтузиазмом. Их энергичный бодрый вид внушал уверенность в том, что враг, напавший на Россию, получит должный отпор. И действительно, начало войны было успешно для России. Но вскоре оказалось, что по вине военного министра Сухомлинова русская армия не была обеспечена снарядами и другими военными припасами. Начался длительный период отступлений и отсиживания в окопах.

Россия так громадна, что даже и в этот тяжелый период войны многие общественные деятельности продолжались почти нормально. Работа в университете была не менее интенсивна, чем в мирное время. Лето 1915 и 1916 гг. мы провели в Новоторжском уезде на берегу Тверцы в имении Митино Д. Д. Романова. Старинный барский дом был похож

на дворец. В парке было много затейливых построек, сооруженных в крепостное время, например каменный погреб в виде египетской пирамиды.

Наш сын Борис, теперь специалист по истории искусства, уже здесь в десятилетнем возрасте проявил интерес к архитектуре; рано утром до кофе он обегал парк и чертил план его, отмечая находившиеся в нем сооружения. Сам владелец имения был замечательный человек. В молодости он получил образование в Париже. Его страстью была ботаника и вообще естествознание. В своем парке он акклиматизировал всевозможные кустарники Европы, от Албании до полярных стран. У него были, например, различные разновидности березы.

Из Митина мы с женою совершили поездку в Ясную поляну с целью повидать обстановку жизни Льва Толстого и места, которые он посетил перед смертью, Оптину пустынь и Шамардино. При жизни Толстого, думая о нем, я всегда радовался тому, что и среди наших современников есть, по крайней мере, один несомненный гений. Но считая его гениальным художником, я весьма низко оценивал его морально-философские писания и находил, что они даже не заслуживают критики с точки зрения философа. Поэтому меня поражает то, что среди иностранцев, особенно в Америке, есть много поклонников Толстого, которые знают только его этические трактаты и вовсе не читали его художественных произведений.

Перед восьмидесятилетием Толстого комитет, подготовлявший сборник в его честь, предложил и мне написать о нем хотя бы страничку. Я написал заметку, в которой говорил о чувстве счастья, вызываемом сознанием, что среди нас живет подлинный гений, и характеризовал Толстого, как великого художника, но ни словом не упомянул его философских и этических учений. Комитет, конечно, не напечатал моей статьи. После смерти Толстого декан историко-филологического факультета предложил мне подготовить речь о Толстом для торжественного собрания университета. Я написал статью «Нравственная личность Л. Н. Толстого». Она была напечатана в «Логосе», но как речь она произнесена не была: университетское собрание не состоялось вследствие опасения демонстраций. Значительно позже, в

1928 г., когда праздновался столетний юбилей со дня рождения Толстого, я говорил в Белграде и Загребе о «Толстом как художнике и мыслителе» («Современные записки», 1929, вып. 37).

В Оптиной пустыни мы хотели побывать не только потому, что там был Толстой перед смертью, но и потому, что туда ездил Достоевский с Влад. Соловьевым и там Достоевский получил впечатления, использованные им в «Братьях Карамазовых», особенно для образа старца Зосимы. Была и еще более серьезная причина моего интереса к Оптиной пустыни с ее старцами. В это время в связи с моими занятивми метафизикою у меня начался медленный процесс возвращения к религии, о чем будет рассказано подробно позднее.

Посещение Ясной поляны было для нас облегчено тем, что в нескольких километрах от нее находилось имение «Телятники» Владимира Григорьевича Черткова. Жена его Анна Константиновна, урожденная Дитрихс, была дочерью генерала, с семьею которого издавна была знакома Мария Николаевна. В семье этой было двенадцать человек детей. Старшая из дочерей была Анна Константиновна; некоторое время она была учительницею гимназии Стоюниной, потом вышла замуж за Черткова. Сестра ее красавица Елена Константиновна вышла замуж за Щегловитова, будущего министра юстиции. Анна Константиновна говорила об этом браке Марии Николаевне, как о бедствии: «В семье нашей, такой дружной, поселился Иудушка Головлев». Вскоре Елена Константиновна разошлась с мужем. Две сестры Дитерихс, Ольга и Мария, были ученицами гимназии Стоюниной; Ольга вышла замуж за сына Льва Толстого Андрея и была брошена своим мужем. Брат их Михаил Дитерихс, — генерал, умерший недавно на Дальнем Востоке.

Перед поездкою мы списались с Анною Константиновною Чертковою и были приглашены ею остановиться у них. Чертковы познакомили нас с доктором Маковицким, который жил в Ясной Поляне в последние годы жизни Толстого. Под его руководством мы осмотрели Ясную Поляну. В ночь ухода Толстого из семьи доктор Маковицкий провожал его через сад в конюшню. Он провел нас по той самой дорожке, по которой они шли, и рассказал, что здесь ветвями яблони

была сброшена шапка с головы Толстого, на что он не обратил внимания. По мнению доктора, это охлаждение головы было причиною начавшегося через несколько дней у Л. Н. воспаления легких. Софии Андреевны Толстой мы не видели при осмотре дома. Она, конечно, не показывалась уже потому, что мы пришли из Телятенок от Черткова. Симпатичный доктор Маковицкий спустя короткое время уехал к себе на родину в Словакию. Там он покончил с собою, мучимый меланхолиею.

Мирная русская обитель, Оптина пустынь, храмы которой и общий вид прекрасно гармонируют с окружающею природою, произвела на нас глубокое впечатление. Особенно хорош был лес с грандиозными, прямыми, как свеча, мечтовыми соснами, окружающими в отдалении от монастыря скит. Внутри кольца скитских келий сквозь отворенные ворота виден был сад с яркими красками цветущих растений, придававших оттенок нежности этому суровому месту затворнической жизни.

Нам несколько раз случалось видеть тогдашнего старца отца Анатолия, окруженного толпою богомольцев. Но пойти к нему, чтобы побеседовать с ним, мы не решились, считая неуместным вступать в общение с таким наставником народа не ради поучения, а ради удовлетворения своего любопытства. Из Оптиной пустыни мы поехали в женский монастырь в Шамардино, где была монахинею сестра Льва Николаевича Мария Николаевна и куда тоже заезжал Толстой перед смертью. Очевидно, он сознавал свою вину перед православною церковью, но самолюбие и суета окружавших его толстовцев помешали ему совершить подвиг покаяния.

В Шамардине в последние годы своей жизни жил и учительствовал старец Амвросий, с которым беседовал Достоевский, описавший в «Братьях Карамазовых» прием богомольцев у него и некоторые его поучения. Деревянный домик, где жил старец, окружен, как футляром, каменным зданием и таким образом защищен от разрушения. На кровати старца лежат листовки с его поучениями, и каждому посетителю домика монахини предлагают вытянуть какое-нибудь из этих наставлений. С грустью думаем мы о том, что все эти тихие обители разрушены теперь большевиками, которые, как и немецкие нацисты, ненавидят все то, что вос-

питывает в человеке доброту и любовь ко всякой индивидуальной душе.

Летом этого года (а, может быть, это было в какие-нибудь предыдущие каникулы) нам кто-то прислал номер «Нового Времени» с фельетоном В. В. Розанова о гимназии Стоюниной. В гимназии Марии Николаевны учились три дочери Розанова. Дети его очень любили гимназию. В своем фельетоне Розанов напал на гимназию, изображая ее, как пример неправильной постановки преподавания в передовых гимназиях. Особенно он не одобрял темы, задаваемые для сочинений по русской словесности. Он писал, что они не соответствуют умственной силе детей и развивают только верхоглядство. Как всюду в своих сочинениях, он и сюда сумел ввести сексуальный элемент, даже говоря о своих дочерях: мимоходом он сказал, что у одной из его дочерей сквозь кофточку намечаются уже очертания груди.

Отношения Розанова к Марии Николаевне и ее помощнице, моей жене, всегда были очень хорошие. Однажды он даже написал мне письмо, полное похвал моей жене. И мною он, по-видимому, весьма интересовался. Бывая по какому-либо делу в гимназии, он иногда заходил ко мне. Постучит в дверь моего кабинета и, едва услышав «Войдите», быстро отворяет дверь, бросается к письменному столу, на котором лежит раскрытая книга, и тотчас смотрит, что я читаю. Может быть, он всех людей старался так поймать врасплох и узнать этим способом их интересы. Беседа с Розановым была интересна. От него всегда, бывало, услышишь какое-нибудь своеобразное замечание. Например, услышав, что я радуюсь намерению Думы и Министерства Народного Просвещения осуществить всеобщее обучение в России, Розанов отнесся к моему восторгу скептически: он находил, что современная школа убивает в учащихся оригинальность и накладывает на них однообразный штамп.

Говоря об известных людях, он давал им яркие характеристики, но и подпускал много яду, нередко относясь к людям пристрастно. Вл. Соловьев в одной из статей, говоря об отношении Розанова к еврейскому вопросу, назвал его «Иудушкою Головлевым». Розанов не мог ему этого простить и в беседе со мною о Соловьеве, хотя и не мог отрицать его таланта, назвал его, — брызгая слюною, как всегда во вре-

мя волнующего разговора, — «проституткою». Вероятно, он имел в виду его приятельские связи в слишком разнообразных кругах общества.

Осенью, когда начались занятия, ученицы принесли в класс фельетон Розанова. Дочь его Вера, увидев, что они читают фельетон, сказала: «Бросьте; мало ли что папа болтает в своих фельетонах». Надо заметить однако, что она и все дети Розанова очень любили его. Несмотря на это замечание дочери, мы ожидали все же, что Розанов возьмет из гимназии всех своих дочерей. Каково же было наше изумление, когда он, придя к Марии Николаевне, обратился к ней с просьбою принять в гимназию еще и четвертую дочь его. В это время гимназия очень разрослась; для приема новых учениц пришлось бы открывать параллельные классы. Мария Николаевна не сочувствовала этому, говоря, что тогда это будет не школа, а «фабрика», потому что педагогический персонал не будет в состоянии знать каждую ученицу и каждую семью. Она отказала Розанову в его просьбе.

Во время Рождественских каникул 1915—16 г. петроградские учителя средней школы, подобно многим другим группам общества, организовали отправку на фронт делегации для раздачи подарков. Гимназия Стоюниной принимала участие в этом деле и я с женою вошли в состав делегации. Мы везли белье, обувь, папиросы и сласти. Нас было человек десять. Доехали до Двинска, а оттуда на нескольких санях по двое отправились на разные указанные нам участки фронта. Мы с Людмилою Владимировною ехали вместе. Был морозный солнечный день. На полях, покрытых белою пеленою, сверкали всеми цветами радуги снежинки. Когда мы проезжали мимо помещичьей усадьбы, в которой помещался какой-то штаб, высоко в воздухе показался германский аэроплан; русские начали обстреливать его; вокруг него появились белые облачка разрывающихся бомб, но аэроплан благополучно ушел от них.

Раздав подарки и произнеся соответствующую речь перед солдатами, мы с женою захотели побывать в передовом окопе. Перестрелки в это время не было; только раз или два над головами нашими прогудел снаряд. Нас провели в передовую линию, откуда мы видели в расстоянии не более полутора километров линию немецкого фронта. Стало тем-

но. Луна светила. Нас повели назад к саням сокращенным путем по замерзшему озеру. Днем там нельзя было бы идти: неприятель мог бы обстрелять нас. И теперь нас предупредили, что следует идти молча. Мы шли осторожно, однако один выстрел все же раздался, пока мы были на открытой поверхности озера.

Офицеры, с которыми нам случилось беседовать, были люди культурные, образованные. Их спокойствие и твердость духа производили сильное впечатление.

Часов в десять вечера все члены делегации съехались вместе и, сидя за чаем, оживленно обменивались впечатлениями. У жены моей от усталости разболелась голова; мы пошли с нею в свою комнату, она тотчас легла и уснула. Через несколько минут к нам постучали. Это была одна из участниц делегации, г-жа Харизоменова. Она встревоженно сообщила нам, что происходит налет немецких аэропланов на Двинск, и искала валериановых капель у кого-либо из членов делегации. Мы тоже взволновались, однако усталость взяла свое и мы скоро уснули, как убитые. На следующее утро мы видели дом, полуразрушенный сброшенною в эту ночь с аэроплана бомбою.

Учителя гимназии Стоюниной и родители учениц, делая ежемесячные взносы, устроили и содержали во время войны лазарет на 10 раненых; он обслуживал сравнительно легко раненых и выздоравливающих солдат. Таких лазаретов возникло много в Петербурге и других городах России. Людмила Владимировна, пройдя курс сестер милосердия, могла в свободное время помогать персоналу лазарета. Я приходил иногда беседовать с солдатами или читать им. Тяжело было видеть сибирских стрелков, храбрых людей богатырского сложения, которые были ранены под Варшавою, когда не было не только артиллерийских снарядов, но даже и патронов для винтовок, так что они защищали Россию буквально своею грудью. И тем не менее находились среди них люди, которые хотели скорее вылечиться, чтобы вернуться на фронт и продолжать воевать.

Но раздражение против правительства, в котором возможны были такие преступные министры, как Сухомлинов, все возрастало. Снабжение армии весьма улучшилось в 1916 году благодаря общественной самодеятельности и работе Сою-

за земств и городов. Тем временем разлад в правительстве и его бестолковость все очевиднее возрастали. Революционное брожение день ото дня усиливалось. Пошли слухи о подготовке дворцового переворота. 1 ноября лидер кадетской партии П. Н. Милюков произнес свою известную речь, в которой каждое обвинение правительства заканчивалось вопросом, что это — «глупость или измена?» 16-го декабря был убит Распутин в Юсуповском дворце при участии Великого князя Димитрия Павловича и такого крайне правого депутата Думы, как Пуришкевич. К сожалению, попытки верхов общества сменить верховную власть не успели осуществиться: в конце февраля стихийно началась революция, которая вскоре сделала невозможным продолжение войны. О жизни нашей в эту бедственную пору я расскажу позже, а теперь вернусь лет на семь назад, чтобы рассказать, как от гносеологии я перешел к занятиям метафизикою.

Глава шестая

ПЕРЕХОД ОТ ТЕОРИИ ЗНАНИЯ К МЕТАФИЗИКЕ

Длительные занятия проблемами теории знания и логики очень затруднили для меня разработку метафизической системы. Как только я приступал к обдумыванию какого-либо метафизического вопроса и начинал набрасывать заметки на бумаге, оказывалось, что я более занимаюсь условиями познаваемости того или иного предмета, чем самим предметом. К счастью, я давно уже был сторонником определенной метафизической системы, именно лейбницианского персонализма. Но мне предстояло глубоко переработать его в связи с моим интуитивизмом: нужно было выяснить интимную связь всех частей мира друг с другом, связь, благодаря которой познающее существо может нескромно заглядывать прямо в недра чужого бытия.

Мало того, передо мною стояла еще более значительная трудность в вопросе об отношении между общим и индивидуальным. Как сторонник персонализма, я признавал, что основное бытие, из которого состоит мир, суть действительные и потенциальные личности, то есть индивидуальные существа. Это была, так сказать, *номиналистическая* струя моей философии. Но в то же время размышления о проблемах логики давно уже привели меня к убеждению, что общее, то есть содержание общих понятий и объективный состав общих суждений есть бытие, именно бытие идеальное, то есть невременный и непространственный онтологический аспект мира, *тождественный* в различных предметах. Номиналистическая струя столкнулась в моем уме со средневековым реализмом (Begriffsrealismus). Столкновение это было тягостным, потому что отказаться от бытия общего значило бы отказаться от условий возможности достоверных общих суждений и впасть в саморазрушительный скептицизм. Но

признание бытия общего, по-видимому, должно было привести к подчинению единичного или даже индивидуального общему, тогда пришлось бы, вопреки очевидности, отказаться от онтологической самостоятельности индивидуумов, например человеческого я, и считать индивидуальные существа лишь вариантами общего бытия, которому они подчинены.

Метафизическую сторону этой проблемы стало необходимо разрешить лишь теперь, а логически-гносеологическая сторона занимала меня уже много лет, еще со времени студенчества. Напряженно обдумывая ее во время прогулок по набережным Невы или в окрестностях Петербурга, я сравнивал свое положение с тем, что писал о себе мой любимый философ Лейбниц, рассказывая, как он «гулял по целым дням в одной роще, чтобы сделать выбор между Аристотелем и Демокритом». Закончились его размышления не односторонним выбором между Демокритом и Аристотелем, а синтезом механистического и телеологически-спиритуалистического миропонимания. Достиг он его тогда, когда выработал понятие «индивидуальной субстанции» (в «Рассуждении о метафизике»), которую впоследствии он стал называть термином монада: каждая монада у него есть творческий источник и психических, и механических процессов.

Также и мне предстояло не выбирать между двумя односторонностями, а найти синтез их, именно синтез персоналистического индивидуализма с идеалистическим универсализмом. Для решения трудных вопросов, занимавших меня, я сознательно обращался к помощи прошлого философии, ища по крайней мере толчка или возбуждения мысли. С большим удовольствием прочитал я двухтомную «Историю метафизики» Эд. Гартманна. Из философов, которыми раньше я не занимался, мое внимание, как лейбницианца, направилось прежде всего на Лотце. Его философию я сделал предметом семинария в университете и на Высших Женских курсах в 1910—1911 году. Ничего нового поучительного в сравнении с тем, что я и раньше знал о нем, я не нашел. Его громадная книга «Микрокосм» поразила меня своим многословием и малою содержательностью.

Гораздо более поучительным и более приятным было чтение произведений Фихте, Шеллинга и Гегеля. Ряд перерабо-

ток „Wissenschaftslehre“, осуществленных Фихте после 1800 г., чрезвычайно заинтересовал меня тем, что Фихте в них, выработав учение об Абсолютном, как Божественном Ничто, ставит себе задачу найти необходимый для мысли переход от этого Сверхмирового начала к мировой множественности. В конце лекции он формулирует перед студентами эту задачу, как предмет дальнейших занятий, затем в следующей лекции опять проводит ту же работу с начала, заканчивает лекцию тою же проблемою с обещанием изложить ее в следующий раз, но и на следующей лекции повторяется то же самое, — и так чуть ли не раз десять подряд. Попытки дать решение проблемы, которые можно найти у Фихте, решительно не удовлетворяли меня, потому что они опираются на остатки гносеологизма у Фихте, именно на исследование условий возможности знания. Преодоление десяти томов первого отдела собрания сочинений Шеллинга дало мне мало нового в сравнении с теми ценными мыслями его, которые подмечены и изложены Куно-Фишером в томе его «Истории новой философии», посвященном Шеллингу и переведенном мною на русский язык. Зато чтение четырех томов его «Философии мифологии и откровения» было для меня увлекательно. Что касается Гегеля, я всегда высоко ценил его маленькую «Логику» (первую часть его «Энциклопедии философских наук» и считаю ее принадлежащею к числу величайших творений философской мысли. Кто знает, что совокупность произведений Фихте, Шеллинга и Гегеля составляет более сорока больших томов, тот будет поражен настойчивостью человека, преодолевшего это море страниц. Многие десятки этих страниц были убийственно скучны, но чтение их давало много поводов для обдумывания самых разнообразных проблем.

С трудами Бергсона я к этому времени хорошо познакомился и читал их с большим удовольствием. Живое видение творчески изменчивого бытия, присущее Бергсону, освежающе действует на современную философии, но в целом система его мало удовлетворительна, потому что у него нет понимания идеального бытия в платоновском смысле этого слова. Свое отношение к Бергсону я выразил в брошюре «Интуитивная философия Бергсона» (появилась в ноябре 1913 г.).

Уже во время подготовки к магистерскому экзамену, преодолевая грандиозные томы «Греческой философии» Эд. Целлера, я обратил особенное внимание на Плотина, как на первоклассного гения. Теперь я принялся за него вплотную и прочитал его «Эннеады» (собрание его сочинений). Чтение произведений этого философа почти сплошь было источником величайшего удовольствия, часто даже восторга.

Приближался юбилей Лейбница, умершего в ноябре 1716 года. Я задался целью проследить его колебания между психологистическою и реалистическою теориею материального процесса. Эд. Гартманн в своей «Истории метафизики» лишь вкратце указал на два возможные толкования его учения о материи, не пускаясь в подробности. Я прочитал все философские произведения Лейбница и все письма его, конспектируя их в хронологическом порядке. Проф. Введенский предложил мне прочитать доклад о Лейбнице в посвященном его юбилею заседании Философского Общества. Темою моего доклада было главным образом существование двух различных теорий материи у Лейбница.

С русскою философиею я, к стыду своему, как и большинство русских людей, почти вовсе не был знаком. Даже из трудов Вл. Соловьева мне были знакомы только «Критика отвлеченных начал», входившая в программу магистерского экзамена, «Оправдание добра», прочитанное мною в Геттингене, и «Три разговора». Конечно, я читал все труды А. А. Козлова, также «Положительные задачи философии» Лопатина.

В своих поисках соотношения между высшими и низшими этажами бытия я приходил к очень странным гипотезам. Например, некоторое время я носился с мыслью о двух или нескольких этажах времени: акт, совершающийся во времени высшего порядка, может, согласно этой гипотезе, охватывать, как нечто подчиненное себе, множество актов, протекающих во времени низшего порядка. Вскоре однако я отказался от этой хитроумной конструкции, поняв, что загадки бытия, приводившие меня к ней, разрешаются просто и естественно сверхвременностью субстанциональных деятелей: отвлеченные идеи, носимые ими, *невременны*, а действиям своим они придают *временную* форму и охватывают их сверхвременно, как целое.

Твердую почву под ногами я почувствовал тогда, когда установил различие между конкретно-идеальным и отвлеченно-идеальным бытием. Все трудности отношения между общим и единичным разрешались благодаря этому различению. К области *конкретно-идеального* принадлежат *индивидуальные я*, то есть сверхвременные и сверхпространственные субстанциальные деятели, наделенные творческою силою; они суть носители невременных *отвлеченных* идей, как формальных, например идей временных отношений, пространственных отношений, всевозможных математических идей, так и материальных, например, идеи гекзаметра, идеи готического стиля или идеи определенного типа жизни — лошадности, ландышевости, земной человечности. Все *общие* идеи принадлежат к области отвлеченно-идеального бытия и существуют они не иначе, как в составе конкретных субстанциальных деятелей: они *принадлежат* им, как первозданные формы их деятельности (например принципы строения времени, пространства и т. п.) или как выработанные ими самими правила деятельности (идея гекзаметра, лошадности и т. п.).

Субстанциальные деятели творят свои действия, то есть временные и пространственно-временные проявления *сообразно* носимым ими *отвлеченным идеям* (сообразно принципам строения времени и пространства, сообразно идее гекзаметра, идее лошадности и т. п.). Итак, единичные события подчинены *общим идеям*, именно принципам формы и общим правилам (например, правилам гекзаметра). Но сами эти общие идеи, в свою очередь, подчинены своим носителям, индивидуальным конкретным я, субстанциальным деятелям, которые применяют их для систематического осуществления своих деятельностей. Без творчески деятельных индивидуальных я общие отвлеченные идеи, которые пассивны и лишены творческой силы, оставались бы без применения, не были бы реализованы. Таким образом, в конечном итоге общее отвлеченное (формальные принципы, типы жизни и т. п.) оказывается подчиненным конкретному индивидуальному.

Индивидуальные деятели (конкретно-идеальное бытие), стоя выше и носимых ими общих идей и производимых ими единичных действий, служат *посредниками между общим и*

единичным: они творят единичные события сообразно тем или иным идеям, например поэт творит стихотворение сообразно правилам гекзаметра, ямба и т. п. и даже электрон творит свои действия отталкивания или притяжения сообразно носимым им принципам времени, пространства и математическим идеям. Мало того, даже идеи типов жизни, например электронность, кислородность, кристалличность горного хрусталя, амебность, лошадность, человечность, подчинены субстанциальным деятелям: один и тот же деятель начинает, может быть, с электронного типа жизни, а потом изобретает или усваивает более высокий идеал жизни и становится атомом кислорода, потом кристаллом горного хрусталя, амебою, лошадью, человеком.

Кроме решения вопроса об отношении между индивидуальным деятелем, его действиями и общими идеями, нужно еще было найти связь самих субстанциальных деятелей друг с другом. Уже в «Обосновании интуитивизма» было намечено учение о мире, как органическом целом, и, следовательно, поставлена задача найти онтологическую спайку между элементами мира. В теории знания эта спайка была установлена лишь, как координация познающего субъекта со всеми существами и процессами всего мира. Теперь предстояло найти условия существования самой этой координации.

В это время, в ноябре 1913 г., о. Павел Флоренский прислал мне свою только что вышедшую книгу «Столп и утверждение истины», которая дала мне толчок к завершению учения об органической связи деятелей друг с другом. В своей метафизике Флоренский использовал понятие единосущия для учения о связи не только Лиц Св. Троицы, но и для учения о связи тварных личностей друг с другом. Все системы органического миропонимания от Платона и Аристотеля до нашего времени, утверждая интимную связь всех мировых существ друг с другом, безотчетно пользуются понятием единосущия их. Большая заслуга Флоренского заключается в том, что он сознательно ввел понятие единосущия в онтологию мирового бытия; установив это подобие между строением мира и Св. Троицы, он сильно подвинул вперед разработку христианского миропонимания. Я подхватил мысль Флоренского о единосущии тварных личностей и,

задумавшись над вопросом о различии между единосущием Лиц Св. Троицы и единосущием тварных существ, пришел к различению понятий *конкретного* и *отвлеченного* единосущия. Тварные существа я понял, как спаянные друг с другом онтологически воедино тожественными формальными принципами деятельности их, принципами строения времени, пространства и т. п. Совокупность этих принципов, обусловливающих формальную разумность строения мира, я назвал Отвлеченным Логосом. Завершение этого учения в одном важном пункте, именно в вопросе о я, как тожественной форме «яйности» (Ichheit), мне удалось осуществить лишь теперь в 1939 г., когда я писал статью «Трансцендентально-феноменологический идеализм Гуссерля», содержащую опровержение учения о трансцендентальном я.

Уже тогда, когда я писал «Обоснование интуитивизма», для меня было ясно, что органическая связь деятелей предполагает наличие более высоко начала чем они, именно Абсолютного. Тогда же я пришел к убеждению, что Абсолютное должно быть металогическим, невыразимым в понятиях, применимых к мировому бытию. Теперь, когда встал на очередь вопрос об онтологической связи между Абсолютным и миром, мне стало ясно, что Божественное Ничто, с одной стороны, и система отвлеченно-единосущных мировых деятелей, с другой стороны, онтологически отделены друг от друга пропастью и не могут иметь даже и частично тожественного друг другу содержания. Отсюда с логическою необходимостью вытекает вывод, что обоснование мира Абсолютным правильно выражено в христианском учении, согласно которому мир сотворен Богом из ничего. Понимать это на первый взгляд загадочное учение нужно очень просто: творя мир, Бог не нуждается ни в каком материале вне Себя и не заимствует никакого содержания из Себя. Он творит мир *ни из чего*. Обоснование Им мира имеет характер *абсолютного творчества* в том смысле, что рядом с Собою Он создает нечто абсолютно новое, не тожественное Ему ни в каком отношении.

Когда общие основы метафизики определились в моем уме, поднялся вопрос о том, как озаглавить книгу. Наиболее подходило бы заглавие «Мир как целое». Но в русской литературе была книга с таким названием, написанная Н. Н.

Страховым. Однажды утром во время умывания, как это часто со мною бывало, мне пришло в голову удачное решение вопроса — назвать книгу «Мир как органическое целое».

Судя по заглавию труда Страхова, я подумал, что взгляды его близки к моим, взял из университетской библиотеку его книгу и принялся читать ее. Однако прочитал я из нее только несколько страниц: у меня получилось впечатление, что написана она вяло, неталантливо и не достаточно определенно.

Свою книгу «Мир как органическое целое» я напечатал в 1915 г. в «Вопросах философии и психологии», а в 1917 г. она была издана в Москве Леманом и Сахаровым.

Оглядываясь на свои работы по психологии, теории знания и метафизике, я нахожу в них синтез противоположностей, на первый взгляд трудно совместимых. Интуитивизм и волюнтаризм кажутся несовместимыми друг с другом: волюнтаризм подчеркивает волевую творческую активность субъекта, а учение о знании, как интуиции, то есть созерцании субъектом познаваемого бытия в подлиннике, низводит активность субъекта при восприятии и мышлении до крайних пределов. В действительности, как это было уже разъяснено выше, именно интуитивистическое учение о природе восприятия облегчает задачу выработать волюнтаристическую систему психологии: не все сознаваемое мною сотворено моею волею; что же касается малой активности субъекта в процессе знания, она все же есть *волевой* акт, только этот акт состоит не в том, что субъект *творит* содержание восприятия и мышления, а в том, что он свободно *выбирает*, какие предметы, данные в подсознании, следует подвергнуть опознанию.

Метафизическую систему свою я называю *идеал-реализмом*. Это название означает, что *реальное* бытие, то есть временные и пространственно-временные события, возникают и существуют не иначе, как на основе *идеального*, то есть невременного и непространственного бытия: сверхвременные и сверхпространственные деятели творят свои проявления, придавая им логическое (согласно логически-онтологическим законам мышления), временное и пространственное оформление. Вследствие такого строения мира становится понятным, что выработанная мною теория знания, интуити-

визм, есть органический синтез эмпиризма и рационализма: всякое знание, будучи непосредственным созерцанием живого бытия, которое само в себе содержит *логически-онтологическое оформление*, насквозь основано *на опыте* и вместе с тем оно насквозь *логически обосновано*.

Благодаря учению о том, что общие отвлеченные идеи подчинены индивидуальным субстанциональным деятелям, достигнут, как уже пояснено выше, синтез ценных сторон *номинализма* с ценными сторонами *средневекового реализма*, то есть учения о бытии общих идей.

Глава седьмая

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

После опыта революции 1905 года я понял, что революционный переворот, сполна опрокидывающий историческую государственную власть, есть величайшее бедствие в жизни народа. Поэтому февральская революция 1917 года вызвала во мне чувство ужаса. У меня было мистическое восприятие исчезновения государственной организующей силы, социальной пустоты на ее месте.[21]

В апреле в Петербург приехал из Швейцарии Ленин и тотчас начал пропаганду против Временного правительства. Уже в конце апреля, идя по Литейному проспекту, я встретил демонстрацию с красными флагами и лозунгами против «буржуазного» правительства. Особенно ненавистны были большевикам министры Милюков и Гучков, которые и подали в отставку в начале мая.

Социалисты устраивали минтинги, организовывали школы для подготовки пропагандистов своих идей. Я счел себя обязанным принять участие в политической жизни и сказал А. А. Корнилову, члену Центрального Комитета партии «кадетов» (конституционно-демократической партии, партии народной свободы), что нам необходимо тоже устроить школу, в которой излагались бы и защищались идеалы нашей партии. Корнилов доложил об этом Центральному Комитету и такую школу было поручено организовать жене профессора Жижиленко и мне. Работа эта оказалась чрезвычайно сложною и трудною. Все другие занятия пришлось отложить в сторону и целые дни проводить в подыскании лекторов, помещений, скамеек и стульев для устройства наших митингов и т. п. На одном из таких митингов я говорил, между прочим, что в борьбе против капитализма можно резко осуждать капиталистическую эксплуатацию труда капиталом, но, конеч-

но, необходимо сохранять уважение к личности капиталиста. Я считал это положение истиною, столь прочно обоснованною этически, что не может быть сомнения в ней. На первой скамье против меня сидела молодая интеллигентка, хорошо одетая; на лице ее я прочитал насмешливо отрицательное отношение к моей мысли. Ясно было, что фанатики-революционеры — люди с другой планеты, с которыми нельзя найти общего языка.

В нормальное время я много работал летом для подготовки лекций и семинария на будущий учебный год. Быть вне философской работы и отдавать все время мелочам организации политических лекций стало для меня невыносимо. Недель через шесть я отказался от ведения этой работы и она была передана другому лицу. Освободившись от нее, я тотчас принялся за чтение литературы о свободе воли, собираясь устроить семинарий, посвященный этой проблеме. Однако еще две общественные работы, интересные для меня, я выполнил в это время. У партии народной свободы был своего рода катехизис, брошюра, написанная профессором Московского университета Кизеветтером, русским историком. Присматриваясь к кратким и заманчивым лозунгам партии социалистов-революционеров, я решил написать брошюру с популярным изложением программы партии народной свободы. Она была напечатана под заглавием «Чего хочет партия народной свободы?». Кроме того мною была написана статья «О социализме» и напечатана летом 1917 г. в «Вестнике партии народной свободы». В этой статье я высказывал сочувствие английскому фабианскому социализму, задававшемуся целью осуществить социализм путем эволюционным, а не революционным. Я говорил в ней, что эволюционный путь приведет не к социализму, а к выработке новой формы экономического строя, сочетающей ценные стороны индивидуалистического хозяйства с ценными сторонами коллективистического идеала социалистов.

27 мая (старого стиля) родился в нашей семье сын Андрей. Однажды, когда жена моя еще лежала в постели после родов и я стоял у ее кровати, я услышал на улице топот копыт множества лошадей. Подбежав к окну, я увидел, что оседланные лошади без всадников мчатся в беспорядке по нашей улице. Они выбежали с Ивановской улицы, соседней

с нами. Там находилась редакция только что основанной газеты ,кажется «Воля», имевшей большие средства от влиятельной буржуазии и предназначенной для борьбы против крайних революционных партий. Правительство получило сведения о том, что большевики собираются овладеть помещением газеты и разгромить ее. Для защиты газеты был отправлен отряд казаков. Спешившись, казаки пошли поблизости в ресторан, полагаясь на то, что их дисциплинированные лошади будут стоять смирно. Большевики спугнули лошадей и они бросились бежать. Кончилось дело тем, что большевики овладели помещением газеты и Временное правительство не могло справиться с ними. С каждою неделею все яснее обнаруживалась неспособность правительства обуздать большевиков. Ему необходимо было опереться на какую-либо надежную часть. Русский историк Мстислав Вячеславович Шахматов, племянник известного адвоката Шахматова, рассказывал мне в Праге, что он однажды был свидетелем следующего случая. Служа в секретариате Государственного Совета, он находился в Мариинском дворце где в это время происходило заседание министров Временного правительства. Во дворец явилась делегация Георгиевских кавалеров, вызвавшая к себе для переговора Милюкова. Шахматов стоял в зале за колонною и слышал, как делегаты сообщали, что они могут образовать военный отряд для поддержки Временного правительства. Милюков отклонил их предложение. Через несколько лет после этого рассказа Шахматова я воспользовался приездом Милюкова в Прагу и спросил у него, почему он отклонил предложение делегации Георгиевских кавалеров. Он ответил, что правительство не могло принять услуг случайно явившейся к нему делегации, члены которой не были ему известны.

Спасти правительство в конце лета мог только генерал Корнилов, шедший в Петербург со своею дивизиею, чтобы очистить город от большевиков, но предприятие этого замечательного генерала-демократа не удалось, главным образом, по вине Керенского. Вскоре после неудавшегося похода Корнилова большевики, руководимые Лениным и Троцким, свергли 25 октября (старого стиля) Временное правительство и захватили власть. Все интеллигентное общество, стоявшее вне революционных кругов, было уверено, что пар-

тия, увлеченная фантастически утопическим планом Ленина, осуществить социализм в экономически отсталой стране и состоящая из лиц, не знакомых с практикою государственной деятельности, продержится у власти не более двух-трех недель. Начались небольшие забастовки; и мы, профессора университета, тоже забастовали. Однако через три недели никаких сил для свержения большевиков не оказалось, и наша забастовка прекратилась.

Большевицкое правительство объявило, что все население должно сдать имеющееся у него оружие в течение трех дней под страхом смертной казни в случае невыполнения этого требования. У меня был браунинг, у сыновей два немецких тесака, которые были подарены им русскими ранеными солдатами. Мы не хотели отдать это оружие захватчикам власти. Мальчики бросили свои тесаки в четвертом этаже в трубу вентилятора, но оказалось, что они, долетев до третьего этажа, застряли в трубе и конец тесака торчал из вентилятора. Тогда они сбросили их в трубу в первом этаже и тесаки попали в подвал, затопленный водою после осеннего наводнения Невы. Браунинг мы с женою хотели бросить в Фонтанку или в Неву. Но оказалось, что это нелегко сделать так, чтобы остаться незамеченным. Поэтому мы обернули его клеенкою, поехали в Павловск и закопали его в парке под корнями высокой сосны.

В демонстрации в защиту Учредительного собрания мы с женою, конечно, участвовали; она не помогла. Собрание это было без труда разогнано большевицким правительством. Началась скучная беспросветная жизнь под давлением большевицкого деспотизма. Тяжелое несчастие обрушилось в это время на нашу семью. Наша десятилетняя дочь Маруся, ангельский характер которой восхищал всех знавших ее, заболела в октябре 1918 года. Женщина врач, обслуживавшая гимназию, приняла ее болезнь за грипп. На четвертый день мы пригласили доктора Белоголового. Он заметил отек в ее горле и посоветовал пригласить ларинголога. К вечеру нам удалось добиться приезда ларинголога. Взглянув в глубину горла посредством зеркальца, он сказал, что у дочери нашей дифтерит, тяжелая форма этой болезни, называемая круппом. Это дифтерит на голосовых связках в глубине горла. Россия в это время была оторвана от всего культурного ми-

ра. Сыпной тиф, дифтерит, дизентерия косили множество жизней. Лекарств против этих болезней почти невозможно было достать. Нам удалось добыть антидифтеритную прививку, но было уже поздно, и наша дочь на следующее утро умерла. Пригласили священника отслужить панихиду. Эта служба начинается словами «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Эти слова, выражающие убеждение в том, что все случающееся в нашей жизни, руководимой Провидением, имеет глубокий смысл, производ-
дят в такой обстановке потрясающее впечатление.[22]

Священник, приглашенный нами, оказался высоко культурным человеком. Он переводил стихами латинских поэтов и сам писал стихи. Он подарил нам свой «Венец сонетов Божией Матери».

Наша дочь похоронена была на Волковом кладбище в могиле деда ее Владимира Яковлевича Стоюнина, на которой стоит красивый памятник, крест из черного гранита. Кладбище это дорого русскому человеку тем, что на нем похоронены многие видные деятели русской культуры, например критик Белинский, Тургенев.

В конце февраля 1919 года, когда мы находились на могиле Маруси, у меня было удивительное мистическое восприятие. Был солнечный предвесенний день; на небе были небольшие светлые облака; в сочетании берез с облаками я воспринял отчетливо милую улыбку нашей дочери. Такое переживание легче всего объяснить, как сочетание объективного восприятия берез и облаков на небе с субъективным образом фантазии. Но сторонник органического учения о строении мира может допустить, что умершее лицо способно совершать акты преходящего воплощения в различные отрезки природы и через них вступать в общение с нами. Самый талантливый из моих учеников, Д. В. Болдырев, усвоивший гносеологию интуитивизма, задался целью разрабо-
тать учение о фантазии, как в*и*дении предметов иного мира. С этою целью он провел лето 1914 г. в Пиринеях, желая пожить вблизи Лурда в той природе, среди которой Бернадетта имела видение Божией Матери. Свои наблюдения Болдырев изложил в статье «Огненная купель» (Русская Мысль, 1915).

В течение года владычества большевиков промышленность была разрушена. Запасы пищевых продуктов, например су-

шеной воблы, которою прежде питались рабочие, были в Петербурге съедены и начался голод. В больших городах появилось людоедство. В 1933 году в начале насильственной организации колхозов людоедство опять возобновилось, но уже среди крестьян, когда голодали жители самых плодородных провинций России, Малороссии и Северного Кавказа. Голод этот был умышленно организован правительством, чтобы сломить волю крестьян, сопротивлявшихся введению колхозов.

Для отопления Петербурга в окрестных губерниях производились до революции грандиозные заготовки дров; нарубленные поленья должны были сохнуть в течение года. Эта важная отрасль промышленности, как и вся хозяйственная жизнь России, была разрушена, и мы начали мучительно страдать от холода. Вся наша большая семья поместилась в трех смежных комнатах, в которых удавалось поддерживать температуру на уровне 3° С. Работать приходилось сидя в шубе, с шляпою на голове. Почти все деревянные дома и заборы были использованы для отопления. Было время, когда электричество подавалось только на самое короткое время, а вода не поднималась выше третьего этажа. В университете я читал лекции в шубе и шапке, при освещении аудитории свечею, приносимою одной из слушательниц.

На юге России образовалась добровольческая армия против большевиков и началась гражданская война. Когда армия генерала Деникина вошла в Орел и ожидалось наступление ее на Москву, велики были надежды наши на освобождение от большевиков и тем горестнее было разочарование, вызванное катастрофическим отступлением ее. Такое же разочарование испытали мы, когда разъезды армии Юденича появились уже в предместье Петербурга, и тем не менее поход этого генерала закончился неудачею. Надежда на падение большевицкого правительства окончательно исчезла, когда армия адмирала Колчака, продвинувшаяся из Сибири до Глазова на Волге, вынуждена была стремительно отступать и была разбита большевиками.

В Перми в армию Колчака вступил Д. В. Болдырев, который был в это время приват-доцентом Пермского университета. Он организовал крестоносные отряды для борьбы с большевиками и, надевея стихарь, проповедовал защиту ре-

лигии и родины против безбожной и бесчеловечной власти. Между тем в Иркутске в январе 1920 г. образовалось очень левое правительство Политический центр, состоявший главным образом из социалистов-революционеров и меньшевиков. Колчак, отступая из Омска в Иркутск, пользовался поездами железной дороги, находившейся в руках чехословацких легионеров, командиром которых был генерал Syrovy. Этот генерал, в свою очередь, был подчинен начальнику Французской Военной Миссии в Сибири генералу Maurice Janin. Генерал Janin дал право генералу Сыровому поступить с Колчаком по своему усмотрению, и чехословаки выдали Колчака Политическому центру, ктоорый передал его большевицкому правительству.*

Д. В. Болдырев отправил свою жену и двухлетнего сына во Владивосток, а сам остался с Колчаком. Он был бы расстрелян вместе с Колчаком, если бы не заболел сыпным тифом и умер в тюремном госпитале в Иркутске. О его предсмертной молитве и кончине я сообщил в некрологе, напечатанном в журнале «Мысль» (1921 г., № 1).

Большевицкий террор становился все более жестоким. Моя жена была однажды по делам гимназии Стоюниной в канцелярии начальника учебных заведений. Ожидая приема, она слышала рассказ этого начальника о том, что он накануне вернулся из Тверской губернии, куда ездил руководить «красною неделею». Комиссар, присланный откуда-либо из центра, призывал к себе начальника уезда и распоряжался, чтобы в течение недели было расстреляно такое-то число лиц. Кого именно расстрелять, определялось следующим образом, согласно рассказу, слышанному моею женою. Начальник уезда принес комиссару тетрадь со списком имен священников, бывших офицеров, помещиков, фабрикантов, вообще лиц, считавшихся по своему душевному строю неспособными стать строителями коммунизма. Комиссар, перелистывая тетрадь, тыкал пальцами наугад на ту или другую строку; на чье имя случайно попадал палец, тот и подлежал расстрелу.

В той же канцелярии происходил однажды такой разговор.

---

* The Testimony of Kolchak and other Siberian materials. Ed. by E. Varneck and H. H. Fisher, 1935, Stanford University Press, p. 215.

Кто-то стал хвалить гимназию Стоюниной, говоря, что в ней воспитание детей индивидуализируется: «Стоюнина, учителя и воспитатели принимают во внимание характер каждой ученицы и каждого ученика; в школе Стоюниной все отношения имеют семейный характер» (мальчики в это время принимались в гимназию, потому что большевики ввели совместное обучение детей обоего пола; теперь они отменили совместное обучение). Начальник учебных заведений, выслушав такие похвалы, сказал: «Семейные отношения в школе это — вредный буржуазный порядок; воспитывать всех учащихся нужно в одном и том же духе».

Приблизительно в 1919 г. Андрей Белый позвонил мне по телефону и предложил прочитать публичную лекцию в основанной им Вольной Философской Академии, которая сокращенно называлась Вольфила. Условлено было, что я прочитаю лекцию на тему «Бог в системе органического миропонимания». По всему Петербургу были расклеены объявления о ней. Она состоялась у «обдисков»; так назывались «обитатели дома искусства». Это был громадный дом, отнятый, кажется, у Елисеева и предоставленный деятелям искусства. Большой зал был полон народа. В первых рядах сидели интеллигенты, жаждавшие услышать лекцию против атеизма; у выхода из зала стаяли матросы и красноармейцы, пришедшие поздно и не нашедшие уже свободных стульев. После лекции состоялись прения. Андрей Белый расхвалил мою лекцию, сказав, что он со мною вполне согласен и начал излагать, в чем состоит это согласие. Он преподнес свое понимание Бога, конечно ,в духе пантеизма, следовательно, глубоко искажая смысл моей лекции. После него говорил доктор медицины Шапиро. «Профессор Лосский», сказал он, «излагал туманные мистические учения о Боге. К чему все это? Вопрос решается очень просто: материя есть Бог. В самом деле, подумайте только, какими удивительными свойствами она обладает. Ласточка, например, вьет свое гнездо инстинктивно, не обучаясь этому искусству; своих птенцов она вместе с самцом кормит не жалея своих сил». Слушая это упрощенное решение вопроса о Боге, интеллигенты, сидевшие в первых рядах, не могли удержаться от смеха. Доктор Шапиро обиделся и сказал: «Я много читал лекций в народных университетах, и никто не встречал их смехом».

В заключение попросил слова матрос, один из тех, кого Троцкий назвал «краса и гордость революции». Это был мужчина высокого роста и могучего сложения. Он стоял в группе таких же, как он, молодцов матросов. «Профессор Лосский говорит о Боге что-то непонятное и ненужное. Где Бог? — Бог — это я», провозгласил он, тыкая себя рукою в грудь. «Боги — это они», указал он на своих товарищей.[23]

Люди, сбитые с толку большевиками, свирепо ненавидели в это время религию и всякое упоминание о сверхземном бытии. На одном концерте артист пел романс Рахманинова «Христос воскрес поют во храме». Один из слушателей выстрелил в певца, но, к счастью, не попал в него.

Через несколько дней после моей лекции ко мне позвонили из правления Вольфилы и предложили стать членом этого общества. Я спросил о цели Вольфилы. Мне ответили, что задача Вольфилы — разрабатывать идеи социализма и содействовать распространению их. Я сказал, что я не социалист и поэтому не могу быть членом Вольфилы. Меня попросили прийти в правление, чтобы обстоятельно обсудить вопрос. В правлении меня встретила моя бывшая слушательница Эсфирь Захарьевна Гурлянд и выразила удивление, как можно найти какие-либо возражения против социализма. «К тому же», сказала она, «вы сами писали в Вестнике партии народной свободы, что сочувствуете фабианскому социализму». — «Да», ответил я, «но в своей статье я пояснил, что сочувствую эволюционному фабианскому социализму потому, что на пути эволюции он приведет не к социализму, а к более сложному экономическому строю, сочетающему ценные стороны индивидуалистического и социалистического хозяйства». Таким образом мне удалось избежать включения в Вольфилу.

Кажется, в 1920 г. мне было предложено прочитать курс «Введения в философию» в Народном университете на Шлиссельбургском тракту. В виде платы за лекцию профессор получал несколько фунтов черного хлеба, ароматного, хорошо выпеченного. Для нашей голодающей семьи это был ценный подарок, дороже золота. По дороге в Народный университет я заходил на Шлиссельбургском тракту в церковь. Случалось при этом попадать на богослужение и, так как я вну-

тренне уже вернулся к Церкви, этот процесс завершился окончательным присоединением к ней.

В Народном университете до революции слушателями были рабочие. Теперь, после большевицкой революции, многие рабочие получили квартиры в городе, сообщение с окраинами города было очень затруднено и потому оказалось, что моими слушателями были народные учителя и учительницы, фельдшера и фельдшерицы и т. п. полуинтеллигенты, жившие вблизи университета. Только один мой слушатель оказался рабочим. В молодости он был религиозным человеком, но во время гражданской войны, будучи солдатом красной армии, он под влиянием большевицкой пропаганды стал атеистом. Как только он вернулся из армии в Петербург, он увидел объявление о моей лекции в Вольфиле, пошел на нее и после этого вернулся к религии. Рабочий этот жил не на окраине, а внутри Петербурга. После лекции мы с ним шли вместе по пустынному Шлиссельбургскому тракту и благодаря такому спутнику я был спасен от опасности грабежа и даже убийства. В то время на таких улицах часто происходили убийства с целью овладеть платьем прохожего.

Приблизительно в то же время меня пригласили в Великом посту сказать слово в церкви, кажется, св. Екатерины, которая находилась в рабочем квартале где-то за Экспедициею Заготовления Государственных Бумаг. В церкви этой молился простой народ. Мое слово о том, что ошибаются люди, отрицающие бытие Бога, вряд ли было понятно моим слушателям, но им приятно было видеть, что ученый человек твердо убежден, как и они, в существовании Бога. Я говорил с высокого амвона и видел, что около него стоит группа молодых людей. Это были комсомольцы со своим вожаком во главе. Когда я кончил слово и сошел с амвона, вожак комсомольцев взбежал на него и начал свою антирелигиозную пропаганду. Чтобы заглушить его речь, молящиеся запели «Царю Небесный»; комсомолец в свою очередь дал знак своим товарищам и они запели Интернационал. Тогда возмущенный народ вытолкал их из церкви. Они побежали в казарму матросов и вызвали их для борьбы с верующим народом. Меня вывели из церкви боковым ходом и дали мне провожатым почтенного старого рабочего Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг. Побоища не было, потому что народ

быстро разошелся из церкви. Говорили потом, что предводитель комсомольцев получил выговор от своего начальства за бестактное поведение.

Семья наша, голодавшая в течение двух лет, вся была обречена на гибель, как и многие другие семьи интеллигентов. Спасла нас от смерти американская организация ARA (American Relief Association), устроившая в 1921 г. свои отделения по всей России. Лица, желавшие помочь голодающим, вносили в эту организацию 10 долларов, указывая адрес, кому они хотели послать продовольствие. ARA доставляла по данному ей адресу трехпудовую посылку, содержащую в себе муку, рис, жиры, жестянки с молоком и т. п. драгоценные продукты. Наша семья, имевшая друзей в Западной Европе, стала получать ежемесячно такую посылку. Мы и многие другие интеллигенты были таким образом спасены от гибели. Наш маленький Андрей, указывая на жестянку с молоком, спросил, что на ней написано. Я сказал, что надпись на ней английская, и в ней говорится о молоке из Америки. Андрей тогда заявил, что он будет учиться английскому языку. И действительно, через два года после этого первый иностранный язык, которому он стал обучаться, был английский.

Благодаря улучшившемуся питанию силы русской интеллигенции начали возрождаться и потому явилось стремление отдавать часть их на творческую работу. Прежде, когда мы были крайне истощены голодом и холодом, когда не ходили трамваи и не было извозчиков, профессора могли только дойти пешком до университета, прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в изнеможении лежать час или два, чтобы восстановить силы. Теперь появилось у нас желание устраивать собрания научных обществ и вновь основать журналы взамен прекративших свое существование изданий. Экономисты основали журнал. Петербургское Философское общество стало издавать философский журнал «Мысль». Редакторами его были избраны Э. Л. Радлов и я. Мы успели напечатать три номера; четвертый номер был уже набран, но не появился в свет: большевицкое правительство запретило наш журнал. Между прочим, в этом номере должна была появиться моя критика теории знания большевика Богданова, именно его «Философии живого опыта».

До осени 1921 г. большевицкое правительство мало вмешивалось в преподавание, по крайней мере, философских наук. Я мог продолжать свою работу вполне в том духе, как и до революции. Например, в 1919/20 году я читал курс «Фихте, Шеллинг, Гегель». В 1918/19 темою семинария у меня была «Проблема свободы воли»; в 1920/21 я даже устроил просеминарий «Материализм, гилозоизм, витализм» с целью борьбы против материализма. В течение трех лет большевицкое правительство подготовило кадры «красных профессоров» для многих наук и осенью 1921 г. в Москве состоялось заседание Государственного Ученого Совета (ГУС) для решения вопроса, каких профессоров следует удалить из университетов. Председательствовал в этом собрании М. Н. Покровский. Когда очередь дошла до моего имени, кто-то из членов ГУСа сказал: «Лосский защищает догмат Троичности; такой профессор не может быть терпим в университете». Он имел в виду мою книгу «Мир как органическое целое», напечатанную сначала в «Вопросах философии и психологии» в 1915 году, а потом отдельною книгою. В ней я писал только, что Абсолютное есть сверхличное бытие, а потому ему доступно личное и даже трехличное бытие. В то время, когда я писал эту книгу, я был вне Церкви, медленно приближался к ней и высказал эту мысль лишь мимоходом. Узнав о ней, Покровский сказал: «Посмотрим, что сказано о Лосском в энциклопедическом словаре». Он взял в руки второе издание словаря Брокгауза и Ефрона и прочитал о том, что я был изгнан из гимназии «за пропаганду атеизма и социализма». «В таком случае у Лосского есть заслуги», сказал Покровский и решил, что меня нужно удалить из университета, но включить в число членов Научно-исследовательского института.

После этого заседания кафедра философии Петербургского университета была совершенно разгромлена: были удалены все приват-доценты и два профессора, Лапшин и я. Оставлен был профессором только А. И. Введенский, но в дополнение к нему назначен был профессором молодой человек Боричевский, которому, между прочим, было поручено, когда Введенский объявит курс Логики, читать тоже параллельный курс Логики.

Этот Боричевский был послан большевиками за границу

для получения философского образования. Ему удалось быть принятым в Лозаннский университет, где он занялся изучением философии Эпикура. Вернувшись в Россию, он стал читать публичные лекции на такие, например, темы: «Спиноза как материалист». Его знания в области философии были крайне ограниченны. Когда он говорил, например, о философии Платона, студенты подмечали его ошибки и насмехались над ним.

Узнав о своей отставке, я переживал этот акт большевицкого правительства, как незаслуженную мною обиду. Дней через пять после этого, в день Успения Божией Матери, у меня началась желчнокаменная болезнь. Первые припадки прохождения желчного камня через желчный проток, обнаруживающие наличность этой болезни, нередко возникают после сильных душевных потрясений. Болезнь моя была очень тяжелою. Почти после каждой еды у меня начиналось болезненное прохождение желчного камня. Врачи предписали постельный режим и я пролежал почти четыре месяца. Перед Рождеством припадки прекратились и я начал поправляться. В это время ко мне приехал актер Гайдебуров, глава труппы, дававшей спектакли в театре при Народном доме графини Паниной. Он сказал мне, что в их театре будет в двухсотый раз представлена драма Бьернстерне-Бьернсона «Свыше нашей силы», и он просит меня высказать перед началом спектакля свое мнение о смысле этой драмы. Я охотно принял его предложение.

В театре Гайдебурова исполнялась первая часть этой драмы, представляющей собою трилогию. В первой части изображена жизнь семьи норвежского пастора, пламенно верующего христианина, обладающего силою чудесного исцеления больных. Дети пастора, сын и дочь, наблюдая современную им общественную жизнь, пришли к убеждению, что только их отец — настоящий христианин, а остальные люди — безнадежные эгоисты; пэотому идеал поведения, проповеданный Христом, — свыше силы человека, и улучшение человеческой жизни может быть достигнуто лишь земными средствами, именно путем социалистической революции. Во второй и третьей части этой драмы дети пастора после социалистической революции разочаровываются в ней, видя, что она не ведет к осуществлению идеала добра. Эти части дра-

мы художественно слабы и не годятся для исполнения в театре. Мария Николаевна Стоюнина, зная, что первая часть драмы, исполняемая в театре Гайдебурова, представляет собою значительное художественное произведение, однажды купила билеты для старших классов гимназии, и мы, учителя, вместе с ученицами, видели эту пьесу. Впечатление, производимое ею, было так сильно, что по окончании спектакля аплодисментов не было, все оставались на своих местах и начинали расходиться лишь тогда, когда служители гасили свет.

Когда я приехал в театр, оказалось, что перед началом спектакля будут говорить о значении драмы несколько лиц с различных точек зрения. Первою говорила товарищ Ядвига, которая была в то время председательницею Союза безбожников. Она приехала в театр с целою свитою большевицких деятелей. Когда дошла очередь до меня, я начал говорить, что христианский идеал кажется неосуществимым и потому бессмысленным тем лицам, которые воображают, будто весь мир состоит только из царства бытия, изучаемого физикою, химиею, физиологиею, и не допускают возможности более высоких форм бытия. Как только стало ясно, что я буду защищать христианскую идею Царства Божия, как реализации абсолютного добра, товарищ Ядвига и вся ее свита, с шумом поднявшись со своих мест, уехали из театра. После моей речи подошел к Гайдебурову социолог Питирим Александрович Сорокин и попросил слова. Он говорил о том, что задача русского народа состоит в том, чтобы осуществить идеал, начертанный святым Нилом Сорским, Достоевским, Львом Толстым.[24]

В январе 1922 года болезнь моя после передышки, длившейся только один месяц, возобновилась с еще большею силою, чем прежде. Мне опять пришлось лежать в постели. Я исхудал до такой степени, что, казалось, у меня остались только кожа и кости. Во время одного из припадков желчный камень застрял в желчном протоке и при каждом дыхании я испытывал значительную боль. Желчь не могла поступать из желчного пузыря в кишечник и у меня началась желтуха. Я и лечивший меня доктор Аладьин пришли к мысли, что необходима операция. Ко мне пришел хирург П., профессор Военно-Медицинской Академии. Прощупав об-

ласть печени, он признал необходимость операции. Удаление желчного пузыря, говорил он, операция легкая, но в данном случае придется произвести, кроме того, еще и вскрытие желчного протока, вслед затем необходим будет дренаж, и заживление оперированного места произойдет лишь через несколько недель. Был конец Страстной недели и потому профессор предложил моей жене привести меня в клинику после Пасхи. Я был крайне истощен и думаю, что после этой операции вряд ли остался бы в живых. К счастью, однако, через два часа после визита хирурга желчный камень сам прошел через проток.

В это время по всей России большевицкое правительство производило изъятие церковных ценностей под предлогом необходимости использовать церковные богатства для помощи голодающим. Патриарх Тихон и епископы обратились к верующим с просьбою жертвовать золото и другие ценности с тем, что они будут употреблены на помощь голодающим и таким образом Церковь спасет от конфискации такие ценные священные предметы, как, например, дарохранительницы. В день Благовещения Божией Матери я обратился к своей жене с просьбою пойти, кажется, в Казанский собор и пожертвовать некоторые из наших ценных вещей. Я убеждал свою жену сделать это пожертвование, испытывая сильное волнение, и, когда она согласилась исполнить мою просьбу, я почувствовал во всем теле своем какое-то своеобразное переживание счастливой удовлетворенной цельности. С этого момента я исцелился от своей болезни; желтуха пройла и, когда на третий день Пасхи моя жена отправилась в клинику и рассказала профессору, что желтухи больше нет и я чувствую себя хорошо, он признал, что можно обойтись без операции. Вспоминая начало и конец своей болезни, я нахожу, что и возникновение ее и внезапное исцеление от нее как-то связаны с моим отношением к Божией Матери.

Хотя припадков желчнокаменной болезни у меня больше не было, все же доктора советовали мне поехать лечиться в Карлсбад, чтобы упрочить нормальное состояние печени. Я начал хлопотать о разрешении мне поездки в Чехословакию. Прошение об этом надо было послать в Москву. После трех месяцев хлопот получено было извещение, что заграничный паспорт будет выдан мне после усплаты за него что-то вро-

де 50 тысяч рублей: инфляция в это время чрезвычайно обесценила деньги.

Что касается визы в Чехословакию, она была дана мне легко. Первый президент Чехословакии Томас Масарик, бывший раньше профессором философии Чешского Карлова университета в Праге, был знаком со мною. Летом 1917 г. он приезжал в Петербург и сделал мне визит. Я написал ему о своей болезни, прося его распорядиться дать мне визу, и разрешение на въезд было дано.

Летом 1922 г. происходил в связи с изъятием церковных ценностей «показательный процесс» против митрополита Вениамина и нескольких других деятелей Церкви. Главным обвинителем на этом процессе был вождь так называемой «Живой церкви» священник Александр Введенский, который мстил митрополиту за его отрицательное отношение к Живой церкви. В книге священника Кирилла Зайцева «Православная Церковь в Советской России» (Шанхай, 1947) сказано, что А. Введенский — «крещеный еврей» (стр. 116). Не знаю, какой безответственный антисемит ввел в заблуждение св. Зайцева и пустил в ход такую нелепую выдумку. О происхождении этого Введенского мна подробно рассказал священник Пищулин, учившийся вместе с Введенским в Витебской гимназии и бывший его другом, но разошедшийся с ним, когда Введенский стал живоцерковцем. От. Пищулин сообщил мне, что Александр Введенский был сыном директора Витебской классической гимназии. Отсюда ясно, что не только священник Введенский, но и отец его не мог быть крещеным евреем. Живой характер Александра Введенского, экзальтированное богослужение его Пищулин объяснял струею африканской крови в его теле. Его мать была дочерью истопника Михайловского дворца. Истопник этот был родом из Эфиопии.[25]

На интеллигенцию летом 1922 г. надвигалась новая гроза, о которой никто из нас ничего не подозревал. Зиновьев, начальник Петербурга и Северо-Западного края, донес в Москву, что интеллигенция начинает поднимать голову. Он писал, что различные группы интеллигенции начинают основывать журналы и общества; они еще действуют разрозненно, но со временем объединятся и тогда будут представлять собою значительную силу. Московское правительство реши-

ло поэтому произвести по всей России аресты видных ученых, писателей и общественных деятелей, что и было произведено 16 августа 1922 года.

Лето этого года наша семья проводила в Царском Селе. В этом городе жил в своем доме писатель Иванов-Разумник (его имя отчество Разумник Васильевич). Он пригласил Марию Николаевну и меня 15 августа провести у него вечер, говоря, что мы встретимся у него с поэтом Клюевым и писательницею Ольгою Форш. Клюев прочитал нам свою поэму, живо изображающую крестьянский быт на севере России, а О. Форш рассказала о том, как она была на антирелигиозном митинге. В защиту религии и бытия Бога выступал на этом митинге священник Александр Введенский. Позади О. Форш сидел какой-то протодиакон с могучим басом. Наблюдая подвижность Введенского, он провозглосил: «Егозлив, аки бес!»

На следующий день мною было получено извещение о том, что я должен явиться на Гороховую улицу в помещение Чека. Думая, что меня вызывают ради какой-либо формальности при получении заграничного паспорта, я пошел в Чека не испытывая никакой тревоги. Но как только я вошел туда, мне стало ясно, что я арестован. Меня повели в один из верхних этажей и посадили в коридоре на скамейке у какой-то двери, поставив рядом со мною вооруженного солдата. Через несколько минут я услышал возгласы «Карсавина ведут!». Мимо меня провели Льва Платоновича в комнату, перед которой я сидел. Через полчаса Карсавин был выведен оттуда и я был введен в эту комнату. В ней сидела дама, исполнявшая обязанности судебного следователя и допрашивала арестованных в Петербурге 16 августа интеллигентов. Фамилия ее была, кажется, Озолина. Вид у нее был такой суровый, что, встретившись с нею в лесу, можно было бы испугаться. Она предъявила мне, как и всем арестованным 16 августа интеллигентам, обвинение, сущность которого состояла в следующем: такой-то до сих пор не соглашается с идеологиею власти РСФСР и во время внешних затруднений (то есть войны) усиливал свою контрреволюционную деятельность. Прочитав обвинение, я побледнел, понимая, что это грозит расстрелом, и ожидал, что меня будут допрашивать, с кем я знаком, на каких собраниях, где устраивались заговоры против пра-

вительства, я бывал и т. п. В действительности никаких таких вопросов мне, как и всем нам, не было задано: правительство знало, что мы не участвовали в политической деятельности. К тому же было предрешено, что нас приговорят к высылке за границу. В это время большевицкое правительство добивалось признания de jure государствами Западной Европы. Арестованы были лица, имена и деятельность которых были известны в Европе, и большевики хотели, очевидно, показать, что их режим не есть варварская деспотия. Говорят, что Троцкий предложил именно такую меру, как высылка за границу.

Меня, как и всех нас, допрашивали о том, как я отношусь к Советской власти, к партии социалистов-революционеров и т. п. После допроса меня отвели в большую комнату, где находилось около пятидесяти арестованных из всех слоев населения и по самым различным обвинениям. Здесь находились Карсавин, Лапшин, профессор математики Селиванов и другие лица из нашей группы. Математик Селиванов, оказывается, был арестован за «буржуазный» метод преподавания математики инженерам. В своих лекциях он не только сообщал математические формулы, необходимые для деятельности инженеров, но и математическое обоснование их. Большевики находили в это время, что инженеру нужно знать формулы, а как они обосновываются, это не требуется знать им. Конечно, такое нелепое представление о подготовке инженеров к их работе существовало только первые годы революции.[26]

Через неделю нас перевели из Чека в тюрьму на Шпалерной улице. Она состояла из камер для одиночного заключения, но была так переполнена, что в каждой камере было помещено по два или по три заключенных. Я сидел вместе с профессором почвоведения Одинцовым и профессором ботаники, поляком, имя которого я забыл; он был арестован в связи с нашею группою. При тюрьме была довольно хорошая библиотека. Мы брали книги из нее и днем занимались чтением, а вечером по очереди читали лекции каждый по своей специальности, выбирая темы, интересные также и для неспециалистов данной науки.

Большевицкое правительство обратилось к Германии с просьбою дать нам визы для въезда в Германию. Канцлер

Вирт ответил, что Германия не Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратяться с просьбою дать им визу, Германия охотно окажет им гостеприимство. Тогда правительство в Петербурге освободило от ареста тех из нашей группы, кто был старше 50 лет, и поручило нам достать визы для себя и для своих более молодых товарищей.

Нашей освобожденной группе предстояло хлопотать не только о визе, но и по ряду других вопросов. Например, едущим за границу разрешалось в то время брать с собою очень мало белья и платья; на человека полагалось брать только одну простыню; нельзя было вывозить книг, особенно словари считались национальным достоянием, которое должно храниться в России. Чтобы получить более льготные условия вывоза вещей и решить различные другие вопросы, нужно было ходить в многие большевицкие учреждения. Для этой цели наша группа выбрала двух лиц — журналиста Волковыского, как лицо, умеющее вести деловые переговоры, и меня, как представителя от ученых.

Много интересных наблюдений сделали мы с Волковысским, посещая различные канцелярии. Несколько раз нам пришлось быть на Гороховой улице в одной из канцелярий Чека, где нас принимал бывший кузнец Козловский. Он был, конечно, только передаточною инстанциею между нами и более значительными властями. Этот Козловский, молодой парень, беседуя с нами, сказал: «Наши старшие решили выслать вас за границу, а по-моему вас надо просто к стенке поставить», то есть расстрелять. Он сказал это без всякой злости, таким добродушным тоном, что нельзя было возмутиться его простодушною, бессознательною жестокостью и несправедливостью.[27] В углу комнаты, где он принимал нас, я заметил что-то вроде иконы Божией Матери. Я подошел к ней поближе и увидел, что это фотография Чернова, лидера социалистов-революционеров, в таком окладе, который придавал ей вид иконы. Оказывается, большевики называли Чернова в насмешку «селянскою богородицею».

Пока мы хлопотали о визах и условиях переезда за границу, в Петербург приехала из Москвы партия высылаемых оттуда ученых и писателей. Им в ожидании парохода нужно было прожить в Петербурге два или три дня. Всех их устро-

или у себя на это время знакомые. У нас поселился Н. А. Бердяев с женою Лидиею Юдифовною, сестрою ее Евгениею и матерью жены. В это время не было еще холодно в квартире. Поэтому мы могли устроить ночлег Николая Александровича на диване в моем кабинете, рядом со спальнею, в которой помещались прежде моя жена и я. В этой спальне в это еще не холодное время года ночевала M-lle Sophie. Оказалось, что ночью во сне Бердяев испытывает какие-то тяжелые кошмары, кричит и борется, по-видимому, с какою-то злою силою. M-lle Sophie была так этим напугана, что перешла ночевать в другую комнату.

Наконец, наступил и наш черед ехать за границу. Вечером 15 ноября мы сели на пристани за Николаевским мостом на немецкий пароход, который должен был на следующее утро в 7 часов отплыть в Штетин. Уезжала в Германию вся наша семья, — Мария Николаевна Стоюнина, моя жена и трое наших сыновей. Адель Ивановны Каберман, воспитательницы моей жены и всех наших детей, друга нашей семьи, не было с нами: она умерла за два года до этого времени от рака печени.[28]

Утром на следующий день на рассвете приехало на пристань много лиц провожать отъезжающих, не только родных, но и знакомых. В числе провожавших нас, имевших мужество прийти на пристань, был профессор Н. И. Кареев. Последнее впечатление от любимого мною Петербурга была картина красивого силуэта Исаакиевского собора и зданий набережной на фоне неба.

На пароходе ехал с нами сначала отряд чекистов. Поэтому мы были осторожны и не выражали своих чувств и мыслей. Только после Кронштадта пароход остановился, чекисты сели в лодку и уехали. Тогда мы почувствовали себя более свободными. Однако угнетение от пятилетней жизни под бесчеловечным режимом большевиков было так велико, что месяца два, живя за границею, мы еще рассказывали об этом режиме и выражали свои чувства, оглядываясь по сторонам, как будто чего-то опасаясь.

Дня через два по приезде в Берлин я получил письмо от П. Б. Струве. Он сообщал, что чехословацкое правительство ассигновало сумму на поддержку интеллигентов, изгнанных из России, и советовал мне ехать в Прагу, чтобы воспользо-

ваться гостеприимством Чехословакии. Я пошел к Н. А. Бердяеву и С. Л. Франку посоветоваться с ними, как поступить. Они сказали, что не собираются воспользоваться приглашением поселиться в Чехословакии. Они решили остаться в таком большом мировом центре, как Берлин, основать журнал и заниматься литературною деятельностью. И мне они предложили присоединиться к ним. Сознавая, что я — не литератор, что я разрабатываю, главным образом, специальные философские проблемы и пишу медленно, я не решился последовать их совету и пошел к профессору Кизеветтеру узнать, какое он принял решение. Кизеветтер сказал, что он поедет в Прагу и советовал нашей семье принять предложение чехословацкого правительства.

Виза на мой въезд в Чехословакию была уже разрешена. Поэтому чехословацкое консульство в Берлине очень скоро дало визу на въезд всего нашего семейства, и мы приехали в Прагу уже 13 декабря, раньше, чем остальные изгнанники.

Глава восьмая

В ПРАГЕ

(1922—1942)

Прага, сделавшись столицею нового государства, Чехословакии, в это время быстро разросталась. В ней был тяжелый квартирный кризис. Найти квартиру было очень трудно. Поэтому русским беженцам было предоставлено право нанимать комнаты в громадном здании для рабочих, названном «Свободарна» в части города Либень, богатой фабриками и находящейся на краю города. Мы взяли в Свободарне сначала две, потом три комнаты и прожили там два года, уезжая только на летние месяцы в прелестный городок Збраслав в двенадцати километрах от Праги вверх по Влтаве.

Чехословацкое правительство дало мне, как и другим русским ученым, профессорскую эмигрантскую стипендию, более 2000 крон. Мария Николаевна, как учредительница Высших Курсов при своей гимназии, тоже получила профессорскую стипендию. Поэтому до начала экономического кризиса, когда стала сокращаться так называемая «русская акция» чехословацкого правительства, материальное положение нашей семьи было очень хорошее.

«Русская акция» в Чехословакии была в течение лет десяти поставлена очень широко. Несколько тысяч русских молодых людей получили стипендии и поступили в Праге, Брне, Пржибраме и Братиславе в различные высшие учебные заведения. Многие профессора, доценты, писатели, вообще многие русские интеллигенты были обеспечены правильно выдаваемыми ежемесячными пособиями.

Получая пособие, русские ученые хотели работать и обслуживать нужды эмигрировавшей интеллигенции. При содействии чехословацкого правительства был основан Рус-

ский университет, правда, весьма неполный. Вполне хорошо обставлен был только Юридический факультет; почти все кафедры были обслужены видными учеными. Первым деканом был П. И. Новгородцев. Предполагалось, что большевицкая власть продержится недолго и эмигранты вернутся в Россию, которая будет чрезвычайно нуждаться в юридически образованных людях. Расчет этот оказался ошибочным. Молодые люди, прошедшие курс нашего Юридического факультета, в большинстве случаев не могли найти работы по своей специальности ни в Чехословакии, ни вообще в Европе. Один из выпусков, зная судьбу своих старших товарищей, организовал, получив аттестаты, нескольконедельные курсы малярного дела и, научившись ему, молодые юристы поехали в различные страны, главным образом во Францию, где и стали ремесленниками-малярами. Кроме Юридического факультета был образован еще факультет Историко-филологический, но он был очень неполон; многие кафедры вовсе не были замещены. Был организован еще ряд курсов, например Кооперативный институт, Железнодорожные курсы и т. п. На практике обнаружилось, что русская железнодорожная техника стоит очень высоко и молодые люди, прошедшие курс Русского железнодорожного училища, легко находили работу. Многие молодые люди поступили на Медицинский факультет Карлова университета и в чешский Политехникум. Закончив свое образование, многие из них устроились в Чехословакии.

На Юридическом факультете Русского университета я читал лекции по логике, а на Историко-филологическом факультете — по другим философским предметам. Деятельность эта прекратилась в 1928 г., когда «русская акция» стала сокращаться и Русский университет был закрыт. В Праге был основан также Русский Народный университет; профессора, инженеры и общественные деятели читали от имени этого университета отдельные лекции в Праге и в различных провинциальных городах, особенно в Подкарпатской Руси. Потом этот университет стал стал называться Свободным Русским университетом, а в 1943 г. Русскою Академиею. При этом университете было организовано Философское общество. Вначале в его составе было много лиц, обладавших специальными знаниями в области философии: И. И. Лап-

шин, С. И. Гессен, Г. Д. Гурвич, Г. В. Флоровский, от. С. Булгаков, В. В. Зеньковский, Д. И. Чижевский, П. И. Новгородцев, П. Б. Струве, я. Вскоре однако П. И. Новгородцев умер, Струве уехал в Белград, Гессен в Варшаву, Гурвич во Францию, Чижевский в Берлин, от. С. Булгаков, от. Г. Флоровский и Зеньковский основали в Париже Православный Богословский Институт; таким образом, из специалистов по философии в Праге остались лишь И. И. Лапшин и я. Каждый год мы читали в Философском обществе по несколько докладов.

Вскоре по приезде в Прагу я получил из Лондона от профессора Коренчевского, работавшего в Листеровском Институте, приглашение прочитать в Русском Народном университете в Лондоне несколько курсов по философии. В конце февраля 1923 г. я отправился в Лондон через Флиссинген и провел в Англии весь март месяц. Большое удовольствие доставила мне эта поездка благодаря общению с семьею Натали Александровны Деддингтон, с В. Г. Коренчевским, который проявлял большой интерес к проблемам религиозной философии, и с семьею С. И. Метальникова, у которого я на обратном пути провел в Медоне вблизи Парижа более недели.

С Сергеем Ивановичем в этот мой приезд в Париж и в следующие приезды, а также тогда, когда он с Ольгою Владимировною приезжал к нам в Прагу в 1924 и в 1937 гг., мы подолгу беседовали о вопросах философии природы. Он задумал написать книгу на тему о «разуме в природе». Наш обмен мнений сосредоточивался, главным образом, на понятии индивидуума. Я настоивал на сверхвременности и сверхпространственности, а, следовательно, на вечной и абсолютной неделимости индивидуума; иными словами, я излагал свое учение об индивидууме, как субстанциальном деятеле (монаде). Сергей Иванович держался иного мнения; он ссылался на свое наблюдение, согласно которому дети нередко обладают отчасти свойствами своего отца, отчасти свойствами своей матери; отсюда он выводил производность индивидуума от своих родителей.

Поездка моя в Лондон оказала большое влияние на мои дальнейшие занятия философиею благодаря следующему случайному обстоятельству. В Лондоне возобновилось мое знакомство с профессором Pares, директором School of Slavonic

Studies. Он предложил мне написать для журнала „Slavonic Review“ статью о Владимире Соловьеве и его влиянии в русской философии. Взявшись за эту работу, я впервые прочитал бóльшую часть произведений Соловьева, кн. С. Трубецкого, кн. Е. Трубецкого, от. С. Булгакова, Бердяева. Здесь впервые для меня открылась значительность русской философии, поскольку в ней ряд талантливых и высокообразованных лиц стремится выработать христианское мировоззрение. С этих пор я стал много времени уделять русской религиозной философии, познакомился с произведениями И. В. Киреевского, Хомякова и стал читать все труды современных русских религиозных философов. Несколько статей написано уже мною о них и подготовляется материал для большой книги, в которой я задаюсь целью изложить и подвергнуть критике христианское миропонимание современных русских философов.

Занявшись Соловьевым, я открыл, что русские философы, начинавшие свою деятельность с увлечения идеями Соловьева, кончали тем, что далеко отошли от него, а я, мало знакомый с Соловьевым и исходивший из новоплатонизма, лейбницианства и шеллингианства, в действительности оказался в своей метафизике близким к Соловьеву.

С весны 1924 г. до осени 1925 г. мы жили в Збраславе; затем с весны 1926 г. до весны 1928 г. опять поселились в Збраславе; Осенью 1929 г. нам удалось получить квартиру в Праге в Русском профессорском доме на Бучковой улице. С тех пор мы постоянно занимали эту квартиру, уезжая из нее только куда-либо летом месяца на два, вплоть до 14 апреля 1942 г., когда мы переселились в Братиславу, где я получил кафедру философии в университете.

В Збраславе мы жили на набережной Влтавы в доме, принадлежавшем Ф. Прохазке. Часть нижнего этажа была отдана под ресторан, а остальные комнаты сдавались внаем, так что дом этот был подобием отеля и назывался „Velka Hospoda“. В „Velka Hospoda“ комнаты сдавались по цене сравнительно дешевой, и многие русские эмигранты перебывали в нем: кроме нас, там в различные периоды жили инженер-путеец Николай Николаевич Ипатьев (в доме которого в Екатеринбурге был убит Государь Николай II и его семья) с женою, московский промышленник Евгений Павлович

Свешников с семьею, проф. Ефим Лукьянович Зубашев с женою, В. В. Водовозов с женою Ольгою Александровною (дочерью профессора Введенского), проф. А. В. Флоровский с женою, генерал С. А. Щепихин с женою и сыном. Мы занимали две комнаты во втором этаже. В одной из них, большой комнате, разделенной пополам занавескою, жили Мария Николаевна, жена моя, Боря и Андрюша, а в другой, выходившей окном на набережную в сад перед домом жил я с Володею, а потом один, когда старшие сыновья уехали из Чехословакии. К моей комнате принадлежала часть большого балкона, тянувшегося по всему фасаду здания. Бóльшую часть года в хорошую погоду я сидел на этом балконе, занимаясь чтением и писанием книг («Свобода воли», «Ценность и бытие») и статей. Условия для моих занятий философиею были чрезвычайно благоприятны. В Библиотеке Карлова университета (он был основан в 1348 г. императором Карлом IV) философский отдел был богат книгами и хорошо пополнялся. Кроме того, правительство Чехословакии основало Славянскую библиотеку; для русского отделения этой библиотеки покупались целые библиотеки русских ученых и писателей, а также приобретались все сколько-нибудь заслуживающие внимания книги, печатавшиеся в Советской России и в таких эмигрантских центрах, как Париж, Берлин, Прага, Белград, София. В короткое время эта Библиотека стала столь богатым книгохранилищем, что слависты из всевозможных стран стали приезжать для занятий в ней, а также в Русском архиве, учрежденном при министерстве Иностранных Дел.

Предметом серьезной заботы в это время было образование наших детей. Старший сын наш Владимир поступил на Философский факультет Чешского Карлова университета, чтобы продолжить занятия средневековою историею, успешно начатые им в Петербургском университете у таких выдающихся специалистов, как И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская и Л. П. Карсавин. Кроме того, он стал с увлечением слушать лекции академика Н. П. Кондакова. Однако полного удовлетворения Прага ему не давала, ему хотелось закончить свое образование в Сорбонне и в 1924 г. он уехал в Париж. В Сорбонне главным руководителем его в занятиях средневековою историею был профессор Фердинанд Лот

и по истории средневековой философии Этьенн Жильсон. Заканчивая курс Сорбонны в 1927 г., Владимир собирался уже приступить к писанию диссертации о средневековых коммунах в Провансе, но при этом отдал себе отчет в том, что центр его интересов переместился в область истории философии средних веков; тогда он начал подготовлять диссертацию о Мейстере Экхарте. В связи с изучением средневековой философии Владимир приобрел основательные знания в области истории Церкви и богословия. Также и практическая сторона жизни Церкви, именно Православной Церкви, стала все более и более интересовать его. Вместе со своими приятелями, Евграфом Евграфовичем Ковалевским и другими, Владимир основал Братство св. Фотия и был некоторое время главою его. Главная задача Братства состоит в том, чтобы отстаивать и проводить в жизнь вселенскость Православной Церкви. Сообщу здесь один удивительный случай из жизни Владимира, происшедший еще во время нашего пребывания в Збраславе. Для этого надо сказать несколько слов о Збраславских «пятницах».

В Збраславе во время квартирного кризиса жило много русских эмигрантов. Потребность в общении привела к тому, что установился обычай собираться еженедельно по пятницам в 5 вечера в „Velké Hospodě“. В хорошую погоду собрания эти происходили в саду под высокими развесистыми деревьями волошских орехов и каштанов (ореховые деревья погибли в суровую зиму 1928—29 г.). В дурную погоду собрания переносились в зал ресторана. Збраславские «пятницы» приобрели большую популярность. На них приезжали русские также из Праги, так что число участников доходило иногда до ста человек. Сидя за ресторанными столиками, мы беседовали о самых различных вопросах, затем кто-либо читал краткий доклад, не более чем получасовой, и он подвергался обсуждению. Темы докладов брались из самых разнообразных наук и областей жизни. Иногда прочитывалось какое-либо новое еще ненапечатанное художественное произведение, например два раза читал Е. Н. Чириков. На одной из таких пятниц было предложено нашему Владимиру прочитать доклад о св. Франциске Ассизском. Владимир, увлекшийся изучением жизни и деятельности этого святого еще в Петербурге, прочитал очень содержательный доклад. Вре-

мя было позднее, солнце уже село, птицы совершенно замолкли, уснули. В то время, когда Владимир говорил о проповеди св. Франциска птицам, в ветвях орешника какая-то встрепенулась, захлопала крыльями и что-то прощебетала. Без сомнения, это было не случайное совпадение.

Борис уже в Петербурге стал проявлять усиленный интерес к истории искусства. Он постоянно посещал Эрмитаж, читал книги по истории искусства, между прочим по истории Петербурга, все достопримечательности которого он хорошо изучил. Одною из особенностей его было великолепное знание Пушкина, бóльшую часть произведений которого он знал наизусть. В 1923 г. Борис поступил на архитектурное отделение Чешского Политехникума в Праге и пробыл в нем три года. Способностью к математике и технике он обладал, однако мысль о практическом применении знаний по архитектуре вызывала в нем отвращение. Было ясно, что он хочет быть не архитектором, а историком искусства. В 1927 г. он переехал в Париж и прошел там курс École du Louvre, а затем поступил в Сорбонну и закончил в ней свое высшее образование. Из него получился хороший специалист по истории живописи, архитектуры, скульптуры. Он отличается изумительною меткостью глаза, способностью улавливать стиль каждого мастера и определять, какое произведение кому принадлежит или к какой эпохе относится.

В 1932 г. Борис получил французское гражданство и отбыл воинскую повинность. Прослужить ему пришлось год в Страсбурге в пехотном полку. Ближайшее его начальство был капитан, выслужившийся из нижних чинов, человек грубый, необразованный, ненавидевший интеллигентов. Бориса он преследовал на каждом шагу, так что за время службы ему удалось подняться только до звания капрала. Наш Владимир получил французское гражданство после долгих хлопот лишь за несколько месяцев до начала войны в 1939 г. Мешало ему, между прочим, то, что он родился в Геттингене: французы не могли понять, каким образом русский родился в Германии.[29]

Старшие сыновья наши поступили правильно, покинув Прагу для получения высшего образования во Франции. В Чехословакии нормальная жизненная карьера была почти невозможна для иностранца. Правда, Чехословакия оказала

братскую помощь множеству русских интеллигентов и многим русским детям, но получить место, особенно на государственной службе, было чрезвычайно трудно. Среди эмигрантов было, например, немало выдающихся ученых, однако к преподаванию в университетах и политехникумах привлечены были лишь очень немногие. При замещении кафедры всегда было бы отдано предпочтение весьма малоодаренному чеху даже и перед самым талантливым, приобревшим уже известность русским, за исключением тех случаев, когда по какой-либо специальности чеха совсем не было. В этом сказывался крайний национализм чехов, непонятный нам, русским, привыкшим к великодержавной политике, стремящейся использовать всякий талант независимо оттого, к какой народности принадлежит носитель его. Кроме того, это отношение к русским ученым обусловливалось тем, что общественная среда, пришедшая к власти в Чехословакии, состояла, главным образом, из чехов, относившихся с недоверием к русской духовной культуре, выработанной при царской власти. Эти чехи, как и вся Западная Европа, имели ложное представление о царской власти, несправедливо считая ее варварскою и некультурною. Точно так же дореволюционную русскую духовную культуру они считали грубо реакционною, а сами стремились во что бы то ни стало к pokrokovosti (pokrok — по-чешски «прогресс»). Всякое явление, всякую книгу, деятельность всякого человека они оценивали и классифицировали только по двум рубрикам — «прогрессивный» или «реакционный». Они не догадывались, что человек, сознательно ставящий себе цель быть «прогрессивным», обречен на то, чтобы *отставать от подлинного прогресса* и застывать на общепринятых, как прогрессивные, идеях и тенденциях недавнего прошлого, с подозрением и недоверием встречая все глубинно-творчески новое, потому что серьезное новое всегда содержит в себе, как один из своих элементов, возрождение забытого прошлого в обновленной ценной форме. Так, во Франции, в Англии, в Германии, России, во всех культурных странах с высокоразвитым духовным творчеством, с начала XX века стала возрождаться среди высших слоев интеллигенции христианская религиозность и даже наметился возврат к церковности; началось возрождение католичества и православия, а в протестантской

и англиканской церкви появилось стремление сблизиться с католичеством или православием. А в Чехословакии вследствие рабской погони за мнимою «прогрессивностью» это это движение было очень слабым.

В этой среде, пропитанной шовинизмом и увлеченной стремлением строить демократию без религиозных основ на почве позитивистического миропонимания, наш младший сын Андрей был бы поставлен в неблагоприятные условия для духовного развития и, став подданным Чехословакии, считался бы, как русский, гражданином второго разряда. Поэтому мы решили отдать его в школу, в которой преподавание велось бы на одном из мировых языков Западной Европы. Помня заявление Андрея, что первым иностранным языком, которому он хочет научиться, должен быть английский и сам увлекаясь этим языком, я приобрел двухтомный самоучитель английского языка под редакциею Джона Томсона и, когда Андрею исполнилось семь лет, начал учить его. Пользуясь всяким случаем, за обедом и ужином, во время прогулок, я задавал ему вопросы из самоучителя: What is the time? Are You hungry? и т. п. Через два года он достиг таких успехов, что мы могли уже читать роман Вальтера Скотта „Talisman“ в обработке для детей или даже такую книгу, как „Hereword The Wake“. Эти книги присылала нам из Лондона Н. А. Деддингтон. Я подумывал уже о том, хватит ли у нас средств, чтобы послать Андрея в Париж к старшим сыновьям и учить его там в английской школе. В 1927 г., когда пора было определить Андрюшу в школу, я увидел объявление о том, что с осени в Праге открывается English Grammar School. Это была реальная гимназия с английским языком преподавания. Мы тотчас же зачислили Андрея в эту школу и осенью он был принят в нее. К Рождеству принятые осенью дети были разделены на два класса — приготовительный и первый. Наш Андрей, как знакомый уже с языком, был зачислен в первый класс. В этом первом году существования школы в первом классе было всего лишь около десяти учеников, мальчиков и девочек. Большинство были дети, родившиеся в Северной Америке в семьях дипломатов, консулов, коммерсантов. Они лучше знали английский язык, чем чешский, и потому в их классе вплоть до конца курса гимназии установилась привычка говорить не только на уроках, но и

в общении друг с другом по-английски. Через восемь лет, когда Андрюша кончал гимназию, он хорошо владел английским языком и выговор у него был очень хороший. С первого же класса он очень заинтересовался латинским языком. Английский учебник был превосходно составлен: он вводил в латинский язык так легко и свободно, как современные самоучители живых языков. Андрей учился хорошо, английские учителя любили его и курс школы он прошел «с отличием». Только с одною или двумя чешскими учительницами, которые будучи «прогрессивными», проявляли пренебрежение к царской России, он вступал иногда в столкновения, удачно защищая Россию, к которой в то время питал пылкую любовь. Так, когда учительница сказала, что в России, вследствие отсталости ее культуры, железные дороги появились поздно, он возразил, что Царскосельская железная дорога была построена уже в 1837 г. На уроках чешской литературы учительница преподносила классу пошлейшую сатиру на Россию „Křest sv. Vladimira“ Гавличка-Боровского. Это странное произведение содержит в себе безвкусную смесь древнего св. Владимира с современным Гавличку царем Александром II и глупые нападки на религию, например на просительную молитву. Андрей, будучи очень религиозным, возмущался и указывал на недостатки этого сочинения. Уже в школе у него обнаружился особенный интерес к истории Европы и ко всем вопросам, связанным с учением о государстве. Кроме того, начиная с четырнадцатилетнего возраста он во время прогулок стал задавать мне вопросы философского характера и к концу гимназического курса приобрел уже ясное представление о моей системе философии. Очень рано проявилась у Андрея любовь и способность к музыке. В Праге Борис продолжал понемногу свои занятия музыкою, беря уроки у выдающейся пианистки и замечательной преподавательницы музыки Елены Максимовны Покровской. Мы дарили ему к праздникам дешевые издания партитур симфоний Бетховена. Партитуру V-ой симфонии Борис часто просматривал и напевал. При этом присутствовал и Андрей и таким образом хорошо ознакомился с этою симфониею. В 1925 г., когда Андрею было всего восемь лет, мы собрались пойти в концерт в Сметановом зале, где Пражская филармония объявила концерт, состоявший из V-ой

симфонии Бетховена и VI-ой симфонии Чайковского. Андрей стал настаивать, чтобы мы взяли его с собой. Мы уступили его просьбам, не надеясь все же, что он будет в состоянии слушать такую серьезную музыку. В действительности однако он прослушал всю симфонию с большим напряжением и явным пониманием. После этого, боясь утомления его, мы хотели увести его домой, но он запротествоал и прослушал с неослабным вниманием также шестую симфонию Чайковского. После этого, конечно, было решено, что он тоже начнет брать уроки музыки у Покровской. Метод ее преподавания своеобразный. Она не задавала своим ученикам никаких скучных упражнений, а сразу начинала с небольших пьес, переходя очень быстро к пьесам все более сложным. Ученик должен был только изредка исполнять пьесу целиком и упражняться, главным образом, над теми отрывками ее, которые ему не удавались и затрудняли его. Учась в английской гимназии, Андрей мог упражняться не каждый день и очень понемногу. Тем не менее он достиг значительных успехов. Приятно было слушать, когда он играл, например „Aufenthalt“ Шуберта-Листа. Будучи в восьмом классе гимназии, он уже хорошо исполнял первую часть концерта C-moll Бетховена. Е. М. Покровская и Андрей играли эту часть концерта на двух роялях.

Сердечные припадки, мучившие меня со времени революции 1905 г. и прекратившиеся, как только началась революция 1917 г., возобновились после нашего приезда в Чехословакию. В Збраславе во дворе Velké Hospody был флигель, в котором жил врач С. Н. Литов и б. профессор анатомии Старков. Литов, внимательный врач и добрый человек, нередко наблюдал эти припадки и решительно уверял меня, что никакого органического порока в моем сердце нет. Тем не менее припадки были чрезвычайно мучительны: пульс доходил до 150 в минуту и более, являлось мучительное ожидание приближающейся кончины. После долгих исканий я нашел средство против этой болезни. Как только начинался припадок, нередко часа в три ночи, я накидывал на себя платье и начинал, медленно ходя по комнате или выходя на балкон, читать наиболее любимую мою, полную глубокого философского содержания молитву к Духу Святому «Царю Небесный» ... Потом, когда припадок начинал ослабевать,

я садился за стол и читал какие-либо главы Евангелия до полного успокоения. Молитва сосредоточивала мое внимание на своем возвышенном содержании и создавала живую уверенность в том, что телесная смерть не страшна, потому что Бог не оставит нас в эту минуту. Замечательно, что с течением времени припадки стали проходить быстрее и становились все менее интенсивными. Наконец, они совсем перестали повторяться и перед самым засыпанием нужно было для защиты от них только прочесть несколько молитв.[30]

Вскоре после нашего приезда в Прагу я получил письмо от доктора психиатрии Николая Евграфовича Осипова, б. приват-доцента Московского университета. Н. Е. писал мне, что он высоко ценит мою философскую деятельность, привез с собою из Москвы все мои сочинения, применяет мою систему для решения вопросов психиатрии и хочет познакомиться со мною. Знакомство это доставило и мне, и всем членам нашей семьи большое удовольствие. Н. Е. был человек добрый, разносторонне образованный, наблюдательный и остроумный. Жил он вместе с семьею б. московского текстильного фабриканта В. С. Рябова, жена которого Валентина Александровна увлекалась религиозно-философскими проблемами и читала произведения от. Сергия Булгакова, Бердяева, мои. Каждый приезд Николая Евграфовича и Валентины Александровны к нам или нас к ним был для нас праздником. Многие вопросы психиатрии мы обсуждали с Н. Е. и я надеялся, что он, увлекаясь учениями Фрейда, но относясь к ним критически, переработает фрейдизм, положив в его основу мой персонализм. Тяжелая болезнь сердца Н. Е. разрушила эти планы и унесла его в могилу 19 февраля 1934 г. Друзья и почитатели его издали в его память сборник статей под заглавием «Жизнь и смерть», два тома.

Не меньшую радость доставляло нам общение с Сергеем Владиславичем Завадским, б. прокурором Судебной Палаты в Петрограде, ставшим сенатором при Временном правительстве. Сергей Владиславич был человеком исключительного благородства; в сложных общественных вопросах и конфликтах его решения могли служить гарантиею моральной правильности поведения. Во всей его фигуре, манере речи и обхождении был отпечаток утонченной дворянской тургеневской культуры. На Юридическом факультете Русского уни-

верситета в Праге С. В. был профессором гражданского права. Теоретические и практические знания его в области юриспруденции были замечательны. С. В. особенно любил и высоко ценил русский суд в том виде, как он был организован благодаря реформам Александра II; благодаря долголетней службе на всех ступенях этого суда, он знал его особенности в совершенстве и углубил эти сведения сравнением с юстициею в Западной Европе и Северной Америке, где он во время поездок за границу посещал заседания суда. Свои мысли о русском суде он изложил в десяти двухчасовых популярных лекциях, прочитанных им в Русском Свободном университете за полгода до своей кончины. Опубликование этого курса было бы очень полезно и для русских, и для западных европейцев.

Кроме вопросов юриспруденции, Сергей Владиславич страстно увлекался исследованием русского языка. В этой области у него было много оригинальных наблюдений и соображений. Им было основано В Праге общество для изучения русского языка. Его знания в области русской и иностранных литератур были изумительны. Особенно любил С. В. древнюю греческую литературу и греческий язык. Не удовлетворяясь в некоторых отношениях существующими переводами греческих трагиков, С. В. первый осуществил перевод всех трагедий Эсхила и некоторых произведений Софокла. В 1937 г. появился в Советской России перевод Пиотровского всех трагедий Эсхила. Тем не менее, несомненно, что и теперь издание перевода Сергея Владиславича тоже имело бы большую ценность. Как и Осипов, Завадский много мог еще дать для русской культуры, если бы не тяжелая болезнь сердца, которая свела его в могилу.

Как я уже говорил, в начале эмиграции русская колония в Праге была богата выдающимися деятелями науки и общественности. Из числа лиц, с которыми у нас было живое общение, назову еще Кизеветтера, Шмурло, Н. И. Астрова, графиню С. В. Панину. Трое первых умерли, а графиня Панина в 1939 году уехала в Соединенные Штаты Америки.

В Праге в числе эмигрантов жил Петр Андреевич Бурский, бывший помещик Симбирско й губернии. Он учился в Симбирской гимназии вместе с Лениным (Ульяновым). По его словам, Ленин был в отрочестве очень религиозным

мальчиком. Он хорошо учился и должен был по окончании курса получить золотую медаль, следовательно, иметь право поступить в один из столичных университетов, петербургский или московский. Когда брат его был повешен за участие в заговоре на жизнь Государя, начальство гимназии придумало средство лишить Владимира Ульянова права на золотую медаль. На выпускном экзамене по немецкому (кажется) языку его экзаменовали так придирчиво, что он получил плохую отметку и не приобрел права на золотую медаль. Согласно обычаю, молодые люди, получившие аттестат зрелости, устраивали совместно обед. На этом обеде Ленин, озлобленный несправедливостью, говорил, что он отомстит Романовым и они попомнят его.

Во всех больших центрах Западной Европы различные деятели Католической церкви, особенно католики восточного обряда, старались вступать в общение с русскими эмигрантами. Многие из них знакомились со мною, вероятно, потому, что в 1924 г. в сборнике «Проблемы русского религиозного сознания» была напечатана моя статья «О единстве Церкви», где я сочувственно говорю о Католической церкви. В Праге в течение двух лет жил отец Давид Бальфур, бенедиктинский монах, католик восточного обряда. Его дедом был Юз, от имени которого произошло название города Юзовка в Донецком бассейне. До семилетнего возраста от. Давид жил в России и сохранил о ней смутные воспоминания, благодаря которым у него был повышенный интерес и симпатия ко всему русскому. Вероятно, поэтому он, постригшись, стал католиком восточного обряда и научился русскому языку. Общение с от. Д. Бальфуром доставляло большое удовольствие всей нашей семье. Когда он бывал у нас, мы вели с ним беседы о разных сторонах русской культуры, показывали ему воспроизведения картин русских художников в журнале «Перезвоны», снимки с замечательных русских усадеб и т. п. Дальнейшее развитие нашего общения с от. Давидом очень замедлилось, когда в Прагу был прислан священник восточного обряда голландец доктор Штроттманн. С этих пор Бальфур стал бывать у нас редко и притом не иначе, как в сопровождении д-ра Штроттманна, что, конечно, стесняло нас. Последняя встреча наша с от. Д. Бальфуром произошла следующим образом. Мы жили в то время опять в Збрасладе.

Поехав зачем-то в Прагу, мы с женою возвращались в Збраслав последним поездом в двенадцатом часу ночи. Когда мы спускались в туннель, чтобы пройти к своему поезду, навстречу нам попался от. Д. Бальфур; следом за ним шел священник Штроттманн. Бальфур радостно воскликнул: «Эта встреча наша провиденциальна! Я хотел заехать к вам попрощаться, но не мог сделать этого. Сейчас я уезжаю в Бельгию в монастырь Amay и больше в Прагу не вернусь». С тех пор мы от. Д. Бальфура больше не видели, но через год или полтора он переехал в Париж и мы стали получать о нем сведения от своего старшего сына Владимира. Вскоре Бальфур вышел из Римско-Католической церкви, стал православным и даже имя Давид заменил именем Димитрий, кажется, в честь русского святого Димитрия Ростовского. Чтобы иметь связь с Русскою церковью, он вступил в юрисдикцию ковенского митрополита Елевферия, который был подчинен московской патриархии.

После отъезда Бальфура из Праги священник Штроттманн изредка посещал нас. Знакомств среди русских у него было много, но, как и все католики восточного обряда, он не имел успеха в нашей среде. Впоследствии профессор Кизеветтер рассказывал мне, что однажды от. Штроттманн, встретившись с ним в трамвае, сказал: «Мне поручено привлечь Лосского в Католическую церковь, но я вижу, что на это мало надежды». Дальнейшая судьба от. Штроттманна была печальна: однажды его нашли утром в постели мертвым. Говорят, он умер вследствие неисправности печи от угара.

С чешским обществом русская колония в общем мало сближалась: помехою было различие нравов, уклада жизни и особенно различие характера русского и чешского народа. Однако у многих из нас через несколько лет оказались добрые друзья среди чехов. В первые же месяцы после приезда наша семья познакомилась и подружилась с Анною Антоновною Тесковою, ее сестрою Августою Антоновною и матерью их Анною Вячеславною. Анна Антоновна родилась в Москве и выехала оттуда вместе с матерью и сестрою в тринадцатилетнем возрасте после кончины отца. Любя русскую духовную культуру вообще, она особенно увлекалась философиею Вл. Соловьева и произведениями Достоевского. Она

писала о них и переводила их труды на чешский язык. Долгое время она заведовала культурным отделением общества «Ческо-руска Еднота». С моею философиею она обстоятельно познакомилась и перевела много моих статей и несколько моих книг. Подружились мы также с доктором медицины Цтибором Вячеславичем Бездеком и его семьею. Доктор Бездек, издавая журнал „Duchovnia naboženska kultura", напечатал много моих статей. Меня в свою очередь интересовала его работа по этико-терапии. Он напечатал по-чешски книгу «Загадка болезни и смерти». Спустя лет десять после нашего приезда у меня явился пылкий почитатель Милош Бездек, учитель из городка Police nad Metují. В молодости он хотел пройти курс консерватории, но семейные обстоятельства помешали ему закончить музыкальное образование. О моей философии он узнал от поэта Бржезины, который увлекался Вл. Соловьевым и обратил внимание также на мою философию. М. Бездек изучил русский язык и стал приобретать не только мои книги, но также и все мои статьи. Раз в год он стал приезжать ко мне, чтобы получать разъяснения и дополнения по различным вопросам моей философии. С течением времени он стал писать обо мне, проявляя такое понимание дела, как профессионал-философ.

С представителями академической философии отношения у меня были такие. С самого начала завязал знакомство с русскими философами приват-доцент Карлова университета Ф. Пеликан, редактор журнала „Ruch Filosofický". Он стал печатать наши статьи в своем журнале и сам много писал о русской философии в сочувственном духе. Его соредактором был молодой профессор философии естественного факультета К. Во́ровка. Он обладал серьезным образованием в области математики, естествознания и философии и был вдумчивым ученым. Благородство его характера и высокие нравственные требования выражались в его критическом отношении к политике демократии, опирающейся на поверхностный позитивизм. Сам он постепенно углублял свое философское миропонимание в направлении к религиозным основам. К сожалению, этот процесс развития К. Во́ровки был прерван тяжелою болезнью, раком кишечника, от которого он умер в 1929 г. в возрасте 49 лет. Несколько позже познакомился я с молодым профессором философии Владимиром

Гоппе. Я встретился с ним на одном из банкетов Французского Института. На этом банкете нас, русских ученых, любезно приглашал директор Института профессор Фишелль, с которым наша семья была знакома уже давно, когда он был членом Французского Института в Петербурге. В. Гоппе был профессором в Брне, но жил он в Праге. Это был, как и Во́ровка, человек высокого благородства. Он был очень красив, — высокого роста, брюнет, с матово-бледным цветом лица, с меланхолическим выражением глаз. Его предки были гугеноты, выселившиеся из Франции; была среди них с какой-то стороны и примесь еврейской крови. В своих книгах «Природные и духовные основы мира и жизни» и «Введение в интуитивную и контемплятивную философию» Гоппе обнаруживает способность к мистическому опыту и искание религиозных основ миропонимания. К сожалению, слово интуиция означает у него не непосредственное восприятие действительности, а постижение ее посредством творческой фантазии. Оба мы были в высокой степени заинтересованы знакомством друг с другом, но оно тоже оказалось весьма кратковременным: вследствие тяжелой болезни почек Гоппе подвергнулся серьезной операции и умер в возрасте 49 лет.

Жена Гоппе имела мастерскую декоративных тканей в городе Jindřichův Hradec. Обладая вкусом и образованием в области прикладного искусства, она хроошо вела дело со стороны эстетической, но коммерческих способностей у нее не было и во время кризиса она разорилась. Она преклонялась перед своим мужем и, овдовев, хотела основать философское общество для увековечения его памяти. Она пригласила меня принять участие в этом деле, и я набросал проект общества духовной культуры. На учредительном собрании обнаружилось, что вдова Гоппе хочет, чтобы общество было теснее связано с именем ее мужа и настаивает, чтобы оно называлось «Круг друзей философии Владимира Гоппе». Дело кончилось тем, что общество было названо «Круг Владимира Гоппе». В течение нескольких лет это общество устраивало публичные лекции, напечатало несколько брошюр и потом постепенно замерло.

Иной характер имели отношения ко мне наиболее влиятельных в Чешском Карловом университете профессоров Радля и Козака. Оба они принадлежали к числу тех чешских

интеллигентов, которые всякую книгу, всякую мысль и всякого философа классифицируют по двум рубрикам — «прогрессивный» или «реакционный». Оба они с пренебрежением относились к русской духовной культуре дореволюционного времени и сочувствовали большевицкой революции, не доверяя рассказам эмигрантов об ужасах и аморальном характере ее. Месяца через два после нашего приезда Радль читал в «Чешско-Русской Едноте» публичную лекцию о характере русской философской литературы, появившейся во время войны и эмиграции, имея в виду книги Бердяева, Шестова, Франка. Всю ее он изображал, как «реакционную». Во время прений я указал на односторонность его критики и на фактические неточности, состоявшие в том, что некоторые книги, указанные им, как проявление «реакции», вызванной революциею, на самом деле были вторым изданием книг, написанных задолго до революции. В газете коммунистической партии на следующий день появилась заметка о «реакционном» выступлении профессора Лосского, а дня через два ко мне в «Свободарню» пришел какой-то, по-видимому, рабочий и стал расспрашивать меня, почему я приехал в Чехословакию, долго ли я собираюсь пробыть в ней и т. п. Это был какой-то коммунистический соглядатай.

Очень характерную лекцию прочитал через несколько лет Радль под заглавием «О чешском нерасположении к философии». В общем все же отношения между Радлем и мною были не плохие. К сожалению, через год после Международного Философского Съезда, состоявшегося в Праге в 1934 г. и организованного под председательством Радля, у него, вероятно, вследствие переутомления произошел апоплексический удар, выключивший его из общественной жизни. После его кончины в 1945 г. был напечатан его посмертный труд «Утешение в философии». В нем он высказывается уже, как сторонник христианской философии, высоко ценящий средневековую философию.

Профессор Козак, по-видимому, прямо не выносил меня и моей философии. Так как он хорошо знал английский язык, то я ежегодно приносил ему в его профессорский кабинет в университете издаваемые Русским Научно-Исследовательским Объединением брошюры мои „Intuitivism“, „Transsubjectivity of sense-qualities“ и т. д., совокупность которых составляет

книгу, изданную по-русски под заглавием «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция». Из этих брошюр он мог получить точное представление о моей теории знания. Он не удосужился прочитать ни одного из моих сочинений и тем не менее позволял себе пренебрежительно отзываться о моей философии. Мой интуитивизм он считал наивною верою, „animal faith“ (животною верою) в существование и познаваемость внешнего мира. Однако он сказал мне однажды, что я имел влияние на выработку его теории знания, которую он надеется закончить и опубликовать через несколько лет. «Вы увидите тогда», говорил он, «что я принимаю во внимание *идеальный* аспект знания». Тут мне стало понятно, каким образом я мог повлиять на него, хотя он и не знал моей гносеологии. В 1930 г. я написал статью «Современная философия в Чехословакии». Она была напечатана не только по-русски, но и по-чешски. В ней я, между прочим, излагал и критиковал статью Козака „Zákon ekonomisace životních funkci a jeho důsledky pro teorii logickou“ (Nové Atheneum, 1920). В этой статье Козак ставит себе целью освобождение от крайностей и психологизма, и логицизма. Тем не менее она имеет характер своего рода биологизма в логике. Заканчивая критику этой статьи, я сказал: «Замечательно, что удовлетворить требования логицизма Козак надеется не путем углубления в область идеальных смыслов (всякий намек на идеальное вызывает у Козака снисходительную улыбку или сарказм), а, наоборот, путем выхода наружу в область объективных фактов — речи, знака и т. п.».

Козак был советником издателя Лайхтера по вопросам, касающимся печатания философских книг. А. А. Тескова обратилась к Лайхтеру с предложением напечатать по-чешски перевод какой-либо из моих книг, например «Свобода воли», которая была мною посвящена «чехословацкому народу, давшему мне возможность продолжать философскую деятельность в годы изгнания». Козак написал Лайхтеру, что книгу мою не следует печатать потому, что многие произведения классиков, например Канта, еще не изданы по-чешски.

Добрые отношения были у меня с профессором философии Немецкого Карлова университета Оскаром Краусом. С ним и его семьею я познакомился благодаря его секретарю

молодому русскому философу Георгию Михайловичу Каткову.[31] Оба они были сторонниками философии Ф. Брентано. В Праге, благодаря щедрой поддержке президента Масарика, бывшего учеником Брентано, основался Брентановский Институт. Директором его был Краус, а секретарем Катков. После оккупации Чехии Гитлером оба они уехали в Англию, в Оксфорд.

Много разнообразия и содержания вносили в мою жизнь поездки за границу для чтения лекций и участия в Философских съездах, а также поездки всей нашей семьи. Перечислю только главные из этих поездок. В 1924 г. я был на Международном Философском Съезде в Неаполе и на обратном пути проехал через Турин в Париж. В марте 1925 г. я был приглашен в Варшаву прочитать две лекции в Польском Философском Институте. Много хлопотал о том, чтобы это приглашение состоялось, Ф. Я. Парчевский, бывший моим слушателем в Петербургском университете. Одною из целей этого приглашения было намерение предложить мне кафедру философии на Православном отделении Богословского факультета в Варшавском университете. Мне намекали при этом, что со временем я могу получить кафедру и на Философском факультете. Уже едучи в Варшаву, я решил, что никоим образом не приму этого предложения. Я понимал, что в Варшаве мое положение было бы невыносимо трудным. Польское государство оказалось крайне нетерпимым в отношении к Православию и к русской народности. Малороссов поляки считали нерусскими, настаивая на том, что украинцы — ветвь польского народа. Белорусов они тоже старательно отграничивали от русских. Митрополит Дионисий, принимая меня, подвел меня к столу, на котором лежали издания его метрополии; он показал мне, между прочим, журнал, издаваемый на белорусском диалекте, ужасающе неэстетичном и некультурном. Особенно тяжело было для меня то, что польское общество, имея в виду наличие во мне польской крови, выдавало меня за поляка. Несмотря на мою симпатию к польскому народу и признание его высоких духовных достоинств, всё это шло вразрез с моим русским национальным сознанием.

Для беседы о моем вступлении в состав Богословского факультета я был приглашен в комиссию, организовавшую

факультет; в нее входили профессор юридического факультета, бывший в то время ректором или деканом, митрополит Дионисий и еще третье лицо. В конце беседы председатель комиссии спросил меня, как относится русская эмиграция к самостоятельной Польше. На это я ответил, что русская либеральная интеллигенция всегда была сторонницею восстановления Польши, но теперь, после советско-польской войны, она единодушно держится мнения, что восточная граница Польши должна быть пересмотрена. Я имел в виду белорусские и малорусские губернии и уезды, отнятые Польшею у России. Профессор сказал: «Мы, славяне, глупо поступаем, враждуя между собою; нам следовало бы образовать федерацию».

Когда мне задали вопрос, кого я советовал бы пригласить на Православное отделение для чтения философских лекций, я особенно указывал на Н. С. Арсеньева. Он действительно был приглашен и с тех пор периодически приезжал в Варшаву, продолжая жить в Кенигсберге и преподавать в тамошнем университете.

В Варшаве я жил в милой семье профессора философии Тадеуша Котарбинского, весьма привлекательного человека. К сожалению, он был сторонником какой-то замысловатой разновидности материализма. В спорах с ним я указывал на то, что и я высоко ценю телесную сторону жизни и, будучи персоналистом, утверждаю, что все духовное и душевное воплощено; поэтому я могу назвать свою систему *пансоматизмом*, настаивая однако на том, что телесная сторона находится в подчинении у духовной и душевной. Котарбинский впоследствии называл иногда свою философию пансоматизмом, однако не в указанном мною смысле. С течением времени он сблизился с пражскими брентановцами и они называли свое направление *реизмом* (от res — вещь).

В Варшаве я каждый день виделся с Евгениею Константиновною Лосскою. Лишившись всего имущества, она служила в канцелярии какого-то учреждения, получая грошевое жалованье. Дочь ее, Людмила, во время гражданской войны, переодетая крестьянкою, попала в руки большевиков на станции Жмеринка. По рукам они тотчас определили, что она не крестьянка, и расстреляли ее.

С Евгениею Константиновною я повидался в Варшаве еще

несколько раз года через два, когда Лапшин, Бердяев, Франк и я приезжали на Съезд польских философов с приглашенными из всех славянских стран гостями. В это время у Евгении Константиновны началась неизлечимая, чрезвычайно мучительная Паркинсонова болезнь. Она лежала в приюте для русских беженцев в предместье Варшавы, называющемся Прага. С каждым годом болезнь ее прогрессировала. Под конец она уже не вставала с постели, пальцы рук у нее были скрючены, делались пролежни, она постепенно угасала. Ежемесячно я посылал ей из Праги небольшую сумму денег для улучшения питания. Во время войны, после разгрома Варшавы, Евгения Константиновна скончалась 6 октября 1939 года.

В 1927 г. я был приглашен в Православный Богословский Институт в Париже на весенний семестр прочитать там курс по истории новой философии. Среди слушателей моих были выдающиеся молодые люди, например князь Шаховской (впоследствии архимандрит Иоанн, основавший в Берлине издательство «За Церковь», теперь епископ Сан-Францисский), от. Исаакий Виноградов (позже архимандрит, служивший в Праге и после оккупации ее советскими войсками перемещенный в Алма-Ата в СССР), будущий священник Евграф Евграфович Ковалевский. Но было и несколько несколько странных слушателей, например один из студентов во время лекций часто крестился, как будто желая застраховать себя от соблазнов философии.

Весною 1927 г. мы были встревожены тем, что по утрам температура тела нашего Андрюши всегда оказывалась несколько повышенной. Врачи посоветовали отвезти его на несколько недель летом во Францию в какое-либо купальное место на Атлантическом океане. Людмила Владимировна поехала с ним на шесть недель в Pontaillac вблизи города Royan. Купанье в море оказалось очень полезным для Андрея. В июне исполнилось двадцать пять лет со дня нашей свадьбы и по этому поводу я получил следующее письмо от своей жены.

Дорогой мой Коля,

Вот уже 25 лет прошло со дня нашей свадьбы. Издалека обнимаю тебя и крепко целую. Не смею поздравить тебя в

этот день, так как не знаю, доволен ли ты прожитою со мной жизнью. Думаю, что я не вполне удовлетворила тебя; я знаю, что я не достаточно умна и интересна для тебя. Про себя скажу, что я бесконечно счастлива с тобою и любовь моя к тебе не уменьшается, а растет с годами. К любви моей еще присоединяется и гордость тобою и восхищение.

Большое счастье в нашей жизни дают нам наши дети. Они все трое хороши, хотя и совершенно различны. Володя всегда был умен и интересен, но я нахожу, что за последнее время он как-то еще развернулся; нет в нем прежней угрюмости, явилась какая-то мягкость и открытая веселость; в Париже он пользуется общею любовью, и не от одного Сергея Ивановича слышала я восхищение: «Какая вы счастливая, что у вас такой сын». Они не знают, что другие наши сыновья не хуже старшего и в другом роде также интересны и милы. Чего стоит например наш бесшабашный, талантливый и прелестный Борис с его необыкновенно чуткой и нежной душой! А Андрейка, у которого глаза разбегаются на весь мир, желая все постичь и все узнать; он часто сообщает мне много нового из разных областей, чего я и не знала; и откуда только он все это почерпает?

Одно страшное горе постигло нас в нашей совместной жизни, взята у нас наша жемчужина, наша Маруся; сегодня как раз день ее рождения и она особенно живо вспоминается с ее милой приветливой улыбкой на счастливом открытом личике. Сколько любви и радости она нам давала!

Пишу тебе и вся наша жизнь за 25 лет проходит перед глазами. Много было счастья и радости и даже последние ужасные революционные года не могут вычеркнуть из памяти все то хорошее, что нам пришлось пережить. Я всегда боялась за наше счастье и потому боялась будущего. Когда я тебе это говорила, ты находил это неправильным. Ты говорил, что человек должен стремиться вперед все к новому и новому, в этом лежит залог прогресса . . . Это конечно верно. Но для себя мне хотелось, чтобы жизнь остановилась и ничто не менялось. С благодарностью вспомним в наш юбилейный день милых близких, уже ушедших от нас, так много давших нам и нашим детям, я говорю об Адели и Мазясе. Милая Аделаида Антоновна, конечно, тоже будет с нами в этот день и мы почувствуем ее благословляющую руку.

Поблагодарим от нас маму за все, что она сделала для нас. Ведь только за ее спиною мы могли так спокойно и счастливо прожить, и твоя ученая деятельность так широко и полно развернуться; ты никогда не знал заботы о куске хлеба и ради него никогда не прерывал интересующей тебя работы.

Еще раз обнимаю тебя, милый мой, доргой Коля. Будем хоть мысленно вместе в день 3/16 июня.

Твоя старуха Мума.

Читая это письмо, я вспоминал слова психиатра Крогиуса, что я самый счастливый человек в России: занят любимою своею работою в условиях семейной жизни, благоприятной для нее.

В 1928 г. было решено, что вся наша семья проведет лето во Франции. Наш Владимир искал для нас помещения в Pontaillac. Получив письмо с предложением квартиры в вилле Providence, владелица которой имела фамилию Surdieu, Владимир нанял помещение, прельщенный этими именами, и в самом деле оно оказалось во всех отношениях превосходным. Поездка наша во Францию была предпринята главным образом потому, что летом должна была состояться свадьба нашего Владимира. Проходя курс Сорбонны, он познакомился с учившеюся там же русскою эмигранткою Магдалиною Исаакиевною Шапиро. Она была дочерью Исаака Сергеевича Шапиро, петербургского банкира, потерявшего в эмиграции все свое состояние, потому что он употребил свои деньги на покупку германской валюты. Дочь его Магдалина изучала в Сорбонне греческий язык, увлеклась христианством и была крещена митрополитом Евлогием. В Сорбонне она с увлечением читала творения Восточных Отцов Церкви на греческом языке. На этих занятиях и состоялось знакомство нашего Владимира с Магдалиною, закончившееся браком.[32] Венчал их митрополит Евлогий в церкви Сергиевского подворья в день Св. Духа. Праздник этот приобретал для нас все большее значение, так как многие важные события в нашей семье происходили в этот день. После свадьбы молодые совершили поездку по Италии и после нее присоединились к нам в Pontaillac'e. В этом купальном месте собрались

на лето многие видные деятели евразийства того времени — П. П. Сувчинский, Н. Н. Алексеев, В. Э. Сеземан, С. Ефрон (муж писательницы Цветаевой), Карсавин. Общение с Львом Платоновичем на пляже сопутствовалось у нас, как всегда, оживленными спорами по основным религиозно-философским вопросам. Ефрон производил впечатление очень мягкого культурного человека. Поэтому тяжелое впечатление произвело известие о том, что он был тайным большевиком, когда он бежал в СССР после того как в Швейцарии был убит Рейс.[33]

Из Франции семья наша вернулась в Прагу, а я поехал через Швейцарию в Белград, где состоялся Съезд русских зарубежных ученых. После Съезда я оставался в Белграде, по приглашению Русского Научного Института, еще четыре месяца, чтобы прочитать курс о чувственной, интеллектуальной и мистической интуиции. Философ Бронислав Петроневич, находившийся в это время в отставке, устраивал каждое воскресенье двухчасовую беседу со мною в своем кабинете в здании университета. Мы с ним оживленно спорили по вопросу о транссубъективности чувственных качеств и слегка касались иногда вопроса о бытии Бога, которое Петроневич отрицал. Несмотря на наши философские разногласия, общение с этим благородным, привлекательным человеком было очень приятно. Живое и приятное философское общение было у меня также с Евгением Васильевичем Спекторским, который устраивал беседы профессора А. Билимовича со мною по вопросу об основных понятиях естествознания. Большое оживление в культурную жизнь вносил в Белграде Петр Бернгардович Струве разносторонностью своих взглядов и интересов. Пользуясь какими-то юбилеями, он побудил меня прочитать доклад о философии Б. Н. Чичерина и немецкого философа А. Ланге, автора «Истории материализма».

В феврале 1929 г. я совершил поездку в Швейцарию, где прочитал доклады в Базеле, Цюрихе, Берне и Женеве. На пути в Женеву я остановился на три дня в Лозанне, чтобы повидаться с Федором Измаиловичем Родичевым и его семьею. Мария Николаевна всегда была дружна с их милою семьею. Обе дочери Родичевых София и Александра были ученицами гимназии Стоюниной. Федор Измаилович, как и

следовало ожидать, ярко обличал бесчеловечность большевицкой власти, но не менее страстно осуждал он и некоторые стороны дореволюционного режима, например, однажды он заговорил о наказании розгами, которому до 1905 г. мог подвергать крестьян волостной суд; воспоминание об этом печальном явлении вызвало в нем припадок бешеного негодования. Дочь Родичева Александра Федоровна написала обстоятельные воспоминания о своем отце, сообщая попутно много ценных фактов, характеризующих реакцию времен Александра III и нападения, которым подвергалась кадетская партия со стороны политиков «левее кадет». Подтверждая свои сообщения документами, она показывает, как ее отец осуждал революционную деятельность крайних левых и как много созидательной работы он совершил в тверском земстве. Как интеллигент, работавший не за страх, а за совесть на пользу России, он заслуживал награду, а не участь Герценштейна и Иоллоса, которую ему готовил Союз Русского Народа.[34]

В Базеле приятно было общение с Эльзою Эдуардовною Малер. Учась в Петербургском университете, она начала специализироваться по классической филологии, а после революции стала в Базеле профессором русской культуры. Вместе с нею и с доктором F. Lieb'ом, протестантским богословом, мы пошли в окрестностях Базеля в Dornach посмотреть Goetheanum антропософов. Нас встретила там бывшая жена Андрея Белого, урожденная Ася Тургенева. Она заведовала росписью стекол Goetheanum'а, которая производилась следующим образом. По толстому стеклу струилась вода и в разных местах действием сверла уменьшалась в различной степени толщина стекла, благодаря чему при дневном освещении получались воздушно утонченные изображения каких-то духов, почитаемых антропософами. Внешний вид здания производил впечатление гриба, замкнутого в себе и враждебно настороженного против остального мира.

В 1930 г. вся наша семья провела лето в Бретани в городке Plouha. Бретань стала нас давно уже интересовать после того, как мы прочитали в Петербурге сборник бретонских легенд, переведенных на русский язык ученою библиотекаршею Высших Женских Курсов Балабановою. Наше любопытство было вполне вознаграждено. Сама страна эта так непохожа

на другие, что кажется сказкою. Извилистые скалистые берега ее сурово смотрятся в море и под ними в углублениях гнездятся осьминоги. Во время больших отливов мы видели тела их на песке, когда за ними охотился моряк, брат нашей хозяйки. Тонкие деревья с извилистым стволом производили вечером при сумерках впечатление змей, высоко поднявшихся и стоящих на своем хвосте. На больших дорогах всюду стоят распятия, иногда сопутствуемые статуею Божией Матери и апостола Иоанна. Во время праздников часто устраиваются пышные процессии с епископом во главе. Благодаря обилию лесов и богатой растительности всюду есть красивые пейзажи, но, к сожалению, любоваться ими редко удается. Виноват в этом крайний партикуляризм бретонцев. Каждая ферма в Бретани окружена высоким забором; внизу это — земляная насыпь, а над нею высится еще живая изгородь. Поэтому, гуляя по проселочным дорогам и тропинкам, видишь направо и налево от себя только эти стены, и вся дорога превращается в скучное ущелье. Неприятен также и политический партикуляризм бретонцев, отгораживающихся от Франции и подчеркивающих свое неприязнь к ней.

В Plouha провел вместе с нами лето Mr. Duddington со своею дочерью Аничкою. Вместе с ним я поехал в Англию, чтобы принять участие в Международном Философском Съезде в Оксфорде. Перед тем, как садиться на пароход в городе St. Malo, мы посетили гробницу Шатобриана. Могила его находится на мысу, соединенном с материком узкою полоскою земли, заливаемою во время прилива водою. Глубокое впечатление производит это место одинокого покоя великого писателя, скала, у подножия которой неумолчно плещутся морские волны.

Осенью состоялся в Софии Съезд русских зарубежных ученых. Болгарское правительство воспользовалось этим случаем, чтобы показать нам красоты и достопримечательности Болгарии. Нам организована была поездка частью в автомобилях, частью по железным дорогам. Мы были в Долине Роз, в древней болгарской столице Трново, находящейся в чрезвычайно живописной местности, были в Рыльском монастыре, проезжали через Шипкинский перевал, посетили Плевну. В каждом городе устраивался банкет, произноси-

лись речи, было живое общение, ярко выражавшее любовь болгарского народа к России и к русским.

В 1930 г. произошел мучительный раскол в Православной Зарубежной Церкви, управляемой митрополитом Евлогием. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий обратился к Зарубежной Церкви с требованием лояльности к советскому правительству. В Париже по этому вопросу состоялся съезд духовенства с представителями от мирян. В съезде участвовало и Братство св. Фотия, державшееся убеждения, что нельзя отделяться от Матери-Церкви, руководясь политическими соображениями. Как только представитель Братства, получив слово, начал высказывать эту мысль, его прервали грубыми окриками и не дали возможности говорить. Оскорбленные этим грубым фанатизмом члены Братства вышли из юрисдикции митрополита Евлогия и основали несколько приходов, которые сохранили связь с Московскою Патриархиею и были непосредственно подчинены Ковенскому митрополиту Елевферию, а он в свою очередь — Московскому Синоду.

От 1932 до 1938 г. мы проводили летние месяцы в двух километрах от города Vysoké Mýto в местности, называемой Vinice. Мы нанимали там виллу сестер Ноэми и Юлии Иречковых. У них были две прелестные виллы, полученные в наследство от отца их Герменегильда Иречка (Jíreček), специалиста по истории права славянских народов, жившего в Вене. Ноэми, старшая из сестер, была выдающеюся пианисткою и в молодости уже давала с большим успехом концерты, но начавшийся туберкулез заставил ее прекратить эту деятельность. Особенною любовью ее пользовался Бетховен. Все сонаты его она исполняла, несмотря на свои 70 лет, с бурным темпераментом и силою. В библиотеке ее были все сочинения о Бетховене. Кроме того, у нее было много великолепных книг по истории искусства и, давая их читать нашему Борису, когда он приезжал из Парижа, она беседовала с ним, проявляя большие знания в этой области. Были также в ее библиотеке и клинические лекции по медицине. Живя в деревне, она считала необходимым иметь медицинские знания, чтобы оказывать помощь соседям. Когда однажды наш Андрей заболел, и я опасался, не началась ли у него скарлатина, Ноэми ясно и толково доказала, что мои опасения не

обоснованны. Мои сочинения, переведенные на английский, немецкий и чешский языки, она прочитала и вполне усвоила сущность моей философии. Когда наш сын Борис получил французское гражданство и должен был отбывать во Франции воинскую повинность, он подвергнулся медицинскому осмотру при французском консульстве в Праге. Осматривавший его доктор чех, узнав, что летом он живет в вилле Иречковых, сказал: «Ноэми Иречкова — гениальная женщина».

В 1937 г. летом состоялось в Винице венчание нашего сына Бориса с Надеждою Константиновною Георгиевою, дочерью делопроизводителя болгарского консульства в Праге Константина Георгиевича Георгиева, болгарского писателя.

В 1929 г. начался экономический кризис. Помощь русским эмигрантам стала сокращаться. Русский Юридический и Историко-Филологический факультеты закрылись. Многие видные русские ученые выехали в другие страны. В нашей семье Мария Николаевна Стоюнина лишилась половины стипендии и нам стало очень трудно жить. Большую услугу оказал нам в это время С. И. Гессен и Владимир Григорьевич Иоллос, сын Иоллоса, убитого террористами Союза Русского Народа. Иоллос был сотрудником „Neue Züricher Zeitung“ и приехал из Швейцарии в Чехословакию с целью написать корреспонденции об этом государстве. Когда стало известно, что он получит аудиенцию у президента Т. Масарика, Гессен попросил его сказать, беседуя с президентом, о тяжелом экономическом положении нашей семьи. Иоллос исполнил эту просьбу, и наша семья получила из Канцелярии президента пособие, 12 000 крон. Впоследствии при содействии господина Řiha, заведующего Канцелярией президента, наша семья при жизни Масарика и его преемника Бенеша несколько раз получила пособие из того же источника. Когда экономическое положение С. Л. Франка в Германии при Гитлере стало очень тяжелым, Канцелярия президента раза два ассигновала и ему пособие. Переслать эти деньги открыто в Германию было нельзя. Поэтому г-н Řiha передал деньги мне, а я, по указанию Семена Людвиговича, отправлял их в Карлсбад одному врачу, который каким-то образом доставлял их Франку.

Живя спокойно в Праге благодаря поддержке чехословацкого правительства, я написал несколько книг и много ста-

тей. Свою гносеологию я дополнил подробным исследованием вопроса о чувственных качествах, о видах идеального бытия, об отношении абстрактно-идеального бытия к реальному, то есть к временно́му и пространственно-вре́менно́му бытию, и учением о мистической интуиции. Все это изложено в книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция».

Вопрос об абстрактно-идеальном бытии решен мною следующим образом. Абстрактно-идеальное бытие, например математические идеи или идеи родов и видов, например идея лошадности не имеют творческой силы и потому не могут сами себя реализовать в пространстве и времени. Мало того, они не могут существовать сами по себе. Индивидуальные субстанциальные деятели суть носители этих идей. Обладая творческою силою, они творят события, то есть реальное бытие, сообразно тем или другим идеям. Например, субстанциальный деятель, усвоивший идею лошадности, организует свое тело и творит свою жизнь сообразно этой идее. Поскольку и другие субстанциальные деятели усваивают и реализуют эту идею, вид животных, называемых лошадью, размножается. Каждый деятель, удовлетворенный лошадиным типом жизни, реализует идею лошадности свободно и сообразно своему прошлому опыту, своим вкусам и условиям среды, творит свою жизнь с многими индивидуальными отличиями от жизни других лошадей. Таким образом возникают многие разновидности лошадей и даже в дальнейшем процессе развития новые виды животных.

Такую метафизику я называю словом идеал-реализм, разумея под этим термином учение о том, что реальное, то есть временно́е и пространственно-временно́е бытие твориться не иначе, как на основе идеального бытия. Выражая сущность своей метафизики словом идеал-реализм, я, конечно, даю определение этого термина. Философы, привыкшие обозначать словами идеализм и реализм гносеологические направления, несовместимые друг с другом, вообраажают, что мой идеал-реализм есть какая-то невероятная нелепость. Они упускают из виду мое определение этого термина, из которого следует, что я обозначаю им особый вид метафизики, а не гносеологии. В журнале „Mind“ появилась рецензия на

мою „Handbuch der Logik“; рецензент говорит, что понятие «идеал-реализм» есть абсурд.

Согласно учению, разработанному мною, *общее подчинено индивидуальному*, потому что индивидуальные деятели суть носители общих идей, свободно реализующие их. Это учение есть синтез ценных сторон средневекового реализма, то есть учения о бытии универсалий, с номинализмом, поскольку номинализм выдвигает на первый план индивидуальное единичное бытие.

В 1911 г., выработав основы гносеологии, я напечатал «Введение в теорию знания». Теперь, выработав основы метафизики, я написал введение в метафизику под заглавием «Типы мировоззрений». Из числа статей о метафизических проблемах я считаю наиболее существенными две: «Принцип наибольшей полноты бытия» и «Что не может быть создано эволюциею?». В первой из них я устанавливаю существование пар соотносительных понятий, таких, что если первое из них признать первоначальным, то на основе его можно найти в составе бытия место и для второго понятия; наоборот, если признать первоначальным второе понятие, то для первого не будет места в строении мира и таким образом состав бытия окажется обедненным. Таковы, например, понятие сплошности и прерывистости: на основе сплошности могут существовать различные виды относительной прерывистости; наоборот, от прерывистости никак нельзя прийти к сплошности.

В статье «Что не может быть создано эволюциею?» я начинаю с более общего и притом бесспорного понятия «изменения». Изучая условия возможности изменения, которые, конечно, не могут быть произведены изменением, я обосновываю существование эволюции и вместе с тем те условия эволюции, которые не могут быть произведены ею. Профессор Во́ровка сказал об этой статье, что в ней я решаю вопрос об эволюции методом, подобным тому, каким Кант в «Критике чистого разума» устанавливает условия возможности естествознания, как системы общих и необходимых синтетических суждений.

Статья «Учение Лейбница о перевоплощении, как метаморфозе» возникла по случайному поводу. В 1930 г. С. И. Гессен, И. И. Лапшин и я беседовали о различных философских

вопросах и Гессен высказался против моего учения о перевоплощении. Я сказал, что нахожусь в хорошей компании: Лейбниц держится учения о перевоплощении. Мои собеседники усомнились в этом. Тогда я сказал, что напишу статью, в которой докажу наличие этого учения у Лейбница. У меня был конспект всех философских трудов Лейбница, напечатанных Герхардтом. Месяца через два статья моя была готова. К сожалению, в то время я не знал книги Hansche „Leibnitii Principia philosophie“ (1727). По словам Ганше, современника Лейбница и сторонника его философии, Лейбниц однажды за чашкою кофе сказал, что в выпитом только что кофе есть монады, которые, может быть, станут со временем людьми.

Вскоре после 1930 г. Б. В. Яковенко организовал по поводу моего шестидесятилетия издание книги „Festschrift N. O. Losskij zum 60. Geburtstage“, в которой находится полная библиография моих работ, написанных до 1930 года.

Главною задачею моею в это время был переход от теоретической философии к практической. Задумав написать книгу по этике, я решил предпослать ей две книги: «Свобода воли» и «Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей». Выделить учение о свободе воли и общее учение о ценностях я считал необходимым для того, чтобы книга, излагающая систему этики, не имела такого большого объема, как соответствующие труды М. Шелера и Николая Гартманна. В этике, а также в книге «Бог и мировое зло» я объясняю все виды зла, все несовершенства вселенной очень просто, выводя их из эгоизма субстанциальных деятелей, ведущего их к удалению от Бога и взаимному равнодушию или даже борьбе друг против друга. Даже природные катастрофы, извержения вулканов, наводнения, разгул стихий и все несовершенства природы можно объяснить таким образом, исходя, конечно, из метафизики персонализма, то есть из учения о том, что даже электроны, атомы, растения, животные суть потенциальные личности и все эти типы жизни выработаны ими самими.

Французский экзистенциалист Сартр говорит, что философы полагают в основу своих учений сущность (essentia) предметов и потом уже ставят вопрос о том, какие сущности обладают существованием (existentia). Экзистенциалисты же на-

чинают с впороса о существовании, потому что всякое существо само творит свою сущность, то есть само свободно вырабатывает свой характер и потому ответственно за него. Мой персонализм именно и есть такое учение. Но оно глубоко отличается от экзистенциализма Сартра. Всякое существо есть сверхвременный и сверхпространственный деятель, ответственный за то, вносит ли он в мир своим характером и поступками добро или зло, потому что он не только свободно творит свой характер и поступки, но еще и, по крайней мере, в подсознании связан со всею системою ценностей, а потому может, если правильно использует свою творческую силу, вступить на путь абсолютного добра и тогда удостоиться стать членом Царства Божия. Учение о свободе, о системе ценностей и о возможности реализации абсолютного добра можно развить не иначе, как на основе религиозного миропонимания, согласно которому мир есть творение Бога, всемогущего, всеведущего и всеблагого. Атеистическая философия Сартра не может объяснить свободы и ответственности деятелей, из которых состоит мир; она поэтому есть учение, не продуманное глубоко и висящее в воздухе без фундамента.

Приблизительно в 1935 г. ко мне приехал из Берлина молодой немец Евгений Францевич Ассманн. До первой войны его родители жили в России. Он родился в России и говорил по-русски, как русский. Во время войны правительство, относившееся к немцам с подозрением, сослало его семью на восток Европейской России в какую-то болотистую местность. Мальчик Ассманн заболел там туберкулезом; благодаря своему могучему телосложению он преодолел эту болезнь, но она в значительной степени разрушила сетчатку его глаз, так что зрение его было очень слабое. В Германии он, как немец, пострадавший от войны, получил от правительства небольшой домик на окраине Берлина (Frohnau, Senheimer Strasse 17) и занялся своим образованием. Изучая философию и желая получить степень доктора, он обратился к профессору Берлинского университета Николаю Гартманну, советуясь о том, какую тему взять для диссертации. Гартманн предложил ему написать диссертацию о моем интуитивизме. Ассманн сказал, что это, вероятно, что-нибудь несерьезное, не содержащее в себе точно выработанных философ-

ских понятий. Гартманн ответил ему, что, наоборот, мои работы отличаются большой систематичностью. Николай Августович Гартманн был прибалтийский немец; он знал русский язык в совершенстве и читал мои книги по-русски.

Когда Ассманн познакомился с моим интуитивизмом, он увлекся им и несколько раз приезжал ко мне в Прагу, чтобы пользоваться моими указаниями и разъяснениями. Он собирался написать весьма обстоятельную книгу о моей гносеологии и говорил, что можно доказать влияние моего интуитивизма на немецкую философию.

Евгений Францевич был очень привлекательный молодой человек, совмещавший в себе лучшие качества немецкого народа. Несмотря на бедствия, пережитые в России во время войны, он любил русский народ и русскую культуру. Он писал даже стихи на русском языке и печатал их на свои средства. Особенно увлекался Ассманн Достоевским. Он задумал издать сборник статей о Достоевском и предложил мне написать большую статью об отношении Достоевского к проблемам общественной жизни. Я согласился взяться за эту работу, потому что в течение многих лет, читая и перечитывая Достоевского, я записывал основные мысли его о Боге, о Христе ,о ценности личности и т. п., но также и о социализме, о характере русского народа, о пережитом им «перерождении убеждений». Я начал читать литературу о Достоевском. Через полгода получилось письмо от Ассманна о судьбе сборника. Он обратился в управление по делам печати, чтобы получить разрешение на печатание сборника, но получил ответ, что печатать книгу о Достоевском не разрешается потому, что его мировоззрение не соответствует героическому идеалу немецкого народа. У меня к этому времени накопилось столько материала о Достоевском, что я решил написать книгу о всем мировоззрении его и дать ей заглавие «Достоевский и его христианское миропонимание». Таким образом я до некоторой степени исполнил совет Николая Васильевича Тесленко, который однажды сказал мне, что я должен написать книгу о ценности христианства наподобие книги Шатобриана „Le génie du Christianisme“. Я тогда купил эту книгу Шатобриана, но, почитав ее, нашел, что она скучна, и не дочитал ее до конца. Теперь, понимая, что у меня нет достаточных знаний о христианстве в целом, я

решил использовать одну из разновидностей христианства, именно понимание его таким гением, как Достоевский. Книгу эту я написал, как апологию христианства посредством понимания его Достоевским.

Дальнейшая судьба Ассманна была такова. Долго не получая от него писем и не имея ответа на свое письмо, я написал в Берлин одному русскому, вступившему со мною в переписку по религиозным вопросам. Он написал мне длинное письмо, в котором между прочим было слово „verschwunden". По-видимому, это значит, что Гестапо обратило внимание на русофильство Ассманна, и он «исчез». В 1958 году я узнал, что Ассманн уцелел и стал инженером. У нас восстановились дружеские отношения.

Печатание книг было для меня легким делом в России до революции. Вне России в эмиграции мне с большим трудом удавалось находить издательство. YMCA-PRESS напечатало мою книгу «Свобода воли». Б. П. Вышеславцев советовал мне найти какое-либо эффектное заглавие, но я не согласился, ценя простые заглавия классической философской литературы. Книга «Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей» была напечатана в издательстве YMCA-PRESS, но на мои средства. «Типы мировоззрений» были напечатаны издательством «Современных Записок» благодаря Илье Исидоровичу Фондаминскому (Бунакову). Фондаминский был одним из «святых» русской революции, говорит о нем Ф. А. Степун в своей книге „Vergangenes und Unvergängliches" (т. I, стр. 149). Он обладал широким кругозором, интересовался философиею и был человеком религиозным. Благодаря его влиянию могла быть напечатана в «Современных Записках», например, моя статья «Что не может быть создано эволюциею?». Когда он перед второю мировою войною основал издательство для печатания научных и философских трудов, он принял мою этику и собирался издать ее в начале 1940 г., но война погубила это издательство, а потом нацисты убили и самого Фондаминского. Этика моя «Условия абсолютного добра» была напечатана в YMCA-PRESS в 1949 году.

Когда была напечатана в высшей степени ценная книга от. Георгия Флоровского «Пути русского богословия», мне было предложено написать на нее рецензию для журнала

«Русские записки». В этой рецензии я отметил высокие достоинства книги от. Георгия, но указал, что в своих оценках современной русской религиозной философии он слишком строг. Рецензия моя, как я узнал от отца Георгия недавно в Нью-Йорке (пишу об этом летом 1951 г.), не была напечатана. Оказывается, в Париже решено было замалчивать книгу от. Георгия ввиду его отрицательного отношения к новым течениям русской религиозной философии. Один только Бердяев поместил в «Пути» целую статью о «Путях русского богословия». В ней он едко раскритиковал крайнюю приверженность от. Георгия к традиционному содержанию богословия, однако был настолько справедлив, что признал значительность этого труда. Приятно отметить, что Бердяев, защитник свободы, не присоединился к сторонникам «Общественной цензуры», которая еще более отвратительна, чем цензура государственная.

Книгу «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» мне удалось напечатать по подписке. Организовал эту подписку Николай Васильевич Тесленко. Собрать удалось 3000 франков. На эти деньги книгу нельзя было напечатать в Париже. YMCA-PRESS, соединившись с дальневосточным издательством «Слово», напечатала эту книгу в Шанхае, пользуясь дешевым китайским трудом.

В 1932 г. я получил приглашение быть visiting professor'ом в летнем семестре 1933 г. в Stanford University в городе Palo Alto в тридцати милях от Сан-Франциско. Инициатором этого приглашения был русский эмигрант Генрих Эрнестович Ланц, который читал в Станфордском университете лекции по истории русской культуры. Во главе философского отделения стоял почтенный философ Henry W. Stuart, который согласился пригласить меня. Летний семестр длится десять недель. Мне предстояло каждую неделю читать одиннадцать лекций, то есть в течение семестра сто десять лекций. Вознаграждение за этот труд полагалось 2000 долларов.

Я подготовил для летнего семестра три философских курса: Введение в философию (значительная часть моей будущей книги «Типы мировоззрений»); Органический идеал-реализм; Русская, польская и чешская религиозная философия. Текст этих лекций составил около 1400 страниц, ко-

торые я послал для перевода в Лондон Наталии Александровне Деддингтон.

Месяца за два до отъезда я получил из Соединенных Штатов письмо от профессора философии John S. Marshall'a из колледжа Альбион в штате Мичиган. Оказалось, что профессор Маршалл читал все мои книги и статьи, переведенные на английский, немецкий и французский язык, знакомит обстоятельно студентов с моею философиею и даже перевел мою статью «Воскресение во плоти». Работу эту он выполнил так: учившийся у него русский студент Винокуров переводил статью плохим английским языком, а профессор Маршалл выражал содержание этого перевода хорошим английским языком. Отвечая Маршаллу, я сообщил, что летом приеду в Соединенные Штаты. Маршалл пригласил меня заехать к нему на обратном пути в Альбион.

У М. Н. Стоюниной во всех странах света были знакомые, бывшие ученицы ее гимназии. В Нью-Йорке жила Ольга Петровна Миллер, урожденная Попова. Она была ученицею гимназии и в самом начале XX века уехала с родителями в Париж, где занималась скульптурою. Она вышла замуж за американского архитектора Джона Мюллера. Мария Николаевна написала ей о моей поездке в Америку, и Ольга Петровна, бывшая моею ученицею в восьмом классе гимназии, предложила пожить у них перед отъездом в Сан-Франциско. Таким образом все складывалось очень благоприятно для трудного дела поездки в незнакомую страну, столь отличную от европейских стран.

В июне я поехал в Лондон в дружественную нам семью Деддингтонов, где прочитал несколько лекций мистеру Деддингтону, чтобы под его руководством исправить ошибки своего произношения, а затем пустился в плавание по Атлантическому океану на пароходе Аквитания. В пути меня беспокоил вопрос о «тепловых волнах» в Америке. После сол-нечного удара, перенесенного мною в Крыму, я боялся, что тепловая волна в Америке убьет меня. На пароходе ежедневно печаталась газета, и дня за два до приезда в Соединенные Штаты я узнал из нее, что в Нью-Йорке тепловая волна. Это известие встревожило меня, но через несколько часов я получил успокоившую меня радиотелеграмму Ольги Петровны, которая сообщала, что встретит меня на пристани. Семья

ее жила в это время на Long Island'е во Флешинге в превосходном особняке в саду. Оказалось, что в тени деревьев на свежем воздухе тепловая волна вовсе не страшна, если можно сидеть спокойно без мускульных напряжений.

Прожив три дня в гостеприимной семье Миллеров, я поехал в Сан-Франциско и на пути остановился в Чикаго на один день с целью повидать профессора Harper'а, с которым я познакомился лет двадцать пять тому назад, когда он приезжал в имение И. И. Петрункевича Машук, изучая русскую общественную жизнь и культуру. Подъезжая к Чикаго, я разговорился с Miss Snider, учительницею, желавшею слушать лекции на летнем семестре Чикагского университета. Она расспрашивала меня о России, была очень заинтересована этою беседою и оказала мне большую услугу: помогла найти профессора Харпера и обещала провожать меня вечером на вокзал.

С профессором Харпером я заговорил о страшном голоде 1932—1933 г. в самых плодородных областях России, в Малороссии и на Северном Кавказе. Голод этот был следствием политики советского правительства, стремительно организовавшего систему колхозов и желавшего сломить волю малороссийских крестьян и казаков, особенно настойчиво боровшихся против коллективизации. В «Последних Новостях» число погибших от этого голода исчислялось цифрою от трех до пяти миллионов. В настоящее время известно, что действительность была еще ужаснее: умерло от голода не менее пяти миллионов в Малороссии и не менее пяти миллионов на Северном Кавказе. Когда я заговорил об этом с Харпером, он сказал мне, что, собственно, в Советском Союзе был не голод, а «недоедание». Меня потрясло это замалчивание страшных преступлений большевицкого режима. Скоро однако я понял поведение Харпера. В то время он был одним из главных осведомителей американского правительства о Советском Союзе. Ему поэтому необходимо было часто ездить в Россию и, конечно, советское правительство перестало бы допускать его в Россию, если бы он широко рассказывал об ужасах советского режима.

Вечером мисс Снайдер заехала за мною, чтобы проводить меня на вокзал. Тут я понял, какую услугу она оказала мне: добраться до вокзала на трамваях с пересадками мне было

бы очень трудно. Впечатление, произведенное на меня городом Чикаго во время этой поездки на вокзал, было тяжелое. Философ Клагес в своей книге „Geist als Widersacher der Seele" характеризует этот город, как воплощение бездушной техники.

На вокзале, когда я стал в очередь для проверки билетов и распрощался с мисс Снайдер, я услышал, что дама и молодой человек, стоявшие передо мною, говорят по-русски. Оказалось, что это Винокуров с матерью. Таким образом я был в одиночестве не более одной-двух минут. Винокуров, окончив курс колледжа в Альбионе, ехал в Сан-Франциско, чтобы вернуться домой в Харбин. Большое удовольствие доставила нам обоим эта встреча. От Винокурова я узнал, что профессор Маршалл вместе с ним перевел целую книгу мою «Ценность и бытие». Я нашел в этом переводе, когда Маршалл прислал мне рукопись в Palo Alto, не более десяти, и то незначительных, неточностей. Присоединив к этой книге свое «Введение», Маршалл издал ее в Лондоне.

Винокуров оказался очень привлекательным человеком, увлеченным филсоофиею и намеренным содействовать насаждению философской культуры в Сибири. К глубокому моему огорчению я получил года через два сообщение о том, что он заболел тяжелою инфекционною болезнью и умер.

Город Palo Alto, восемнадцать лет тому назад был очень невелик, всего 10 000 жителей. Здания университета очень красивы. Церковь, служащая всем вероисповеданиям, красиво расписана. Звуки башенных часов, подражающие лондонскому Big Ben, очень нравились мне. Лекции мои в университете были расположены чрезвычайно удобно, во вторник, среду ,четверг и в пятницу, когда они кончались в 12 часов. Таким образом от полудня пятницы до утра вторника я был свободен и мог совершать большие поездки, чтобы знакомиться с достопримечательностями Соединенных Штатов. Ланцы, муж и жена, профессор математики Я. В. Успенский с женою, семья инженера Ганкина, жена которого была моею слушательницею на Высших Женских курсах в Петербурге, имея автомобили, возили меня в такие замечательные места, как Josemite National Park, Redwood Park, Tamalpais.

В России и во всей Европе было распространено представление об американцах, как о людях, занятых только добы-

ванием долларов и борющихся за свои интересы с безоглядною жестокостью. Мой опыт очень скоро опроверг эти представления. Оказалось, что общий характер отношений американцев к людям такой: приветливая улыбка, благожелательность, готовность помочь. В академических кругах я наблюдал идеализм, напоминающий свойства русской интеллигенции. Не понравились мне только рассказы Ланца и некоторых других знакомых об отношении американцев к эмоциональной жизни. Мне говорили, будто ребенок с малых лет воспитывается в мысли, что обнаружение чувств есть дело позорное. Подавление чувств доходит до того, что муж, любящий свою жену, отправляет после смерти ее тело на сожжение и сам не присутствует при этом, старается как можно скорее забыть о ней. Мать после смерти любимого ребенка очень скоро появляется в концерте и т. п. Теперь, когда я пожил в Соединенных Штатах пять лет, я сомневаюсь в том, что такие нравы общеприняты здесь.

Мой сын Андрей, которому было в то время 14 лет, задал мне в письме из Праги вопрос о характере американцев. Я ответил ему следующее. «Г. З. Ланц говорит, что американский юноша во многих случаях таков же, как Алеша Карамазов: он деятелен и во всякой обстановке сразу находит, что нужно сделать, чтобы помочь людям. Когда через год мы, даст Бог, прочитаем Братьев Карамазовых, Ты будешь поражен и подумаешь, что страна, где юноши — Алеши Карамазовы, должна быть идеальною. По моим наблюдениям, молодые люди того общества, с которым нам приходится иметь дело (дети интеллигентов), очень хороши, но добрые качества их созданы бессознательною практикою социального общения; а сознательная мысль у них слабо развита. Они мало способны к длительному и отвлеченному размышлению, и мне, как представителю науки, требующей именно этого качества, досадно видеть неустойчивость их мысли. Здесь слишком много развлечений; развлечения эти неплохи — спорт, поездки, наслаждения чудною природою и райским климатом. Но все же хочется, чтобы человек стоял выше всего этого и более глубоко думал о загадках мира и жизни».

В наше время христианский идеал абсолютного добра можно защищать не иначе, как с помощью глубокой фило-

софии, опровергающей материализм, позитивизм и всевозможные виды натурализма. В самом деле, абсолютное добро осуществимо не иначе, как в Царстве Божием, члены которого суть личности, обладающие преображенным телом. Эту мысль не понимают люди, воображающие, будто существует лишь наш строй бытия, в котором жизнь зависит в высокой степени от материальных процессов, изучаемых физикою, химиею, физиологиею. Даже среди духовенства есть лица, поверившие псевдонауке, отрицающей более высокие формы бытия. В Palo Alto я встретил протестантского священника, который утверждал, что воскресение во вплоти — только символ. Я сказал ему, что могу прочитать лекцию в пользу учения о воскресении во плоти, как реальности, а не символе. Он ответил: «Читайте; может быть вы вернете меня к первоначальной вере».

В мой профессорский кабинет в университете пришла однажды молодая дама и сказала, что она приглашает меня от имени небольшого клуба сделать небольшой доклад о советской «пятилетке». Через несколько дней вечером меня повезли в этот клуб. Мой доклад слушало около тридцати лиц. По вопросам, которые они мне задавали и беседам их между собою я понял, что это клуб богатых людей, имеющих торговые предприятия. В таких маленьких клубах у американцев подготовляются партийные политические выступления, обрабатывается общественное мнение и т. п. Ланц говорил, что существует множество таких маленьких клубов с самыми разнообразными целями. В Нью-Йорке, например, был даже «клуб для библейского просвещения собак»; в нем как-то воспитывали у собак религиозное чувство.

Клуб, в котором я делал доклад, был политически правый. Но в академических кругах, особенно среди молодежи, господствовали левые настроения, даже симпатии к советскому коммунизму. На банкетах и всяких приемах, которые часто устраивались в университете, меня окружала толпа академической молодежи. Они расспрашивали меня об СССР. Когда я рассказывал им о голоде, о терроре, об отсутствии независимого от политики суда, от меня некоторые из них отходили и до моего уха доносилось слово „partiality“ (пристрастность).

Я приехал в Соединенные Штаты в очень знаменательный момент истории этой страны. Соединенные Штаты были на краю пропасти вследствие экономического кризиса и чрезвычайного увеличения числа безработных. Политика Франклина Рузвельта, именно его National Reconstruction Act (NRA), то есть новая экономическая система спасла страну. Я писал домой: «сегодня вся мелкая торговля, кроме лавок со съестными припасами, перешла на сорокачасовую неделю. Почти во всех магазинах, промышленных предприятиях и т. п. появилась эмблема присоединения к экономической программе Рузвельта: крупные буквы NRA, под ними голубой орел и подпись „we do our part“. Уже в течение этих первых дней многие безработные получили места вследствие сокращения числа часов работы. Здешний профессор философии Браун говорит, что дальнейший ход экономических реформ приведет к ограничению доходов капиталистов, то есть к установлению maximum'а допустимого законом дохода. В настоящее время это и осуществлено путем налога на большие доходы, доведенного в некоторых случаях более, чем до 90%.

Нам русским, вследствие своеобразия наших духовных интересов, очень трудно долго жить в среде чужой культуры без общения с русскими. В Palo Alto я не испытывал этого неудобства. В этом маленьком городке оказалось много русских интеллигентов. Кроме Ланцов и русских служащих в Hoover Library (библиотека для изучения первой мировой войны и русской революции), большим удовольствием было для меня общение с профессором математики Яковом Викторовичем Успенским, с которым я был знаком в Петербурге, когда он был еще гимназистом восьмого класса. Мне нравился его оригинальный ум и интерес к религиозно-философским вопросам. Очень приятно также было общение с семьею адмирала Бориса Петровича Дудорова. Жена его Наталия Николаевна, урожденная Шульгина, была внучкою Тютчева и правнучкою Боратынского. В их милой семье я чувствовал себя как бы перенесенным в дорогую мне культурную среду Петербурга.

Успенский познакомил меня с швейцарским профессором математики Полиаи, который, как и я, был приглашен на летний семестр. Полиаи был венгерский еврей, воинствующий атеист. Он держался учения современной математичес-

кой логики о том, что все суждения математики суть тавтологии, то есть что все они суть аналитические суждения. Я пытался доказать ему, что суждения математики имеют синтетическое строение, выразимое формулою „S“ есть „P“. Свою мысль я не мог даже изложить ему: как только я начинал высказывать ее, после одного или двух моих утверждений но прерывал меня и начинал возражать мне. В этой его нетерпимости и нежелании узнать мысль противника сказывалось инстинктивное предвидение, что, признав существование необходимых синтетических суждений, придется далее допустить такое разумное строение мира, которое необходимо ведет к утверждению бытия Бога.

На обратном пути из Palo Alto я остановился на несколько дней в Чикаго, где принял участие в съезде Американской Философской Ассоциации и прочитал доклад «Отвлеченный и конкретный идеал-реализм». На съезде я познакомился с профессором Маршаллом, молодым и весьма привлекательным философом. Вместе с ним мы поехали в город Альбион, где я провел несколько дней в его семье. Знакомство с профессором Маршаллом, как увидим дальше, оказалось провиденциальным событием, оказавшим существенное влияние на судьбу нашей семьи.

Едучи из Альбиона на восток, я остановился на один день в Боффало, чтобы заехать оттуда на водопад Ниагару. Вслед за этим я провел несколько дней в Бостоне у профессора Сорокина и несколько дней в New Haven'e у профессора Вернадского.

Через несколько дней после моего возвращения в Прагу умер Константин Лосский, профессор Истории римского права в Пражском украинском университете. В «Последних Новостях» сообщили по ошибке, что умер Николай Лосский. Жена моя получила письмо соболезнования от отца Сергия Булгакова.

С Константином Лосским я не был знаком. Вероятно, общий наш предок жил в XVIII столетии или еще раньше, так что степени нашего родства мы не могли бы установить. В то время, когда я был студентом, я знал, что на Юридическом факультете есть студент Константин Лосский из Варшавы. Он печатал рецензии в «Историческом Вестнике». Одно время он был, кажется, губернатором Холмской губер-

нии. После большевицкой революции он уехал с женою и малолетнею дочерью в Стокгольм. Там, вероятно, украинцы предложили ему кафедру Истории римского права в Пражском украинском университете. Тогда Лосский сделался украинцем и даже стал писать свою фамилию Лоський. Через несколько лет после его кончины мы познакомились с его вдовою. К ним как-то приезжал в Прагу режиссер Московской оперы Владимир Аполлонович Лосский, двоюродный брат Константина Лосского. Он еще в начале революции хотел познакомиться со мною и, будучи в Праге в то время, когда семья наша куда-то уезжала, наказывал семье своего двоюродного брата познакомиться с нами.

Вскоре после моего приезда из Америки вечером часу в одиннадцатом к нам пришла Ольга Александровна Водовозова, урожденная Введенская, дочь моего учителя профессора Введенского. Она сообщила, что муж ее Василий Васильевич не вернулся домой и это беспокоит ее, так как это не соответствует его привычкам. В последнее время глухота Водовозова стала все более усиливаться, платной работы у него было все меньше. Победа гитлеризма в Германии произвела на него удручающее впечатление. Зная настроение мужа, Ольга Александровна волновалась и попросила меня пойти с нею в полицию навести справку, не было ли какого-либо несчастия. В полиции к нашему заявлению отнеслись несерьезно, говоря, что отыскиваемый нами господин сидит где-либо в ресторане со своими приятелями. Моя жена и я целую ночь провели с Ольгою Александровною в тревоге, рано утром купили газету и узнали, что накануне вблизи Збраслава какой-то господин бросился под поезд. Жена моя поехала с Ольгою Александровною в Збраслав и там узнали, что бросившийся под поезд был Водовозов. Зная хорошо окрестности Збраслава, он выбрал такое место, где поезд выходит из-за горы, так что машинист не мог бы успеть остановить его.

Через сорок дней после смерти Водовозова была заказана панихида по нем. Мы пришли на панихиду, а Ольга Александровна не явилась. Предчувствуя что-то недоброе, мы пошли в пансион, где была ее квартира. Дверь была заперта, никто не откликался. Когда полиция открыла дверь, оказа-

лось, что Ольга Александровна покончила с собою: она приняла большую дозу какого-то снотворного.

Лето 1934 и 1935 гг. семья наша, как и раньше, проводила в Винице на даче Иречковых. К нам в эти два года приезжал из Соединенных Штатов профессор Маршалл, чтобы более детально ознакомиться с моею философиею. Он нанимал комнату поблизости от нашей дачи. Утром часа по два и больше мы беседовали с ним о самых разнообразных философских проблемах. Узнав, что мы хотим, чтобы наш младший сын Андрей получил образование в среде англо-саксонской культуры, он предложил нам послать Андрея по окончании курса средней школы к нему в Соединенные Штаты для получения там образования в университете. Когда Н. А. Деддингтон узнала об этом предложении, она поняла, как тяжело будет нам надолго расстаться с сыном. Она написала профессору Маршаллу, что Андрей мог бы учиться в Лондонском университете и жить в ее семье, если Маршалл будет платить за его учение в университете. Маршалл одобрил этот план, и наш Андрей в 1935—1938 гг. учился в Лондонском университете, живя у Деддингтонов. Он занимался специально историею Европы и России и работал так интенсивно, что после трех лет получил диплом b. a. (bachelor of arts, т. е. диплом об окончании курса в университете).

В 1935 г. произошел тягостный богословский спор по поводу учений от. Сергия Булгакова. Митрополит Сергий Московский обратился к митрополиту Елевферию с просьбою дать ему сведения о книге от. Сергия Булгакова «Агнец Божий». Митрополит Елевферий поручил своему секретарю сделать извлечения из этой книги и послать их в Москву. Далее, митрополит Сергий обратился в Париже к Фотиевскому братству с просьбою подвергнуть книгу от. Сергия богословской критике. Богословский трактат о книге был написан членами Фотиевского братства, главным образом моим сыном Владимиром, и послан митрополиту Сергию. На основании этих данных, именно извлечений из книги от. Сергия и доклада Фотиевского братства, митрополит Сергий издал указ, в котором православные предостерегаются против ошибок этой книги, но в указе нет никаких административных мер против отца Сергия.

Я полагаю, что митрополит Сергий совершил ошибку. Ему

следовало поручить митрополиту Елевферию напечатать трактат братства св. Фотия, дождаться статьи от. Сергия в защиту его учения, и только после этой статьи решить вопрос, противоречит ли оно догматам православной церкви или нет. Поторопившись с указом, митрополит Сергий совершил ошибку. Что же касается моего сына, он только исполнил свой долг перед Церковью, когда по требованию главы Русской православной церкви послал ему доклад, содержавший в себе богословскую критику учений от. Сергия. Между тем, газета «Возрождение» назвала этот доклад «доносом»; некоторые эмигранты стали называть членов Фотиевского братства большевиками, чекистами, обскурантами и т. п. Владимир хотел объяснить все это дело и послал в газету «Возрождение» письмо, но ни эта газета, ни другие не напечатали его.

Чтобы объяснить возникновение этих несправедливых нападений, нужно принять во внимание следующее. Многие эмигранты так страшно ненавидят большевиков, что стали ненавидеть, строго говоря, всю Россию, и с подозрением относятся ко всем лицам и учреждениям, находящимся в России. Они считают подлинно русскими только эмигрантов. Они не способны оценить великие заслуги митрополита Сергия, которому удалось, несмотря на сатанинскую ненависть большевиков к религии, сохранить громадную церковную организацию и, следовательно, предохранить русский народ от двух тяжких бедствий — от полного безверия и от патологических форм сектантского мистицизма. Они не понимают того, что сохранение церковной организации в России достигается путем мученического пожертвования своим добрым именем вследствие компромиссов с советскою властью. Эмигранты, подобные моему сыну, не пожелавшие отделиться от своей Матери-Церкви, ставшей Церковью-Мученицей, и оставшиеся в подчинении у митрополита (потом патриарха) Сергия, давно уже подвергаются несправедливым нападениям за это; поэтому их стойкая преданность Матери-Церкви, странным образом даже и в свободной, казалось бы, Западной Европе, требует большого самоотвержения и может тоже привести к мученичеству.

Мой сын Владимир написал письмо от. Сергию Булгакову, объясняя ему, как произошло участие Фотиевского братства

в деле о книге «Агнец Божий». Никакого ответа от него он не получил. Он написал также письмо к Бердяеву. В письме ко мне от 26 ноября 1935 г. он так рассказывает, что́ произошло далее: «Мое письмо Бердяеву было следующего содержания. Указав ему на несправедливые обвинения, возводимые против нас, а также на невозможность защиты, я просил его напечатать в «Пути» наше разъяснение, чтобы борьба велась впредь честно, только идеологически, по существу, и лицо противников, какими он нас считает, было ясно всякому. — Отклоняя обвинение в «мракобесии», я указал ему, что мы умеем ценить его мысль и разделяем ряд его воззрений, которые точно обозначил (обличение духовной буржуазности, национализма в Церкви, защита аристократического начала, оправдание Леонтьева). Бердяев, как я узнал после, в течение целого месяца не мог слышать моего имени без того, чтобы не впасть в состояние безумного гнева. Мое письмо он истолковал, как желание «подлизаться» к нему, «обойти» его для каких-то гнусных целей. Об этом тоже моментально стало известно всем. Мне Николай Александрович написал письмо — и по форме своего обращения, и по заключению (без всяких formules de politesse) такое, на какие по светским правилам отвечать не полагается. Содержанием его были сплошные громы и молнии против доносчиков и душителей свободной мысли, подкрепляемые богословскими мнениями весьма рискованного свойства. Дав себе отойти от первого ошеломления и подав в церкви записку за «одержимого раба Божия Николая», я сел отвечать по пунктам на эту анафему. В своем письме я крайне холодно отстранил все обвинения Бердяева и пространно изложил свое понимание свободы в Церкви, пути познания истины, значения соборов, отдельных иерархов и вообще членов Церкви в деле учения и т. д. В заключение я переменил тон и резко обличил Н. А. в предвзятом отношении к противнику, в желании видеть его хуже, чем он есть, в неджентльменских приемах. Письмо это отправил в субботу, а в воскресенье вечером в сопровождении нескольких Братьев отправился на Монпарнасс (где не был несколько лет) на открытый диспут Религиозно-философской академии «О свободе мысли в Церкви». Диспут этот (вернее «митинг протеста» вроде тех, какие постоянно устраиваются французскими левыми против не су-

ществующего, мифического «фашизма») был организован с целью ославить нас окончательно, как насильников свободы мысли и мракобесов. Как сообщила нам впоследствии Инна Владимировна Ковалевская, расчет был на то, что фотиевцы устроят скандал в зале, поддавшись на провокацию. Я имел это в виду и всял с собою лишь немногих Братьев, способных снести оскорбления и даже, может быть, побои (при царящем настроении ждать можно было всего). Мы с Евграфом Ковалевским появились в зале перед самым началом. Набито было битком. В дверях ко мне подошел Бердяев со смущенной улыбкой и сообщил, что письмо мое получил и, согласно моей просьбе, собирается напечатать свое и мое письмо в «Пути». Я понял, что мое резкое обличение попало в точку: ему стало стыдно. Понял также, что он настоящий джентльмен и был просто одержим «мракобесием свободы». Он предложил мне записаться в число ораторов, что я и сделал. Если Бердяев был благороден, то об остальных сказать этого нельзя. Прежде всего — самый «диспут» был организован с тем расчетом, чтобы не дать места «диспуту». Говорило пять официальных ораторов. Меня вынудили говорить почему-то не в конце, а после двух первых докладов, Бердяева и Зеньковского. Оба говорили о критерии истины в Церкви. Я рассчитывал приготовить ответ в перерыве и во время второй части ответить сразу всем пятерым. Но пришлось совершенно неожиданно идти на кафедру. Шел среди всеобщего злобного любопытства и нелестных эпитетов, сохраняя каменное спокойствие. Бердяев мне дал «не более пяти минут». Мне пришлось отказаться от критики его и Зеньковского и ограничиться кратким изложением того, что я уже написал в письме Бердяеву. Я говорил с трудом, чувствуя враждебное нежелание понять со стороны всего зала. Кончив, вернее скомкав свое изложение (я видел, что оно не может достигнуть цели и, кроме того, рядом Н. А. нервничал, смотря на часы), я встал при гробовом молчании. Одна только какая-то старая дама стала громко и демонстративно аплодировать. После перерыва музыка началась другая. Доклад Мочульского был просто ученическим сочинением на тему о славянофилах и русской мысли, которой теперь угрожает опасность от каких-то злодеев. Доклад Вышеславцева был верх наглости. Несмотря на предупрежде-

ние Бердяева в начале собрания, — мы занимаемся только теоретическим вопросом, безотносительно к событиям, которые этот вопрос поставили, — Вышеславцев занимался исключительно тем, что измывался над «одним документом» (понимая под этим наше «Разъяснение»), а затем и над «одним учреждением». Я с трудом сдерживал своих, чтобы они не поддавались на эту провокацию. Бюцев порывался что-то крикнуть, Евграф сидел очень бледный, но с усмешкой. Вышеславцев перешел к моему выступлению и стал прохаживаться, уже окончательно обнаглев, относительно отдельных выражений, из которых он построил очень нелепую систему, — будто бы мою, — и при общем смехе ее опрокинул. Максим Ковалевский не выдержал и крикнул с места: Борис Петрович, нельзя так передергивать. Позвольте разъяснить вам то, что вы не поняли . . . Но его, конечно, усадили. Однако благодаря этому выкрику он получил слово «на две минуты» сразу после Вышеславцева. Но и двух минут ему говорить не удалось, так как то Бердяев, то Вышеславцев его все время прерывали, пытаясь tourner au ridicule то, что он говорил, — к большому удовольствию публики. Но, наконец, Бердяев (на которого опять напала одержимость, затуманившая его проснувшееся было джентльменство) стал нести явный вздор о Церкви, которая «всегда жгла, резала языки, морила в Сибири и угнетала такими средствами всякую мысль» — на что Максим Ковалевский ответил «но теперь, слава Богу, это невозможно; отца Сергия Булгакова никто не посылает в Сибирь». Тут Бердяев, не зная, что сказать, ответил страшную чушь: «Митрополит Сергий может отправить его в ад». На это резонно ответил Максим: «Вы приписываете митрополиту Сергию значение, большее, чем мы». Бердяев понял, что сказал глупость, и отнял у Максима слово. Доклад Федотова, менее наглый, чем у Вышеславцева, был зато злее.. Федотов говорил только о нас, «как историк», повесив на нас всех собак, собранных по всей истории Церкви, среди которых оказались и некоторые святые, неугодные ему. «Легенда о Великом Инквизиторе» была применена к нам, конечно. Попытался он даже вывести «две ереси, против человека и против Церкви» из того, что я говорил, и обнаружил так свои два качества — мелкость ума, неспособного схватить богословскую мысль, и злобу, не даю-

щую понять того, что говорит противник. Закончил он апокалиптическим образом — жены, рождающей младенца «новое православие, рождаемое в муках» и дракона, ищущего поглотить младенца (Братство св. Фотия). «Но Фотиевцы не одолеют Церковь!». На этих словах Бердяев поспешно закрыл собрание при громе аплодисментов. Программа была выполнена блестяще, — но победа была открыта нам иным, для человека неизмыслимым путем. После собрания в передней еще толпился народ, — Ирина Ковалевская, подойдя к Вышеславцеву, стала укорять его за недопустимую нечестность всего собрания и в частности его выступления. Вышеславцев стал кричать, возвышая голос; подошел Максим Ковалевский, вступил с ним в спор. Вышеславцев стал перебегать с темы на тему, ругаясь за все сразу, — и за от. С. Булгакова, и за наш приход, подчиненный Московскому митрополиту, как бы ища крупной ссоры. Максим, выведенный из себя, сказал ему действительно непростительную дерзость: «Вы все понимаете, но говорите только потому, что в Институте получаете жалованье». Вышеславцев, обиженный, бросился к выходу. Максим, видя, что тот обижен, бросился за ним, схватил за плечи, крича: «Простите, я сказал подлость! Не смейте уходить, пока мы не помирились». Но Вышеславцев обернулся и со всей силы ударил Максима по лицу, а затем стал его жестоко избивать. Бюцов бросился защищать Максима и, насилу отодрав Вышеславцева, швырнул его за дверь. Максим встал очень бледный, по лицу текла кровь. Его первые слова были: «Я смертельно оскорбил человека, надо скорее перед ним извиниться и успокоить его, он верно мучается». Сочувствие всех присутствовавших при этой сцене (профессора, к сожалению, уже ушли) обратилось на нашу сторону. Вчера весть о происшедшем разнеслась по городу, привлекая к нам симпатии многих и как-то вдруг возвеличив наш авторитет. С Вышеславцевым состоялось трогательное примирение».

Защищаясь против Указа Московской Патриархии, от. С. Булгаков написал «Докладную записку митрополиту Евлогию». Мой сын Владимир подвергнул критике эту Докладную записку, сравнивая текст Указа Московской Патриархии и текст Записки от. Сергия. Он издал это свое исследование под заглавием «Спор о Софии», Париж, 1936.

Познакомившись с описанными богословскими столкновениями, я написал 7 января 1936 г. письмо от. Сергию Булгакову: «Очень огорчает нас вся история Указа Московской Патриархии и последствия его. Удивляет меня то, что митрополит Сергий решился высказывать суждения о Вашей книге «Агнец Божий», не познакомившись с ней в полном объеме, как это Вы отчетливо показали, например, в вопросе о соотношении Гефсимании и Голгофы (стр. 47 «О Софии Премудрости Божией»). Если бы митрополит Сергий напечатал сначала критический отзыв о Вашем труде, не осуждая его посредством Указа, и вызвал Вас на богословский спор, церковная литература обогатилась бы ценным богословским состязанием, которое, может быть, закончилось бы смягчением разногласия вплоть до различия лишь в оттенках мнений. Теперь же, после Указа, спор может принять характер войны двух станов, после чего восстановление церковного мира едва ли будет безболезненным. Что касается моего сына Владимира, он только исполнил свой долг, когда по поручению митрополита Сергия написал и послал ему свою критику некоторых Ваших учений. Очень жаль однако, что Фотиевское братство рассматривает эту критику, как «обличительное богословие».

Ваши защиту против обвинения в гностицизме, против особенно несправедливого упрека в нежелании, будто бы, считаться с преданием Церкви, против упрека в замене Голгофы Гефсиманией и т. п. нельзя не признать вполне убедительной. Мне думается однако, что есть у Вас два учения, которые не могут быть защищены. Ваше толкование слов книги Бытия «вдохнул дыхание жизни» в том смысле, что человек есть существо нетварно-тварное ведет к пантеизму, по крайней мере, в учении о царстве личных существ. Далее, Ваше учение о том, что в Боге, кроме трех источников любви, есть еще четвертый, тоже вызывает сомнения. Но здесь, если взять вопрос об отношении между Богом и совокупностью идей, сообразно которым Он творит мир, в полном объеме, мы стали перед проблемою столь трудною, что, я уверен, даже и решения ее, данные величайшими Отцами Церкви, таят в себе следствия, решительно несогласные с основными догматами Церкви. Поэтому или нужно издать Указ против всех почти Отцов Церкви, что нелепо, или, смиренно

признав трудность проблем, воспитать в себе терпимость и решаться на осуждение только после длительного спора. Боюсь, что теперь такой возвышенный характер спора, свободный от гордыни и озлобления, очень затруднен Указом».[35]

От. Сергий ответил мне, что хорошо было бы, если бы мне удалось как-либо принять участие в его семинарии, где мы обстоятельно обсудили бы вопрос о его софиологии. В 1937 г. я написал статью «О творении мира Богом» (Путь, № 54), конец которой содержит в себе критику учений от. С. Булгакова. Изложенное в ней учение о составе бытия Бога и бытия мира прямо противоположно учению от. Сергия. От. Сергий полагает, что совокупность идей, согласно которым Бог сотворил мир, есть природа самого Господа Бога; а я, исходя из отрицательного богословия, согласно которому состав бытия Бога и мира абсолютно несоизмеримы друг с другом, утверждаю, что даже и идеи, согласно которым Бог сотворил мир, суть уже тварное бытие, так что между Богом и миром нет не только полного, но даже и частичного тожества; онтологически Бог и мир отделены друг от друга пропастью. Таким образом, мое учение есть крайняя форма теизма, наиболее противоположная пантеизму во всех его видоизменениях. Это я и имел в виду в письме к отцу Сергию, говоря, что решение вопроса, данное величайшими Отцами Церкви, таит в себе следствия, несогласные с основными догматами Церкви. В самом деле, если идеи, согласно которым Бог сотворил мир, онтологически входят в состав бытия Бога, то между Богом и миром есть частичное онтологическое тожество и тогда в христианском богословии появляется некоторый оттенок пантеизма, ведущий к неразрешимым затруднениям.

Вскоре после этих печальных столкновений от. Сергий заболел раком горла и подвергся тяжелой операции. Предвидя возможность близкой смерти, он составил 15 марта 1939 г. письмо, на конверте которого было написано: «Николаю Онуфриевичу Лосскому с семейством (вручить после смерти)»: «Дорогой Николай Онуфриевич, посылаю Вам последний братский привет пред уходом своим из мира. Призываю благословение Божие на Вас и всю Вашу семью: Марию Николаевну, Людмилу Владимировну, всех сынов Ваших, и жен их, и внуков. Благодарю Вас за всю Вашу друж-

бу, явленную в течение всего этого века. Если жизнь сведет Вас с Аскольдовыми, передайте и им мой привет. С любовью Ваш прот. С. Булгаков».[36]

Московская патриархия учредила, по проекту Фотиевского бретства, Православие Латинского обряда. Произошло это таким образом. В начале XX века, когда Папа Римский осудил модернизм, десять католических приходов, семь во Франции, два в Голландии и один негритянский в Африке, отпали от Католической церкви. Они стали однако замечать, что жизнь вне великой Церкви постепенно ведет их к вырождению и превращению в секту. Чтобы избежать этой опасности, они решили вступить в Православную церковь и обратились к Фотиевскому братству. В приходах этих в устьях Луары было много людей малообразованных, рыбаков, мелких торговцев. Члены Фотиевского братства понимали, что чин богослужения Православной церкви, далекий от того, к чему они привыкли с детства, остался бы чуждым для них. Фотиевское братство выработало поэтому проект Православия Латинского обряда наподобие того, как Католическая церковь сравнительно недавно выработала Католичество Восточного обряда. Братство послало свой проект в Московскую патриархию, которая, обсудив этот вопрос, учредила такую форму Православия.[37]

Как уже сказано, один из приходов этого Православия — негритянский. В 1937 г. был юбилей Пушкина. Один негр, ставший православным Латинского обряда, произнес на юбилейном торжестве в Париже речь, в которой сказал: «Я, как и Пушкин, негр и православный».

О том, чтобы привлечь меня к преподаванию философии в чешском университете, позаботился не философ, а классический филолог Франтишек Новотный, профессор университета в Брне, переводчик произведений Платона, написавший ценные исследования о Платоне. По его инициативе была поставлена моя кандидатура на кафедру философии. Кандидатов было три: приват-доцент Брненского университета Фишер, приват-доцент Карлова университета Пеликан, редактор журнала „Ruch Filosofický“, и я. С самого начала эмигрантской жизни мы, русские философы, были хорошо знакомы с Пеликаном: он охотно печатал наши статьи в своем журнале и высоко ценил русскую философию. Перед выбо-

рами он обратился ко мне с просьбою дать отзыв о его трудах. Я написал отзыв, весьма благоприятный для него. За несколько дней до выборов Роман Осипович Якобсон, бывший в то время профессором славянской филологии в Брно, написал С. И. Гессену, что получено факультетом письмо Пеликана, в котором Пеликан говорит, что я не владею чешским языком и потому не могу преподавать философию. Сергей Иосифович остроумно нашел средство парализовать влияние Пеликанова письма. Он пришел ко мне с профессором эстетики Карлова университета Мукаржовским, сказал, что Мукаржовский интересуется моею философиею и повел нас в ресторан. Очень скоро он ушел из ресторана, а мы с Мукаржовским принялись беседовать о философских вопросах. Я изложил ему по-чешски свое учение об отношении идеального бытия, то есть бытия невременного и непространственного, к бытию реальному, то есть временно́му и пространственному. Мукаржовский написал в факультет, что я хорошо излагаю по-чешски трудные философские вопросы. Выборы состоялись, избран был профессором Фишер; он был человек уже немолодой, много лет работавший, как приват-доцент и библиотекарь университета.

Профессор Новотный не оставил забот обо мне. Он убедил факультет создать для меня лекторат по истории ruské vzdělanosti (нечто вроде истории русской культуры). Я сказал, что, не будучи историком культуры, я мог бы читать только лекции по истории русской философии. Мне было сказано, что я буду вполне свободен в выборе тем для своих лекций. Для осуществления такого лектората нужно было, чтобы чехословацкий министр финансов ассигновал средства на оплату его. В течение более чем года министр не соглашался на это. Положение русской эмиграции становилось тем временем все более тяжелым. Поэтому было решено отправить делегацию к президенту Бенешу, чтобы ознакомить его с нуждами русских эмигрантов. В этой делегации находился и я. Доклад о наших нуждах делал профессор Владимир Андреевич Францев. Между прочим, он изложил мое дело, затянувшееся вследствие сопротивления министра финансов. Президент, который сам был не чужд философии, обратил внимание на это и благодаря его влиянию я получил летом 1936 г. уведомление о получении мною лектората в Брнен-

ском университете. Имея дешевую квартиру в Праге, мы не могли решиться переехать в Брно. В течение всего академического года я каждую неделю ездил на два дня в Брно, где два часа читал лекции и два часа вел семинарий. Осенью 1937 г. мой лекторат был переведен из Брна в Чешский Карлов университет в Праге. Свои занятия я с течением времени осложнил тем, что излагал русские философские учения, сопоставляя их с западноевропейскими. С особенным интересом принялся я осенью 1939 г. за чтение курса «Философия Достоевского». Среди слушателей моих было несколько католических духовных лиц. Дочитать курс до конца мне не удалось: 17 ноября 1939 года, подходя на Сметановой площади к зданию университета, я увидел возле него немецких солдат; Гитлер распорядился закрыть все высшие чешские учебные заведения.

Уже в 1938 г. можно было предвидеть, что Чехия перестанет существовать как независимое государство. Судетские немцы клеветали на чехословацкое правительство, изображая свое положение в государстве, как крайнюю степень унижения, и добиваясь присоединения к Германии. Даже профессора Немецкого Карлова университета в Праге, пользовавшиеся совершенною свободою и всеми благами демократии, благожелательной к развитию науки и процветанию университетской жизни, вели себя, как изменники. Перед совещанием Гитлера, Чемберлена и Даладье в Мюнхене Великобритания прислала в Чехословакию делегацию, чтобы исследовать положение немецкого меньшинства. Способ, каким эта делегация односторонне собирала сведения о положении немецкого меньшинства, показывал, что Великобритания и Франция предрешили постыдно предать Чехословакию и удовлетворить аппетит Гитлера.

За несколько дней до Мюнхенского совещания Чехословакия энергично готовилась к войне; войска шли к укрепленным границам Чехословакии. Укрепления эти в Судетах, говорят, были последним словом французской военно-инженерной техники. Если прибавить сюда воодушевление, с каким чешские войска шли на защиту своей родины, то можно быть уверенным, что немцам недешево обошлась бы борьба с ними. Видя все, что происходит, мы были уверены, что через несколько дней начнется война, и первым делом нем-

цы произведут страшный воздушный налет на Прагу. Поэтому мы наняли комнату в Збраславе и поехали туда, чтобы спастись от этой опасности. Вечером в день Мюнхенского предательства мы пошли к знакомым русским, у которых было радио. Мы слышали по радио речь президента Бенеша, который сказал, что Великобритания и Франция потребовали отдать Гитлеру пограничные области, где немцы составляют большинство населения; Чемберлен и Даладье угрожали, что если чехословацкое правительство не согласится на это, оно будет иметь против себя военную силу не только Германии, но также Великобритании и Франции. Сердце разрывалось, когда мы слышали эту речь главы правительства, сообщавшего о бесстыдном насилии великих держав над маленьким народом, героически готовившимся защищать свою свободу.

Гитлер стал после Мюнхенского сголашения определять, какие области Чехословакии отходят к Германии. При этом он нагло издевался не только над Чехословакиею, но также нам Великобританиею и Францией. В самом деле, он отнял у Чехословакии даже и некоторые области, слабо заселенные немцами; при этом он во многих местах перерезал железные дороги, необходимые для сообщения чисто чешских областей друг с другом. После того, как он окарнал Чехословакию, остался огрызок этого государства, неспособный к самостоятельному существованию. Прав был великий государственный ум и благородный политик Винстон Черчилль, сказавший после Мюнхена: «Вам предстояло выбирать между бесчестием и войною; вы выбрали бесчестие, вы получите войну».

Профессор Маршалл, предвидя приближение европейской катастрофы, прислал нам телеграмму с предложением иммиграции Андрея в Соединенные Штаты. Мы ответили, конечно, согланием и в 1939 г. за месяц до оккупации Чехии Гитлером Андрей уехал в Америку. Там, при содействии профессора Маршалла он поступил в New Haven'e в Yale University,, как graduate student, то есть как студент, работающий в семинариях, готовящийся к экзамену на степень доктора и к писанию докторской диссертации. Имея хороший аттестат Лондонского университета, он получил стипендию.

В марте 1939 г. Чехия была оккупирована Гитлером. Он

отделил от нее Словакию, придав ей вид самостоятельного государства, а Чехия была превращена в «Протекторат Böhmen und Mähren» (то есть Чехия и Моравия).

Бесчисленны были унижения, которым подвергались чехи, не говоря уже о евреях, принужденных носить на груди желтую шестиконечную звезду. Все высшие учебные заведения были закрыты и получать высшее образование чехи могли только в немецких учебных заведениях под условием отречения от своей чешской национальности. Мы, русские эмигранты, должны были представить доказательство того, что среди наших предков не было евреев. Когда князя Петра Дмитриевича Долгорукова допрашивали об этом, он насмешливо ответил: «Я не знаю: я не могу ручаться за свою бабушку, что она не согрешила».

Когда Гитлер начал войну и завоевал Польшу, С. И. Гессен, бывший профессором в Свободном университете в Варшаве, принужден был найти способ доказывать, что в нем нет еврейской крови. Он был незаконный сын Иосифа Владимировича Гессена, усыновленный им. Он доказывал, что Иосиф Владимирович не был его отцом. К счастью, гестаписты не знали книги воспоминаний Иосифа Владимировича, в которой сказано, что Сергей Иосифович его сын. Меня в Праге пригласил к себе профессор Немецкого университета Отто и расспрашивал о происхождении Гессена; я знал, какую он придумал уловку для защиты от гестапистов, и подтвердил его слова.

Философский факультет в Немецком Карловом университете был разгромлен. Профессор Утиц был удален, как еврей. Профессор Краус, тоже еврей, благодаря хлопотам своего секретаря Г. М. Каткова, получил разрешение вместе с секретарем уехать в Англию. Остался только профессор Отто, который занимался не столько философиею, сколько педагогикою. Он был поэтому в затруднении, как оценить диссертацию Сергея Александровича Левицкого о свободе воли, как условии познания истины. Левицкий, мой ученик, был сторонником моей гносеологии и метафизики персонализма. В своей диссертации он доказывал, что познающий субъект, критикуя суждения с целью отличить истину от лжи, должен быть независимым от своей психо-физической организации и обладать свободою воли. Отто пригласил ме-

ня, чтобы посоветоваться об этой диссертации, и я вкратце изложил ему сущность ее. Когда в университете происходило торжество вручения докторантам их докторских дипломов, я пошел посмотреть на это зрелище. Три молодых человека стояли посреди зала, — два немца и Левицкий. Один из немцев получил степень доктора за диссертацию «Пуританизм, как источник английского лицемерия». Эта тема диссертации, дающей право на ученую степень, — великолепный образец падения науки в тоталитарном государстве.

В 1940 году 12 марта умерла Мария Николаевна Стоюнина в возрасте 93 лет. После обеда она, по обыкновению, легла отдохнуть, уснула и во сне отошла в вечность. Похоронена она в Праге на Ольшанском кладбище вблизи православной церкви в нескольких шагах от могилы Ивана Ильича Петрункевича и Анастасии Сергеевны Петрункевич, матери графини С. В. Паниной.

Во время нацистской оккупации я написал книгу «Бог и мировое зло», основы теодицеи. Напечатать ее в Праге я получил возможность благодаря тому, что архимандрит Иоанн (Шаховской), основавший в Берлине издательство «За Церковь», дал мне три тысячи крон. Конечно, рукопись подверглась цензуре, сначала чешской, потом нацистской немецкой. По требованию цензуры мне пришлось внести ряд изменений везде, где читатель мог бы подумать, что я имею в виду режим Гитлера, как зло. Например, после изображения Царства Божия, как абсолютного совершенства, я писал: «Мы знаем, по своему печальному опыту, что, кроме Царства Божия, есть еще и наше царство несовершенных существ». Цензура заставила меня вычеркнуть слова «по своему печальному опыту». Поистине на воре и шапка горит: под словами о нашем печальном опыте я разумел всеобщие несовершенства земного бытия, болезни, смерть и т. п., а нацисты усмотрели в них намек на их режим. Меня заставили также устранить указания на недостатки советского режима, потому что в это время, в первой половине 1941 г., еще было сотрудничество Гитлера и Сталина.

Заказав типографии объявления о своей книге и указав, что ее можно выписывать не только от издательства «За Церковь», но также и прямо от меня, я разослал это объяв-

ление по множеству адресов. Продажа книги шла так хорошо, что я мог вернуть издательству три тысячи крон.

В книге моей есть мысли, расходящиеся с традиционными взглядами Православия, например учение о спасении всех, о перевоплощении и т. п. Наш владыка Сергий сказал мне, что диакон уже собирает поленья для костра мне. Однако я знал от знакомых, что он советует читать мою книгу. Мало того, он разрешил продавать ее в соборе у свечного ящика.

В книге «Бог и мировое зло» я использовал свой персонализм для объяснения всех несовершенств не только человека, но и всей даже неорганической природы. Согласно персонализму весь мир состоит из личностей, действительных, как, например, человек, и потенциальных, то есть стоящих ниже человека (животные, растения, молекулы, атомы, электроны и т. п.). Наше царство бытия, полное несовершенств, состоит из личностей, эгоистических, не исполняющих в совершенстве двух основных заповедей Христа — люби Бога больше себя и ближнего, как себя. Все распады, разъединения, все виды обедненной несовершенной жизни я объясняю в этой книге, как следствие греха, то есть эгоистического себялюбия деятелей нашего царства бытия, значит, как нечто сотворенное нами самими. Такое использование персонализма дает возможность объяснять даже и природные катастрофы, извержения вулканов, бури, наводнения, как разгул стихий, состоящих из потенциальных личностей, которые еще не обладают сознанием и творят мощную жизнь для себя, губя жизнь других существ.

Высокомерное превознесение достоинств германской расы сопровождалось у нацистов презрением к русскому народу и русской культуре. Взяв в свои руки Славянскую библиотеку, служившую научным целям, они издали приказ не выдавать из Библиотеки ни одной русской книги, напечатанной после 1900 года. Если же какому-либо ученому нужна русская книга, напечатанная раньше 1900 года, он должен подать прошение о выдаче ее, указав, для какого научного труда она ему нужна; такая просьба в некоторых случаях может быть удовлетворена, но под условием, чтобы ученый читал такую книгу лишь в здании Библиотеки. После этого указа я ни разу не обращался в Славянскую библиотеку.

Гестаписты по какому-то поводу обратили на меня внима-

ние и хотели арестовать меня. За меня заступился игумен Рыльского монастыря в Болгарии. Он пользовался уважением генерала фон Рихтгофена и посредством него достиг того, что меня не тронули. Об этом рассказал мне молодой болгарский монах, студент, приехавший в 1943 г. в Братиславу, чтобы изучить мою философию.[38]

Моя персоналистическая метафизика, объясняющая все виды зла ссылкою на простое старомодное понятие эгоизма и содержащее в себе учение о перевоплощении, вызывает к себе некоторое отталкивание у русских филосфоов в Париже. От. Василий Зеньковский, например, в своей «Истории русской философии» приводит из моей книги «Бог и мировое зло» цитату о том, что деятель, который начал с жизни электрона, потом, пройдя через ряд перевоплощений, может развиться настолько, что станет человеком. Далее он говорит: «Совершенно не понимаю, зачем Лосскому понадобилась вся эта фантастика» (II т., стр. 205). От. Василий, как и все философы XIX и XX века, не знает, что таково именно мнение Лейбница, необходимое в метафизике персонализма. Лейбниц однажды пил в обществе кофе и сказал, что в проглоченном кофе, может быть, есть несколько монад, которые со временем станут людьми.*

Отсюда понятно, что печатание моих книг в Париже давалось мне нелегко. В YMCA-PRESS была напечатана «Свобода воли» в 1927 г., а следующая за нею книга «Ценность и бытие. Бог и Царство Божие, как основа ценностей» печаталась в 1931 г. в YMCA на мои средства, как издание автора. «Типы мировоззрений» напечатало издательство «Современные Записки». Книга «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» была напечатана в 1938 г. в Шанхае издательством YMCA в соединении с дальневосточным «Словом» на средства, собранные по подписке (три тысячи франков). Организатором Комитета для подписки был Николай Васильевич Тесленко.

После смерти священника Штротманна в Прагу был прислан католик восточного обряда, словак от. Иван Келльнер. Это был очень привлекательный человек, любивший Россию

---

* M. G. Hansche. G. Leibnitii Principia philosophie, 1728, p. 135.

и русскую культуру. Иван Иванович Лапшин и я были с ним в живом дружеском общении. Летом 1940 г., когда мы жили в Збраславе, он приехал к нам и, беседуя о философских вопросах, спросил у меня о гносеологии Канта и трансцендентально-логическом идеализме. Я прочитал ему лекцию о психологизме и логицизме в теории знания. От. Келльнер понял, что от меня можно получить сведения, которых нельзя вычитать из книг. Вскоре он уехал в Словакию, так как нацисты, старавшиеся не допускать сближения различных славянских народностей друг с другом, настояли на удалении его из Чехии. В Братиславе от. Келльнер стал расхваливать меня, как философа. Профессор философии Братиславского университета чех был уже в 1939 г. арестован нацистами и отправлен в концентрационный лагерь. Там этот сильный, здоровый человек года через два умер. Таким образом кафедра философии была не занята и лекции по философии были поручены профессору психологии, который тяготился ими. Отец Келльнер стал советовать пригласить меня на кафедру философии. Этим предложением заинтересовался профессор философии права Раец. Он был знаком с властями Словацкого государства и с самим президентом Словакии Тиссо. После года хлопот ему удалось добиться того, что президент утвердил приглашение мое на кафедру философии.

Глава девятая

В БРАТИСЛАВЕ

В начале апреля 1942 г. мы с женою переехали из Чехии в Словакию с тем, чтобы мне сейчас же начать лекции на весеннем семестре. Отца Келльнера мы там уже не встретили. Он послан был Католическою церковью в Харбин. Ему очень хотелось поехать на Дальний Восток через СССР, чтобы повидать любимую им Россию. Визы для проезда через СССР он, конечно, не получил. Недавно я читал, что он был арестован и расстрелян советским правительством.

Через несколько дней после приезда в Братиславу мы, любя большие реки, пошли взглянуть на Дунай. На набережной мы сидели на скамье, любуясь этою могучею рекой. Я думал, что исполнение профессорских обязанностей во всем их объеме в чужой стране на чужом языке дело трудное. К тому же мы уехали из Праги, где прожили более девятнадцати лет и сжились с нею, имели там много добрых знакомых, так что она стала для нас второю родиною. Думая так, я живо осознал, что пока рядом со мною находится моя жена, верная подруга моей жизни в течение сорока лет, мне нечего беспокоиться, я не одинок. Мы оба были вполне здоровы и бодры. Мне не могло прийти в голову, что через девять месяцев моя жена уйдет в другой мир.

Принимая предложение занять кафедру в Университете имени Яна Амоса Коменского в Братиславе, я заявил, что в течение первого года буду читать лекции по-чешски, а потом по-словацки. В действительности уже в следующем семестре я перешел на словацкий язык. Произошло это так. При кафедре философии служил молодой философ Иосиф Диешка для заведования библиотекою философского семинария и помощи профессору в административных делах. Это был словак, получивший сначала богословское образование в Ка-

толическом институте, а потом философское в Братиславе и Праге. Он был литературно одарен. Я предложил ему перевести вместе со мною мою ненапечатанную еще книгу «Условия абсолютного добра» (основы этики) на словацкий язык. Прочитав вместе с ним предложение по-русски, я передавал его на чешском языке, а Диешка переводил его с чешского на словацкий. На летние каникулы он уезжал к своему отцу, зажиточному крестьянину, жившему в деревне километрах в двухстах от Братиславы в живописной местности. Мы наняли комнату в той же деревне и в течение лета Диешка и я перевели мою книгу. В результате этой работы Диешка овладел русским языком, а я словацким. Лекции свои я писал по-русски; над русскими строками я писал словацкий перевод. Для исправления моего перевода в трудных местах я приглашал за небольшую плату студента карпатороссa Михаила Михайловича Заречняка, который был завзятым русофилом и хорошо знал русский язык.

В Братиславе мы получили хорошую квартиру (четыре комнаты с кухнею и комнатою для прислуги) в профессорском доме. В том же доме жил со своею семьею профессор зоологии Михаил Михайлович Новиков, последний выборный ректор Московского университета. Очень скоро после приезда мы познакомились с симпатичною семьею Сергея Владимировича Верховского. В России он был инженером путей сообщения. Это был благородный русский интеллигент, работавший не за страх, а за совесть. Заведуя постройкою Оренбургской железной дороги, он заботился о нуждах рабочих. Предвидя на юго-востоке России голод вследствие неурожая от засухи, он, повлияв на губернатора, организовал заранее закупку продовольствия. Уже живя в Праге, я заинтересовался им, потому что в один из своих приездов в Прагу он прочитал интересный доклад о работах в СССР над системою «Большой Волги». В своем докладе он подчеркнул, что проект этой замечательной системы был выработан не большевиками, а инженерами дореволюционной России. Тем не менее кто-то на дверях зала, где происходил доклад, написал: «Сколько дадено?» Это один из примеров того, до какой низменной и пошлой подозрительности могут доходить люди под влиянием ненависти к большевизму.

Дочь Верховского Татиана Сергеевна была доктором ме-

дицины, интересовалась проблемами религиозной философии и была замужем за талантливым профессором гидротехники Константином Гавриловичем Белоусовым. Верховской зарабатывал средства печатанием на циклостиле лекций Спекторского, И. А. Ильина и других ученых для заочного преподавания. И я напечатал благодаря ему на циклостиле свое этику «Условия абсолютного добра». Я сделал это потому, что во время войны можно было опасаться времени, когда вся Европа будет подчинена или нацистам, или советским коммунистам, которые не допустят печатания христианской этики. Перевод этой книги на словацкий язык был издан в 1944 г. обществом Словацкая матица.

Во время войны много волнений причиняла нам забота о наших сыновьях. Только после войны я узнал, что семье Владимира приходилось скрываться в католическом монастыре, где добрые католические монахини спасли жену и детей сына; иначе она вместе с детьми вследствие своего еврейского происхождения была бы вывезена в Германию и, вероятно, они погибли бы там. Сын наш Борис был мобилизован в первый же день войны. Французская армия, как известно, была окружена немцами и принуждена была сдаться в плен. В письме к нам Борис не имел права указать место лагеря, где он находится. Он только намекнул, что живет вблизи места, где Бетховен был во время прогулки задержан полициею, принявшею его за бродягу. Мы, конечно, сейчас же написали об этом Ноеми Иречковой, знавшей все обстоятельства жизни Бетховена. Она сообщила нам, что это произошло недалеко от Вены. В 1942 г. нацисты разрешили родственникам военнопленных посещать их в лагерях. Тогда нам было точно сообщено место, где находится Борис. Это был старый большой лагерь венгерской армии, включенный Гитлером в состав Германии и находившийся вблизи границ Венгрии.[39]

Это место отстоит от Братиславы всего километрах в тридцати на юг по прямой линии. Но ехать туда прямо из Братиславы нельзя было. Мы два раза получили разрешение посетить своего сына, но для этого надо было ехать через Вену и по дороге ночевать в Вене. Найти место в гостинице даже на одну ночь было в это время очень трудно. Из затруднения нас вывела жена профессора русского языка А. В. Исаченко,

урожденная кн. Трубецкая. Она написала в Вену матери своей Вере Петровне, вдове известного лингвиста Николая Сергеевича Трубецкого. Вера Петровна, особа высокой духовной культуры, устроила нам приглашение остановиться в Вене во дворце графов Разумовских на Jacquin Gasse. Граф Разумовский с семьею жил в это время у себя в имении, а во дворце жила сестра его жены княжна Ольга Николаевна Сайн-Витгенштейн. Очень интересно было видеть внутреннее убранство дворца со старинными гравюрами Санкт-Петербурга. Здание это погибло от бомбардировки во время «ковровых» налетов на Вену в конце войны. Знакомство с княжною Сайн-Витгенштейн было очень приятно. Она была весьма религиозна и увлекалась философиею. Учась в Петербурге в гимназии Л. С. Таганцевой, она основала со своими подругами кружок для изучения философии. Это один из примеров цветения русской духовной культуры до большевицкой революции, грубо подавившей духовную жизнь. Приятно было узнать, что даже в высоко аристократической семье, обладавшей громадным богатством, могли быть такие серьезные девушки.

Я привез Ольге Николаевне свою книгу «Бог и мировое зло». Она настолько заинтересовалась ею, что начала переводить ее на немецкий язык. Но через несколько месяцев получено было печальное известие, что она умерла от рака в костном мозгу.

Жизнь нашего сына Бориса в лагере была довольно благополучна. Французские образованные военнопленные устроили нечто вроде народного университета. Борис читал лекции по истории искусства. Австрийские офицеры при лагере посещали эти лекции. Один из них заведовал музеем искусства в Вене. Ему понравились лекции Бориса; он освободил его от физического труда и перевел к себе в канцелярию. Мало того, он привозил ему книги по истории искусства из своей библиотеки. Поэтому Борис, находясь в плену, мог написать несколько статей из области своей науки.

Сын наш Андрей, проучившись два года в Yale University, должен был осенью 1941 г. держать экзамен на степень доктора. Его профессора знали, что летом молодые люди его возраста будут призваны на военную службу. Соединенные Штаты готовились вступить в войну с Германиею. Поэтому

Андрей неожиданно получил извещение о том, что экзамен его состоится не осенью, а в мае. Экзамен этот очень труден; пять специалистов по разным отделам истории экзаменуют докторанта в течение двух часов. Андрей приобрел в Лондонском и Иельском университете обстоятельные знания по истории, однако, сдавая экзамен без специальной подготовки к нему летом, он считал себя провалившимся. В действительности однако экзаменаторы сказали ему, что он отлично выдержал экзамен и по содержанию, и по форме. На военную службу он был призван 15 июля 1941 г., а в декабре Соединенные Штаты вступили в войну.

В начале 1943 года у жены моей явились какие-то пятна на коже. Она думала, что это лишаи, но когда они стали распространяться по всему телу, пришлось обратиться к директору кожной клиники доктору Трегеру. Он тотчас же установил, что это тяжелая болезнь, называемая по-латыни pemphigus. Состоит она в том, что по всему телу образуются волдыри, наполненные прозрачною жидкостью. Жена моя была принята в клинику. В течение целого месяца никакого улучшения в ее положении не произошло, и она стала слабеть. Вино, которое ей давали пить, не нравилось ей. Я купил ей хорошего более крепкого вина, но доктор не разрешил ей пить его. В воскресенье 7 февраля я пришел к Людмиле Владимировне вместе с Татьяною Сергеевною Белоусовою. Жена моя была очень слаба. Она попросила меня: «Дай мне вина». — «Этого?» спросил я, указывая на больничное вино, стоявшее у нее на столе. «Нет, дай мне вина; ты давал мне хорошего вина; ты давал мне хорошего вина». Несколько раз повторила она эти слова, подчеркивая слово «хорошего» с таким выражением, как будто я давал ей что-то особенно хорошее.

Сознание моей жены стало слабеть. Я потелефонировал вечером Татьяне Сергеевне, которая тотчас приехала в клинику и, попробовав пульс Людмилы Владимировны, вызвала дежурного врача клиники, чтобы сделать впрыскивание камфоры. Это средство не помогло. Тогда она вызвала директора клиники; он приехал и сказал, что нет у медицины средств помочь моей жене. Через час она скончалась. Меня спросили в клинике, хочу ли я, чтобы тело моей жены было вскрыто. Я ответил утвердительно, держась того мнения, что

тела всех умерших следует вскрывать. Такой обычай содействовал бы быстрому движению науки вперед и открытию многих ошибок диагноза. Я хотел бы, чтобы мое тело после смерти было вскрыто, между прочим, потому, что хотел бы знать, на произошло ли какое-либо повреждение моего мозга вследствие удара дышлом наехавшего на меня извозчика.

Вскрытие тела моей жены показало, что волдыри pemphigus'a стали образовываться у нее даже и в пищеводе. Похоронена была Людмила Владимировна на протестантском кладбище внутри города. Благодаря содействию Татьяны Сергеевны, ходившей со мною по многим мастерским, удалось даже и в условиях военного времени устроить красивый памятник на могиле.

Профессорская деятельность в Братиславском университете вполне удовлетворяла меня. Слушателей у меня было много. Из них многие проявляли серьезный интерес к философии. Помощник мой по административным делам доктор Диешка был сторонником критического реализма, то есть учения о том, что опыт состоит из субъективных психических образов вещей, но тем не менее путем умозаключений на основании этих образов можно познавать свойства вещей, трансцендентных сознанию. Он все же начал знакомиться с моим интуитивизмом. Прочитав у меня, что воспринимаемый мною предмет внешнего мира становится имманентным моему сознанию, но остается трансцендентным мне, субъекту сознавания, он понял существенное значение этого различения. С этих пор, чтобы устранить недоумения и сомнения, вызываемые учением о непосредственном созерцании предметов внешнего мира, он стал систематически задавать мне вопросы о различных сторонах моей теории знания и кончил тем, что стал сторонником интуитивизма. Чтобы получить приват-доцентуру он даже написал книгу „Kritický realismus či Intuitivismus?". Приват-доцентом он не стал, потому что после вступления в Словакию советской армии университетом начали заведовать коммунисты, и в конце концов Диешке пришлось бежать из Чехословакии в Соединенные Штаты.

После смерти моей жены я предложил Диешке поселиться со своею семьею, с женою и двумя маленькими детьми, в двух комнатах моей квартиры. Летом Диешка встретил одного своего знакомого салезианского монаха, который зи-

мою жил в Риме. Он сказал Диешке: «Нехорошо, что вы живете в квартире профессора Лосского. Он испортит вас своим учением о перевоплощении». На зиму этот монах опять уехал в Рим. Следующим летом он опять приехал в Словакию и, встретив Диешку, сказал: «Этою зимою в Риме были доклады о перевоплощении и богословы признали, что эта проблема — „discutabilis“ (может быть обсуждаема).

Когда была напечатана на циклостиле моя книга «Условия абсолютного добра», бенедектинский монах словак Иосиф Папин, знавший русский язык, прочитал ее и оценил столь высоко, что хотел перевести ее на латинский язык, «чтобы весь католический мир мог читать ее». Вероятно, духовное начальство его не разрешило ему сделать это. Тогда он изучил мою философию и, живя в Голландии, написал там книгу Josef Papin, Doctrina de bono perfecto ejusque in systemata N. O. Losskij personalistico applicatio (Учение о совершенном добре и его применение в персоналистической системе Н. О. Лосского), Leiden, издат. E. I. Brill, 1946.

Вопросы, задаваемые Диешкою и моими слушателями, показали мне, какие недоразумения и возражения вызывает мой интуитивизм. Поэтому я написал статью «Абсолютный критерий истины», содержащую в себе существенно важные для интуитивизма понятия. Она была напечатана по-словацки в виде брошюры и по-английски в журнале „Review of Metaphysics“, June 1949. Если мне удастся напечатать ее по-русски, я озаглавлю ее «Интуитивизм», так как она содержит в себе сжатый очерк основ всей этой теории знания.

Когда советская армия разгромила Будапешт, немцы, желая защитить Вену, решили оказать серьезное сопротивление в Братиславе. Они окружили этот город тремя рядами укреплений и внутри города устроили бункеры. Политически скомпрометированные русские уехали из Братиславы в Баварию, заранее отправив свои вещи в Германию. И я отправил в Германию наиболее ценные меховые вещи своей жены, свое редко носимое платье и т. п. Вещи эти попали в Геттинген и никогда не вернулись ко мне. Сам я решил в конце концов не уезжать в Германию. Согласно договору со словацким Министерством народного просвещения, я должен был в случае желания отказаться от должности профессора заявить об этом заранее, за год. Предвидя освобож-

дение Европы от нацизма и тяготясь своим одиночеством после кончины жены, я хотел поселиться с кем-либо из своих сыновей и написал осенью 1944 г. в Министерство, что после весеннего семестра 1945 г. прошу освободить меня от профессорских обязанностей. Не уезжать в Германию несмотря на близость советской армии я решил, во-первых, потому, что хотел исполнить свои обязанности в отношении к Университету и работать в летнем семестре, а, во-вторых, потому, что надеялся на защиту президента Бенеша от НКВД.

В квартире моей в это время уже не жила семья Диешки; они переехали в дом родителей его жены. Из одного отеля в Татрах я получил письмо вдовы одного русского профессора, которая сорок пять лет тому назад училась в Петербурге на Высших Женских курсах и была другом моей сестры Аделаиды. Она писала мне, что вместе с немецкою армиею ушла из СССР и может сообщить мне сведения о моих сестрах. Я съездил в Татры, познакомился с этою дамою и пригласил ее жить в моей квартире и заведовать моим хозяйством. Она приехала ко мне и привезла с собою еще старушку семидесяти пяти лет, с которою вместе бежала из России.

Предполагая, что оборона Братиславы нацистами будет упорною, и что Братислава подвергнется такому же разрушению, как Будапешт, я с двумя дамами, жившими у меня, уехал в феврале в курорт Пештяны. Я рассчитывал, что советская армия будет щадить этот курорт, в котором много больниц и отелей, приспособленных для жизни курортных больных. В Пештянах есть теплые сернистые источники с целебною водою, годною для лечения ревматизма и других болезней. На них обратил внимание во время своих походов Наполеон и первые здания были построены им для лечения больных его армии. В XX веке этот курорт был известен во всем мире. Сюда приезжали лечиться и американские мультимиллионеры и индийские богатые магараджи.

Река, протекающая через Пештяны, разделяется на два рукава и образует большой остров. Одною из достопримечательностей Пештян был мост, ведущий на этот остров. Посредине этого широкого моста была устроена стеклянная стена, над мостом была крыша. У стеклянной стены с обеих сторон были устроены скамьи. Таким образом при всякой

погоде больные могли гулять по этому мосту, защищенные от ветра и дождя, любуясь рекою и видом на леса и горы, присаживаясь на скамьи в случае усталости или для чтения и бесед друг с другом. Постройка этого моста обошлась очень дорого и требовала большого инженерного искусства, потому что необходимо было принять во внимание напор ветра на крышу моста. В городе был также и другой мост, соединявший оба берега реки. Когда советская армия стала приближаться, нацисты взорвали этот мост. Мало того, они взорвали также и курортный мост, хотя он не имел никакого стратегического значения, потому что вел на остров. Сделали они это из хулиганской ненависти к славянской культуре. Взрыв был произведен ночью. Часа в три ночи нас разбудила управляющая домом и сказала, что нужно раскрыть все окна и в течение четверти часа все обитатели дома должны уйти на расстояние одного километра от места взрыва. Мы пошли в здание мерии и там вместе с многими другими жителями города сидели часов до шсети утра, когда раздался взрыв. Уходя из дому, мы раскрыли окна, но не догадались раскрыть дверь из кухни в столовую; часть этой двери была стеклянная. Оказалось, что стекло этой двери было разбито вдребезги и даже косяк ее был надломлен.

Когда советская армия придвинулась настолько, что начала обстрел Пештян, жители дома перешли в подвал его; там нам пришлось спать только две ночи. Советская армия начала обстреливать нацистов «катюшами», и нацисты поспешно отступили. Утром мы узнали, что советская армия вступила в город. Я испытывал удивительное мистическое восприятие освобождения от какой-то социально тягостной атмосферы и вступления в какую-то родственную мне среду. И действительно, то было освобождение от гнета гитлеризма, еще не сопутствовавшееся переживанием не менее страшного гнета большевицкого режима.

Вскоре была завоевана и Братислава. Она не подверглась серьезному разрушению, потому что была завоевана в течение трех дней. Талантливые советские полководцы послали отряд черноморских моряков по Дунаю в тыл нацистам, и они принуждены были поспешно отступить. Нам удалось однако вернуться в Братиславу только через месяц, когда на железной дороге были возведены временные мосты.

Стыдно было слушать рассказы о грабежах советской армии и особенно насилиях над женщинами. Говорили, что в Братиславе было изнасиловано 9000 женщин в течение первых трех дней занятия города. У эмигрантки К. были две красавицы дочери. Она ранила одну из них в ногу, вымазала лица обеих дочерей кровью и поместила их в клинику, пользуясь знакомством с докторами. Таким образом она спасла дочерей. Дня через три после занятия города войсками бесчинства эти были прекращены.

Советские войска особенно жадно набрасывались на часы, не только солдаты, но и офицеры. «Давай часы», эти слова были известны всем словакам и чехам, как главное требование солдат. Некоторые из них нацепляли себе на руки по десяти и более штук часов. На рыночной площади во время базарных дней они толпились и продавали часы. Профессор психологии, переживший приход советской армии вне Братиславы в деревне, близко наблюдал поведение солдат и говорил, что они, грабя часы и другие вещи, вели себя, как дети: награбленными вещами они не особенно дорожили, часть их они дарили всякому, кто им понравился. Страсть их к часам была общеизвестна. Смотря фильм, изображающий совещание Рузвельта, Черчилля и Сталина в Ялте, публика, увидав, как Сталин протягивает руку Черчиллю, стала говорить «Давай часы!» и хохотала.

Вместе с армиею пришли и НКВД'исты. Они арестовали многих русских и словаков и отправили их в СССР. Замечательно, однако, что нас, русских профессоров, не уехавших в Германию, они не тронули. Одному доктору, служившему в Красном Кресте, они сказали: «У Лосского мировое имя; он политикою не занимается; пусть продолжает работать». Только раз ко мне пришел молодой человек и отрекомендовался так: «Я студент Московского университета, Театрального факультета, Режиссерского отделения. Я командирован для изучения театрального искусства в Европе. Молодежь у нас интересуется вашею философиею, и я хотел бы поговорить с вами о ней». Глаза его бегали по сторонам, и у меня получилось впечатление, что он причастен к деятельности НКВД. В конце беседы он сказал: «У нас теперь очень уважительное отношение к Церкви. Если в какой-либо пьесе ставится церковная церемония, из Синода присылают лицо,

которое наблюдает, чтобы все было поставлено правильно и с достоинством».

По окончании семестра я стал просить в полиции паспорта для выезда за границу, желая поехать в Париж к своим сыновьям. Мне ответили, что форма заграничных паспортов еще не выработана. Явным образом полиция не хотела дать заграничный паспорт русскому эмигранту, боясь, что советское правительство не сочувствует этому. Наконец, мне посоветовали поехать в Прагу и там получить паспорт. Я переехал в Прагу, однако и там в течение десяти недель не мог добиться ничего, а французский посол, имевший сведения обо мне, сказал, что как только я получу паспорт, он позволит мне полететь в Париж на посольском аэроплане. Наконец, у меня нашлись добрые знакомые, которые попросили чешского министра Рыбку (он теперь в Нью-Йорке) помочь мне. Министр потелефонировал в полицию, и через два дня я получил паспорт и полетел в Париж на французском аэроплане.

Глава десятая

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В Париже я узнал, что когда советская армия стала приближаться к границам Австрии, нацисты погнали пешком военнопленных из лагеря, где находился Борис, 15 000 человек, на запад. В Берхтесгадене они встретили американскую армию и были освобождены.[40] Французское правительство командировало Бориса, как знатока французского искусства, в Иннсбрук. Он вместе с несколькими другими лицами должен был ездить по Тиролю и отыскивать предметы французского искусства, вывезенные нацистами в Австрию. Работа эта длилась почти два года. По окончании ее Борис получил место директора Музея искусств в городе Тур на Луаре.

Андрей во время войны принимал участие в очень опасных операциях, в высадке в Африку, потом в Сицилию, в Италию около Неаполя, во взятии Рима и походе из Италии в Австрию. Он получил шесть наград и даже Legion of Merit в то время, когда только триста лиц имели этот орден. Дослужился он до чина лейтенанта.

Н. А. Бердяев предложил мне прочитать в его «Религиозно-Философской Академии» публичную лекцию. Я прочитал лекцию под заглавием «Идеал абсолютного добра как основа мировоззрения». Основная мысль моей лекции была та, что, исходя из христианского идеала Царства Божия, можно решать основные проблемы всех остальных философских наук. Этот метод применен мною в книгах «Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей», «Условия абсолютного добра» (основы этики), «Мир как осуществление красоты» (основы эстетики).

После моей лекции ко мне подошел господин, фамилии которого я не помню, отрекомендовался, как заведующий

культпросветом «Общества Советских Патриотов» и попросил меня прочитать лекцию для этого общества. Пораженный и обрадованный тем, что после лекции, столь решительно подчеркнувшей мое христианское миропонимание, советский деятель предлагает мне прочитать лекцию для их организации, я спросил, на какую тему они хотят слушать лекцию. Он ответил: «На какую вам угодно». Тогда я предложил лекцию Учение Достоевского об абсолютных ценностях». Я нарочно избрал эту тему, изложенную в моей книге «Достоевский и его христианское миропонимание». В ней выдвинута на первый план мысль об абсолютной ценности каждой индивидуальной личности и вместе с тем о неотъемлемых правах личности. Заведующий культпросветом согласился; через несколько дней моя лекция перед советскими патриотами состоялась и в газете «Советский патриот» сущность ее была точно изложена.

Вслед за этим мне стали предлагать напечатать в «Советском патриоте» статью о социальной справедливости. В самом начале статьи я указал, что решаю вопрос этот с точки зрения христианского идеала абсолютного добра. Статья эта, а также статья «Критика учения об удовольствии как цели поведения» были напечатаны без изменений. Ухаживание за мною советских деятелей стало пугать меня. Они хитро заманивали меня в свою среду и могли поставить в трудное, сомнительное положение. Поэтому я очень обрадовался, когда вскоре мне удалось уехать в Соединенные Штаты.[41]

Андрей легко выхлопотал мне право иммиграции в Соединенные Штаты, но пароходы были заняты перевозкою демобилизованной армии. Поэтому очень трудно было получить билет на пароход. Только через четверть года Андрею удалось устроить меня на пароход Brazil, на котором ехало триста war brides, и я в том числе. Я поселился в Нью-Хевене, где Андрей продолжал свои занятия в Graduate School Иельского университета и писал диссертацию «Балтийский вопрос в 1679—1889». Тема этой работы очень сложная, потому что она касается интересов и борьбы за них между всеми государствами на берегах Балтийского и Северного морей. Свою диссертацию Андрей закончил в 1948 г., получил степень доктора философии и стал инструктором на Историческом отделении Иельского университета. Он читал студентам

младших курсов Историю Европы, а также Историю России.

Осенью 1947 г. русская семинария в Нью-Йорке превратилась в высшее учебное заведение, в Св.-Владимирскую Духовную Академию, и я был приглашен в нее, как профессор философии. Деканом ее был недавно рукоположенный епископ Иоанн (Шаховской). В числе профессоров были историк Церкви Г. П. Федотов, Н. С. Арсеньев. Вскоре приехал такой знаток патрологии и богословия, как от. Георгий Флоровский. Из Италии приехал Евгений Васильевич Спекторский. Духовная Академия стала высшею школою, имеющею в своем составе значительные силы.

Я продолжал жить в Нью-Хевене вместе с сыном и ездил в течение академического года каждую неделю на два дня в Нью-Йорк. Я читал в Академии два курса, один на русском, другой на английском языке. По-английски я прочитал три свои книги, переведенные на английский язык, но еще не напечатанные: Достоевский и его христианское миропонимание; История русской философии; Христианская эстетика.

В Духовной Академии из сорока двух студентов только шесть могли слушать лекции на русском языке: многие молодые люди, принадлежащие ко второму, третьему поколению дореволюционной русской эмиграции утратили русский язык. Поэтому для четвертого академического года я приготовил оба курса на английском языке, однако не читал их. Я взял отпуск из Академии и уехал вместе с Андреем в Лос-Анжелес, потому что Андрей, как специалист по Истории Северной Европы, был приглашен в Калифорнийский университет, в то отделение его, которое находилось в Лос-Анжелесе.

Живя в Нью-Хевене, мы находились в хорошем русском обществе. Раз в неделю мы проводили вечер у Георгия Владимировича Вернадского, профессора русской истории, и его гостеприимной супруги Нины Владимировны. На эти вечера приходила и графиня Панина в те месяцы, когда она жила не в Нью-Йорке, а у своего сводного брата Александра Ивановича Петрункевича. Он уже с начала XX века жил в Соединенных Штатах и был профессором зоологии в Иельском университете. Специальностью его было изучение пауков.

Когда он приходил и рассказывал, например, об инстинктах пауков, это было увлекательно. Графиня Панина, несмотря на свой возраст, очень много участвовала в работе помощи эмигрантам, поддерживала сношения с множеством лиц и сохраняла живой интерес к высшим проблемам миропонимания и особенно религии.

Условия для занятий философиею в Нью-Хевене были очень благоприятны. Жизнь в этом культурном не слишком большом городе — спокойная, не утомительная. Библиотека Иельского университета чрезвычайно богата, в ней более четырех с половиною миллионов книг и пополняется она все время очень интенсивно. Даже русский отдел в ней весьма богат. В конце XIX века социолог Сомнер интересовался русскою культурою и позаботился о приобретении многих русских книг и журналов. С тех пор, не переставая, библиотека пополнялась русскими книгами. В ней, например, есть полные комплекты таких журналов, как Вестник Европы, Русский Вестник, Русская Старина, Архив русской истории, Исторический Вестник, Журнал Министерства Народного Просвещения, Вопросы философии и психологии, Записки Исторического факультета С.-Петербургского Университета. Когда я стал заканчивать книгу «История русской философии», я мог найти всякую русскую книгу, если не в Иельском университете, то в Нью-Йорке в Public Library, где очень богат Славянский отдел. Если пользоваться библиотеками Гарвардского и Иельского университетов, а также Public Library в Нью-Йорке и особенно Congress Library в Вашингтоне, то, я думаю, в них можно найти почти всякую книгу, необходимую для изучения России. Вообще по моим наблюдениям культура Соединенных Штатов стоит в наше время на уровне европейской во всех областях. Эта страна настолько богата, что в ней появилось много лиц, имеющих возможность посвятить все свои силы науке, философии и различным видам искусства. В Американской Философской Ассоциации состоит более, чем 1800 членов. Среди них есть представители всех философских школ; некоторые из них значительные философы. Однако в общем в Соединенных Штатах философия находится в наше время в состоянии упадка. Года два тому назад об этом прочитал доклад профессср Монтегю. Под упадком философии он разумел преобладание

таких направлений, как прагматизм, инструментализм, бихевиоризм, логический позитивизм. Этим упадком философии я объясняю то, что американские философские журналы боятся печатать статью, идущую против модных направлений. Например, до сих пор (конец 1951 г.) я не могу, несмотря на ряд попыток, напечатать статьи «Пространство, время и теории Эйнштейна», а также статью «Аналитические и синтетические суждения, и математическая логика».

Один раз мне удалось съездить в Гарвардский университет и прочитать там две лекции. Два раза я был в Канаде, первый раз в Монтреале, где прочитал две лекции в Mac Gill University и виделся с профессором физиологии Бабкиным. Из Монтреаля я заехал на три дня в город Кингстон на озере Онтарио; меня пригласила к себе Ольга Владимировна Берви, урожденная Кайданова. С нею у меня и М. Н. Стоюниной уже в Праге была переписка по поводу подготовляемой ею к печати книге о школах в России. Эту книгу она напечатала в то время в Берлине в издательстве А. С. Кагана на свои средства, добываемые ею в ее преклонном возрасте уроками музыки. Из Кингстона я решил вернуться в Нью-Хевен, проехав через границу Канады в автобусе до города Watertown, к которому не было железной дороги. Был февраль месяц и канадские жители говорили мне, что зимою этот путь очень неудобен, могут даже по пути встретиться волки. Мне эти страхи показались курьезными; я поехал в автобусе и был очень вознагражден за свое решение не бояться такого переезда на протяжении всего каких-нибудь пятидесяти километров. В самом деле, по пути я видел чрезвычайно интересный пейзаж: граница между Канадою и Соединенными Штатами находится в этом месте посредине «Моста тысячи островов» на реке Св. Лаврентия. Эта могучая река широко разливается здесь и в самом деле усеяна тут множеством маленьких и довольно больших островов.

Вторая моя поездка в Канаду была очень своеобразна. Пресвитерианский священник Лев Петрович Шеин очень интересовался русскою философиею. Он знает русский язык, потому что родился в Киеве и выехал из России со своими родителями в восемнадцатилетнем возрасте. Узнав о моем приезде в Соединенные Штаты, он вступил со мною в переписку, а потом пригласил меня приехать к нему летом по-

гостить. Я поехал к нему в августе в то время, когда Андрей, лейтенант американской армии и активный резервист, должен был уехать из дому на две недели для участия в маневрах своей дивизии. Неделя, которую я провел в семье Шеина, была очень интересна. Он жил в маленьком городке Woodville в 70 милях на северо-запад от Торонто. Каждый день он возил меня в автомобиле любоваться красотами Канады, особенно живописными озерами ее. Наиболее сильное впечатление произвела на меня поездка за 150 миль на гору, на вершине которой находится католический храм с мощами миссионеров, убитых индейцами в XVII веке. С этой горы — красивый вид на Свято-Георгиевский залив озера Huron; даже залив этот представляет собою грандиозное озеро.

В 1950 году меня пригласил к себе погостить профессор философии Tom Tuttle, который писал мне, что моя книга «Мир как органическое целое» — лучшее философское произведение за последние пятьдесят лет. Он приобрел все мои книги и статьи, переведенные на английский язык. Он живет в маленьком городке Баулинг Грин в штате Охайо. На пути к Таттлю я ночевал в городе Кливланде на берегу озера Эри. В этом городе у меня есть знакомая библиотекарша Музея искусств. Она повезла меня по городу, и я опять имел случай видеть, как высока культура Соединенных Штатов. Музей искусств в этом городе великолепно обставлен и обладает прекрасною библиотекою. В городе имеется хороший симфонический оркестр, дающий концерты с серьезною музыкою. Громадную площадь занимает великолепный парк. В нем имеются национальные уголки, участки парка для различных наций, для немцев, поляков, украинцев. Мы остановились на украинском участке посмотреть четыре памятника скульптора Архипенко. Это бюсты Богдана Хмельницкого, Шевченко, профессора Грушевского и Св. Владимира. Под бюстом Св. Владимира написано по-английски, что он — правитель Украины, который ввел христианство на Украине. Итак, Владимир Святой осуществил не крещение Руси, а крещение Украины. Это замечательный образец шовинистического национализма. Как известно, в то время эта область расселения русских племен не называлась Украиною и даже не было подразделения языка на великорус-

ский и малорусский. В летописи Нестора Киев называется матерью городов русских.

В доме профессора Таттля я провел неделю, беседуя с ним о философских вопросах и слушая на его великолепном граммофоне произведения классической музыки, особенно любимого им Бетховена. У Таттля большая библиотека главным образом философских книг, но также и по другим отделам знания. Оказалось, что он узнал о моей философии от профессора A. Hoernlé, будучи студентом в Калифорнии. Hoernlé был немец, родившийся в Индии. Поэтому он был английским гражданином. Профессором философии он был в Соединенных Штатах, а потом в Cape Town в Африке. Таттль услышал от него заявление, что мое «Обоснование интуитивизма» — лучший труд по гносеологии после «Критики чистого разума» Канта. Меня обрадовало то, что это сказано немцем. Я полагаю, что после «Критики чистого разума» дальнейшее развитие философии должно быть связано с гносеологическим учением о непосредственном восприятии внешнего мира. Глава пятая моего «Обоснования интуитивизма» поэтому и содержит обзор таких учений, появившихся после Канта в XIX веке.

Таттль увлекается учением Плотина, Лао-Цзы и других философов, утверждающих, что высшее сверхмировое начало невыразимо никакими понятиями, заимствованными из области мирового бытия. Вероятно, поэтому и моя книга «Мир как органическое целое» с учением об Абсолютном, изложенным в ней, привлекла его. К сожалению, однако, усвоив отрицательное богословие, он отверг положительное богословие и стал резко отрицательно относиться к христианству. В юности он был, по-видимому, баптистом и даже проповедовал в храмах, а потом совершенно отошел от христианства. Он говорил о слышанных им проповедях и изложениях сущности христианства, согласно которым христианство оказывалось нелепою верою в магическое действие пролитой Христом крови. Сколько я ни говорил ему о том, что такие взгляды суть искажение христианства, что ни на какую магию христианин, будучи сторонником учения о свободе воли, не рассчитывает, ничто не помогало. У меня получилось впечатление, что Таттль в молодости пережил какую-

то травму в связи с церковною жизнью, и она оттолкнула его от христианства.

Профессор Спекторский, зная, что 6 декабря (старого стиля) 1950 г. в день св. Николая мне исполнится 80 лет, поднял вопрос о чествовании моего юбилея. Он и организовал это собрание, но я в это время со своим сыном Андреем находился уже в Калифорнии, в Лос-Анжелесе.

Город Лос-Анжелес мне понравился обилием крайне разнообразных цветов. Зимы в Южной Калифорнии нет. Поэтому даже в январе и феврале появляются все новые и новые цветы. Бульвар на берегу Тихого Океана очень красив. Однако климат Калифорнии нам не особенно понравился. Русскому человеку больше нравится климат, в котором есть все четыре времени года.

Калифорнийский университет не частный, а штатный. Он состоит из восьми отделений; главное отделение находится в городе Беркли вблизи Сан-Франциско. Отделение в Лос-Анжелесе основано всего лишь лет шестьдесят тому назад. Поэтому библиотека в нем бедна; в ней всего только 700 000 книг. Андрей писал в это время в дополнение к своей диссертации монографию о политике Людовика XIV и Вильгельма III в 1683 г. Кроме микрофильмов, полученных им из голландских архивов, ему нужны были книги из Библиотеки Иельского университета и из Нью-Йоркской Публичной библиотеки. Я в эти года начал заниматься вопросом о характере русского народа. Книг для этого вопроса тоже очень мало в Лос-Анжелесе, а в Иельском университете и в Нью-Йоркской Публичной библиотеке они имеются в большом количестве. Поэтому летом каждый год мы ездили в штат Коннектикут и жили на даче профессора Вернадского в 18 милях от Нью-Хевена.

В 1951 году получилось из Нью-Йорка печальное известие о том, что профессор Спекторский упал на лестнице; у него получилось сотрясение мозга, а потом кровоизлияние в мозг и он умер. Вскоре после того неожиданно умер Б. А. Бахметев и после долгой болезни Г. П. Федотов. Бахмотев дал из основанного им „Humanities Fund“ тысячу долларов издательству The International Universities Press, чтобы поддержать издание моей книги „History of Russian philosophy“. В сентябре 1951 эта книга появилась в свет. Годом раньше Галич (Леонид

Евгениевич Габрилович) напечатал в газете «Новое Русское Слово» две статьи, в которых старался доказать, что никакой русской философии нет. Когда появилась моя книга, он написал фельетон под заглавием «Летопись русской мысли», в котором упрекает меня за то, что Герцену, Бакунину у меня отведено гораздо меньше места, чем, например, от. Сергию Булгакову. На это я отвечаю, что если бы я писал историю русской мысли вообще, я должен был бы уделить много места Герцену и Бакунину; но моя книга есть история лишь одной области русской мысли, именно философии, а в подлинную философию, в гносеологию и метафизику Герцен и Бакунин ровно ничего не внесли.

Вслед за этим Галич в статье своей, кажется, о Льве Шестове, цитируя из моего письма только первую часть сложного предложения, именно что книга моя не есть история русской мысли, сказал, что, по моему собственному признанию, русская философия не есть область мысли. Такое цитирование части предложения с целью приписать автору мысль, прямо противоположную тому, что он сказал, есть прием, может быть, и остроумный, но, конечно, не соответствующий добрым литературным нравам. Книга моя вызвала много рецензий, которые делятся на две категории: лица, отрицающие возможность метафизики и ненавидящие религию, как, например, Сидни Хук, резко отрицательно оценивают мою книгу; наоборот, ценящие метафизику и религию, хвалят книгу.

Недавно появилась книга новозеландского философа M. Moncrieff'a „The Clairvoyant of Perception" (Теория восприятия, как ясновидения). Это теория до некоторой степени подобная моему интуитивизму, именно учение о непосредственном восприятии внешнего мира. В своей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» я говорю, что моя теория ставит «даже и обыкновенное чувственное восприятие, например видение глазами дерева на расстоянии десяти метров от меня, на один уровень с ясновидением» (стр. 2).

В настоящее время это учение под названием «непосредственный реализм» все более распространяется в католической философии; оно существует также в англо-американском неореализме; в начале 1953 года профессор Гарвард-

ского университета Wild вместе с тринадцатью другими американскими философами издал сборник „The Return to Reason“ с такою же теориею знания, которую они называют «реалистическою философиею». Лет через пятьдесят это будет наиболее широко принятая теория знания. Хотя я первый разработал эту теорию всесторонне, именно в гносеологии, логике и психологии, она не будет связана с моим именем, во-первых, потому, что мои соотечественники, русские, никогда не солидарны друг с другом и, во-вторых, потому, что западноевропейцы презрительно относятся к русским.

Кроме профессоров Маршалла и Таттля, в Соединенных Штатах, по-видимому, есть еще кто-то ценящий мою философию. Я предполагаю это, имея в виду следующий факт. Вскоре после напечатания моей «Истории русской философии» я получил из „The International Mark Twain Society“ извещение о том, что мне предложено звание почетного члена (Honorary Member) этого общества. В числе почетных членов Общества находятся такие лица, как Винстон Черчилль, герцог Виндзорский, президент Труман, Бернард Шоу и многие другие видные писатели, ученые и т. п.

Одно из печальных явлений нашей эмиграции как в Западной Европе, так и в Америке есть наличие нескольких русских православных юрисдикций. Патриарх Тихон издал 20 ноября 1920 г. указ, согласно которому русские православные епископы могут управлять своею епархиею самостоятельно, пока нет нормальных сношений с Матерью-Церковью. В этом указе сказано, что желательно, чтобы епископ старался соединяться при этом с соседними епископами. Митрополит Антоний (Храповицкий), обосновавшись в Сремских Карловцах в Югославии, основал там «Высшее Церковное Управление». В Париже возникло другое средоточие зарубежной русской Церкви с митрополитом Евлогием во главе. Указ патриарха Тихона «карловчане» стали произвольно толковать в том смысле, что будто не только соседние, а и все епархии за границею должны объединиться в одно целое с митрополитом Антонием во главе. Это притязание их, вообще канонически неоправданное, стало уже совершенно неприемлемым, когда патриарх Тихон признал, что поведение «карловчан» опасно для жизни Русской Православной Церкви в СССР и 22 апреля (5 мая) издал за

№ 347 указ, которым упразднял Карловацкое Высшее Церковное Управление «за чисто политические от имени Церкви выступления, не имеющие церковно-канонического значения», то есть не обоснованные канонически. Поводом к этому указу послужило, между прочим, следующее обстоятельство. «Карловчане» на своем «соборе» говорили, что большевиками разбиты все силы, выступавшие против них, осталась в России одна лишь Православная церковь, способная бороться против них. «Карловчане» не послушались указа патриарха, утверждая, что «указ этот несомненно написан под давлением большевиков и врагов Церкви».* Они продолжали свою деятельность, изменив только название своего «Управления», дав ему имя «Временный Заграничный Архиерейский Синод». И этот Синод был упразднен указом патриарха Тихона от 10 ноября 1923 года за № 106. «Карловчане» не послушались и этого указа. Ссылка их на то, что указ патриарха вынужден давлением большевицкого правительства, запутывает их в следующее положение. Они превозносят до небес патриарха Тихона за его стойкое поведение в борьбе с большевицкою властью и мечут громы и молнии против патриарха Сергия и патриарха Алексия за их компромиссы с советским правительством. Между тем, если бы указ, упраздняющий их «Управление», был издан патриархом Тихоном только под давлением советского правительства, это значило бы, что поведение его по существу не отличается от поведения патриархов Сергия и Алексия. В действительности однако, зная все поведение патриарха Тихона, скорее следует понять возникновение указа так: давление со стороны советской власти было, но патриарх и сам по совести мог издать указ об упразднении карловацкого «Управления» в наказание «за чисто политические от имени Церкви выступления», вредные для жизни Русской Церкви, находившейся под властью большевиков. Поэтому из всех юрисдикций Русской Церкви, существующих за границею, «карловацкая» наиболее сомнительна с точки зрения канонического права.

---

* См. книгу Прот. М. Польского «Каноническое положение Высшей Церковной власти в СССР и заграницей», 1948, стр. 21.

После смерти митрополита Антония во главе «карловчан» стоит митрополит Анастасий. Из Югославии Синод, возглавляемый им, переселился в Мюнхен, а теперь в Соединенные Штаты. Сам митрополит Анастасий — иерарх высокого духа, но подчиненные ему церковные деятели проявляют крайнюю степень самомнения. Они говорят, что Московский патриарх морально убит, потому что советскую власть он «восхваляет и всячески с ней солидаризуется» (брошюра епископа Нафанаила «В чем правда русской соборной зарубежной Церкви» стр. 4). «Эта грязь падает и на всех тех иерархов, которые хотя и не подчиняются Московскому патриарху, но не обличают его, признают его своим собратом» (там же). «Все православные поместные церкви признали законность этого патриарха и прислали своих представителей на избравший его собор» (3). «Наша Леонтиевская юрисдикция тоже виновна в этом, потому что на Кливландском соборе она признала Московского патриарха своим духовным главою» (6). Таким образом, по мнению епископа Нафанаила, запятнаны все эти ветви Православной Церкви: «во всем православном мире не подчинились, отмежевались и осудили вопиющую кощунственную неправду Московского патриарха только тайная катакомбная церков в России и наша Заграничная Русская Церковь, возглавляемая митрополитом Анастасием» (3). Итак, во всем мире только эти две церковные группы суть носители подлинного, чистого Православия! Такое горделивое самопревознесение идет дальше, чем формула «Москва — третий Рим».

Как и в Москве XVI века, такое самомнение сопутствуется ненавистью ко всему новому. Отсюда возникает изуверство, выразившееся во многих статьях издаваемого карловчанами журнала «Православная Русь». В ежегоднике «Православный Путь», напечатанном при этом журнале в 1950 году, имеется статья профессора И. Андреева (Андреевского) «Владимир Соловьев — мистик в свете Православия». Андреев — психиатр, получивший образование в Психоневрологическом Институте Бехтерева в Петербурге. Цель его статьи — смешать с грязью Вл. Соловьева и особенно доказать, будто видение Софии, трижды пережитое Соловьевым, было «дьявольскою прелестью», отравившею всю философию Соловьева. В этой статье он отрицательно относится не только

к Соловьеву, а и ко всей религиозной философии его преемников, к богословской школе, развившейся в Париже в связи с Богословским Институтом, к деятельности Парижского отделения американской YMCA, напечатавшего много русских религиозно-философских трудов, и к экуменическому движению.

У Андреева есть литературный талант; его лекции привлекают слушателей. Поэтому тем более вреден его фанатизм. Степень его нетерпимости ярко выразилась в таком его заявлении. Познакомившись с С. А. Левицким, он подружился с ним. Однако, услышав от Левицкого какие-то частные богословские мнения его, противоречащие не догматам, а только традиционным учениям Церкви, он заявил ему: «Если мы будем у власти, я повешу вас, — любя повешу». Левицкий ответил на это: «А если мы будем у власти, мы не повесим вас». Тогда Андреев сказал: «А я поведу себя так, что заставлю вас повесить меня». Нормальному человеку трудно представить себе, как поворачивается язык, чтобы высказывать такие дикие мысли.

В этом же ежегоднике «Православный Путь» напечатана статья иеромонаха Константина «Два исповедания веры», статья о Бердяеве и от. Сергии Булгакове. В миру иеромонах Константин был Кирилл Осипович Зайцев, высококультурный, получивший юридическое образование интеллигент. В эмиграции он жил сначала в Праге, потом в Харбине и Шанхае, теперь он находится в Соединенных Штатах в Свято-Троицком монастыре «карловчан». В своей статье он использовал автобиографии Бердяева и от. Сергия Булгакова. Об от. Сергии он говорит: «Тот, кто хочет сказать в Православии Новое Слово, — тот уже находится за пределами Церкви. А ведь вся церковно-публицистическая деятельность о. Сергия есть высказывание этого Нового Слова!» (149). Конечная оценка личности и творчества Бердяева и от. Сергия такова: «Эгоцентризм, лишенный сдержек, увлек их, одного в области *религиозной* мысли, другого уже в области мысли *церковной* — на путь демонической гордыни» (150).

Боязнь новой мысли и даже нового стиля в выражении старых мыслей в области религиозной и особенно церковной доходит у таких писателей, как Андреев и иеромонах Константин, до той ступени, которая поражает нас, когда мы

знакомимся с историею старообрядчества. Эта боязнь доходит до изуверства в статье «Одним ли миром мы мазаны?» (Православный Путь, № 9, 1951), никем не подписанной. В статье этой также высказано резко отрицательное суждение о философии Соловьева из-за термина «Богочеловечество». Анонимный автор пишет: «Знает Церковь Бога, знает человека, знает — Богочеловека, крестною смертью примирившего падшее человечество с Богом, но не знает православное сознание Богочеловечества». В учении Соловьева автор находит «соблазнительную светскую философию, с головою выдавшую себя самым именем богочеловечества». Надо заметить, что Соловьев употребляет термин богочеловечество в двух различных смыслах и при этом определяет значение их так, что смысл их не противоречит догмам. Но современный старообрядец не выносит «нового слова» в церковной литературе. Свою статью он заканчивает крайне несправедливым нападением на митрополита всея Америки и Канады Леонтия за то, что он написал статью «Богочеловечество, как основная идея философии Владимира Соловьева» (по поводу пятидесятилетия кончины философа и перевода его Чтений о Богочеловечестве на английский язык). В своей статье митрополит Леонтий воздает должное Соловьеву, как великому русскому мыслителю, излагая вкратце его учения и не высказывая своего собственного понимания термина «Богочеловечество». И вот из-за этой-то статьи современный старообрядец дерзко поднимает вопрос «одним ли миром мы мазаны?».

Если бы после свержения большевицкой власти в России власть оказалась в руках таких изуверов, они опять скомпрометировали бы Церковь, и русская интеллигенция, начавшая возвращаться к ней, опять отпала бы от Церкви.

В Нью-Хевене я задумал написать книгу о характере русского народа. Благодаря богатой библиотеке Иельского университета, в которой русский отдел хорошо представлен, я с удобством мог собирать материалы для этой книги. Если же какой-либо книги не было в Нью-Хевене, ее всегда можно было найти в богатейшей нью-йоркской Public Library. Положение резко изменилось, когда мы с сыном переехали в Лос-Анжелес. Поэтому на летние каникулы мы ездили в Нью-Хевен и жили, благодаря любезности профессора Вер-

надского и его жены Нины Владимировны (урожденной Свечиной), на даче их в 12 милях от города.

Переезд через всю Северную Америку с запада на восток дает много интересных впечатлений. Природа западных гористых штатов, средних степных и восточных холмистых весьма разнообразна, а в связи с этим и занятия жителей их сильно отличаются друг от друга. В штате Аризона, например, мы заехали к одному знакомому Андрея, адвокату, который бросил все дела свои в Нью-Йорке и купил ранчо, чтобы вести жизнь независимого человека. Владелец ранчо живет исключительно скотоводством. Когда я спросил у него, сколько у него рабочих, он ответил, что рабочих у него нет никаких: скот круглый год пасется и питается сам, не нуждаясь ни в каком уходе; владельцу ранчо остается только продавать его скупщикам, приезжающим в определенные сроки для этой цели.

В 1951 году исполнилось пять лет со времени моего въезда в США, и я, сдав экзамен, стал гражданином США. Для достижения этой цели необходимо сдать экзамен, на котором задаются вопросы о главных событиях истории Соединенных Штатов и о конституции этого государства. Чтобы быть уверенным в себе, я не удовлетворился брошюрою, в которой изложены эти необходимые сведения, и поступил в школу для подготовки к гражданству. Помещалась она в одной комнате в прекрасном здании большой элементарной школы. Преподавание вела учительница лет сорока; в одной части класса она занималась с группою, обучавшеюся английскому языку, а в другой части той же комнаты — с группою, обучавшеюся конституции США. Для получения свидетельства надо было учиться десять недель, приходя на один час два раза в неделю. Через пять недель я усвоил все, что нужно знать для экзамена, и моя учительница занималась со мною беседами о разных политических и социальных вопросах, а, кроме того, давала мне на дом и в классе различные книги, полезные для знакомства с разными сторонами истории и быта США. Все в школе были заинтересованы тем, что явился в нее восьмидесятилетний ученик, бывший профессор. Начальник школы и учительницы приходили знакомиться со мною. Они показали мне библиотеку школы и различные учебные пособия. Особенно понравились мне игры

и занятия детей в детском саду на свежем воздухе: одни из них рисовали на бумаге красками на мольбертах, другие столярничали, третьи играли на кучах песку, четвертые делали гимнастику, пользуясь различными приспособлениями для этой цели. Учительница моя дала мне несколько литографированных статей о типах школы в США. Оказалось, что в Соединенных Штатах существует много весьма отличающихся друг от друга типов средней школы. Например, есть школы, в которых, как было в России, преподаются отдельные предметы, математики, языки, история, география и т. п.; в других же школах один какой-либо предмет ставится в центр преподавания и остальные предметы группируются вокруг этого центра так, чтобы получилось единое целое. Педагоги ведут оживленные споры о достоинствах и недостатках различных типов школы.

Школьники издают журнал. Ко мне в класс пришли однажды две девочки двенадцати и тринадцати лет и задали ряд вопросов о моей книге, говоря, что хотят поместить в своем журнале мою биографию. Недели через две они принесли мне номер своего журнала. В нем были стихотворения и статьи школьников, рисунки и моя биография.

Американская школа глубоко отличается от старой русской, а также от современной, например, французской средней школы. В современной Франции средняя школа представляет собою нечто вроде изнурительной системы каторжных работ: дети в ней подавлены обилием принудительных работ, поглощающих все их силы и даже превосходящих силы; к тому же, многие работы бессмысленны, потому что в дальнейшей жизни не будут иметь никакого значения.

В школе я получил не только свидетельство о прохождении курса ее, но еще и диплом о большом успехе моих занятий. Вскоре после этого в средине марта 1952 года я был вызван в суд на экзамен. Мой экзаменатор задал мне, между прочим, стереотипный вопрос, буду ли я в случае войны помогать Соединенным Штатам. Я улыбнулся, имея в виду свой возраст, и сказал: «Если будут военнопленные, я охотно буду разъяснять им преимущества такой демократии, как США».

В конце 1951 года из Праги получилось известие о том, что Иван Иванович Лапшин тяжело заболел тромбозом сердца

и легкого. В письме ко мне он говорил, что доктора удивляются тому, какого он «крепкого корня». После года борьбы с болезнью он умер 17 ноября 1952 года в возрасте восьмидесяти двух лет. В характере Ивана Ивановича было сочетание добрых свойств русского интеллигента и английского джентльмена. Приятно поэтому думать, что пражское общество высоко ценило его. От друзей и почитателей был большой венок свежих хризантем, кроме того многие приносили букеты цветов. Отпевал его протоиерей Михаил Васнецов, сын художника Виктора Васнецова. В России он был астрономом, а в эмиграции стал священником. Он произнес доброе надгробное слово: «Мы стоим у гроба нашего дорогого и незабвенного Ивана Ивановича Лапшина. Уснул ум, вмещавший такое богатство широких и разнообразных познаний; замкнулось ухо, так тонко воспринимавшее музыкальную гармонию; умолк голос, изливавший на своих лекциях всю многогранность его эрудиции; уже не пишет рука, еще недавно создавшая книгу о русской музыке. И душа почившего должна предстать перед судом Божией Правды. Да не смущает нас мысль, что усопший не был человеком церковным. Я часто беседовал с ним и видел, что его философски настроенный разум все время искал Бога, а сердце влеклось к Христовым заповедям. Он говорил: «Если вы не можете назвать меня христианином, то назовите христолюбцем». А, ведь, Господь сказал Своим ученикам: «Кто не против вас, тот — за вас» (Лук. IX, 50). Сердцеведец Господь знает, — может быть, сердце почившего было и очень близко к Богу.

В душе Ивана Ивановича было много любви к красоте, добру и свету. Это чувствовала молодежь, и его ученики ценили и любили его. Как грустно, что профессор Лапшин нашел свой конец так далеко от своей кафедры в Петербурге, и гроб его не окружают многочисленные ученики и слушатели его.

Будем же молиться Всемилостивому Господу, да простит Он новопреставленному рабу Своему Иоанну все его прегрешения и сомнения и по великому Своему милосердию да сподобит его услышать небесную гармонию, и те звуки небес, которых не могут заменить никакие песни земли.

А мы сохраним в своих сердцах благодарную память о

дорогом Иване Ивановиче, как о человеке, обладавшем исключительной и разносторонней образованностью и в то же время скромном и ко всем доброжелательном».

Летом 1952 года мой старший внук Николай женился на внучке священника Бельского Веронике. И Николай, и Вероника кончили курс Сорбонны. Оба они стремятся стать учеными: Николай готовится быть специалистом по истории английской литературы, а Вероника — по истории России. Николай получил стипендию для своих специальных занятий в Оксфордском университете. В апреле 1953 года у них родился сын, которому, по французскому обычаю, дали два имени: Андрей и Онуфрий. В Западной Европе и Соединенных Штатах имя Онуфрий встречается часто, однако произносится и пишется так, что нелегко заметить тожество его с нашим: по-английски это — Humphrey.

В Лос-Анжелесе есть философ культуры Gerald Heard. От него я получил письмо, что он и друг его английский писатель Aldous Huxley хотели бы побеседовать со мною о влиянии новоплатонизма на русское богословие и философию. Встреча наша состоялась в доме Heard'a. Зная, что речь будет идти о Православии, я захватил с собою книгу „Der Sinn der Ikonen", изданную в Швейцарии моим сыном Владимиром вместе с художником Леонидом Успенским. Минут через пять после моего прихода Huxley спросил меня, кто такой Владимир Лосский, написавший книгу „Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient". Я ответил, что это мой сын, и показал ему книгу „Der Sinn der Ikenen". Он очень заинтересовался ею, пересмотрел воспроизведения всех икон, и тут у нас начались такие разговоры, что мы не успели дойти до вопроса о новоплатонизме.

Впоследствии я узнал, что Heard увлекается индусским Ведизмом и принадлежит к общине сторонников Ведизма. Каждые две недели он читает лекцию в Vedanta Temple.

В американских университетах есть полезный обычай: после трех лет работы профессор имеет право в течение семестра быть свободным от чтения лекций и других обязанностей. Если он пользуется этим правом, он в течение полугода получает две трети жалованья. В 1954 году исполнилось три года профессорской работы Андрея в Калифорнийском университете и он воспользовался своим sabbatical semester, чтобы

поехать в Европу и там заняться в архивах нескольких государств, собирая материалы для подготовляемой им книги о Балтийской проблеме во второй половине XVII века.

Весною в Европу едет из Америки такое множество туристов, что для получения сравнительно дешевого билета в туристическом классе на пароходе нужно заказать билет заранее за год. Такой билет у нас был и мы поехали весною 1954 года с тем, чтобы вернуться в Лос-Анжелес в феврале 1955 года. Андрей работал в архивах Лондона, Парижа, Гааги, Амстердама, Копенгагена и Стокгольма, а я жил то в Париже в семье своего сына Владимира, то в городе Tours, в семье Бориса, квартира которого находилась в здании Musée des Beaux-Arts, так как он был директором Музея.

Приятно было видеть, что любовь к науке и искусству процветает также и в третьем поколении нашей семьи. Старший внук мой Николай и жена его Вероника, пройдя курс Сорбонны, жили три года в Оксфорде; он специализировался по истории английской и американской литературы, а жена его занималась историею России в ее древнейшем периоде. Старшая внучка моя Мария успешно изучала историю русского языка и литературы в Сорбонне. Старшая дочь Бориса Мария кончала лицей и тоже готовилась к серьезным занятиям в области гуманитарных наук.

Из Франции мне надо было съездить в Германию, чтобы познакомиться со страстным почитателем Вл. Соловьева Владимиром Семеновичем Шилкарским, профессором университета в Бонне. Общение с ним оказалось очень приятным. От него я поехал в маленький городок Линц на Рейне; вблизи него Тургенев написал рассказ «Ася». В Линце в это время жил Иван Евгениевич Штраух, который в 1906 г., будучи студентом Петербургского университета, перевел на немецкий язык мое «Обоснование интуитивизма». В радушной семье его я провел два дня.

Три летние месяца 1955 года нам опять пришлось провести во Франции, потому что Андрею нужно было поработать в парижских архивах. Туристических билетов на пароход у нас не было и потому пришлось лететь туда и назад на аэроплане. Опыт таких полетов наглядно показывает одну из многочисленных сторон объединения земного шара, происходящего в наше время. Оно настоятельно требует создания

сверхгосударственной организации человечества, на первых порах хотя бы федерации Западной Европы. Однако преодолеть национальную гордыню государств, противящуюся ограничению суверенитета, крайне трудно. Вероятно, такая федерация образуется лишь после какой-нибудь страшной катастрофы, например после временного завоевания Европы Китаем, предсказанного Вл. Соловьевым в «Повести об антихристе» в его «Трех разговорах».

Во время Рождества к нам в Лос-Анжелес прилетела из Парижа старая знакомая Андрея Ирина Николаевна Нехорошева, доктор медицины, специалистка по энцефалографии (по волнам, исходящим из мозга). Она летела на аэроплане, отправляющемся из Копенгагена в Лос-Анжелес через северный полюс (вернее, через Гренландию). В январе 1956 г. состоялась гражданская свадьба ее с Андреем и после этого она полетела в Нью-Йорк, а оттуда в Париж, где работает в госпитале. Церковное венчание их состоится в Париже в день Св. Духа. Таким образом нам опять в третий раз придется ехать в Европу.

По законам штата Калифорнии гражданин США, проживший в Калифорнии пять лет, имеет право после достижения шестидесятилетнего возраста получать пенсию, 85 долларов в месяц. Так как у меня есть сын, профессор, могущий поддерживать меня, то мне определена пенсия в размере 60 долларов 43 сента в месяц; потом она была сведена на 29 долларов вследствие увеличения жалованья моего сына, когда он стал associate professor. К этой сумме присоединяется возмещение расходов на медицинскую помощь, однако в таком размере, чтобы сумма пенсии не превышала 85 долларов в месяц.

В июне 1956 г. мы отправились на три месяца во Францию, в Париже состоялось венчание моего сына с Ириною в церкви Св.-Сергиевского подворья. Той же весною мой сын Владимир вылетел в Москву в составе делегации, которую пригласил патриарх Алексий. В этой делегации, состоявшей, кажется, из восьми лиц, были от. Василий Кривошеин, профессор Оксфордского университета Димитрий Димитриевич Оболенский, француз Olivier Clément. Патриарха им не удалось повидать, потому что он ко времени их приезда заболел. Кроме Москвы, делегацию возили в Петербург, Киев и на юг

России. Письма, в которых Владимир сообщал нам в Лос-Анжелес о пережитом в России, были очень содержательны. В Петербурге он пошел на Кабинетскую улицу в тот дом, где была гимназия Стоюниной. Учительница, встретившая его, узнав, кто он такой, сказала: «Наша советская школа гордится тем, что здесь помещалась гимназия Стоюниной». На вопрос «Вы знали мою бабушку?» она ответила: «Нет, не знала лично, но кто же не знает имени Марии Николаевны Стоюниной!». Такие речи, невозможные во времена Сталина, показывают, как изменилась атмосфера в эту пору в СССР. Когда Владимир, желая поехать к своим тетушкам Аделаиде и Вере, сказал шоферу, что ему нужно ехать в Приморский район на проспект Щорса, стоявшее с ним рядом лицо пояснило шоферу: «Отвезите Владимира Николаевича на Малый проспект, на Петербургскую сторону». Это пояснение показывает, что население Петербурга не принимает большевицких названий улиц и хранит в своей памяти дореволюционный Петербург. От сестры моей Веры Владимир узнал, что Аделаида умерла уже в 1946 г., умерли также Виктория и ее муж.

Особенно сильное впечатление произвело на меня письмо Владимира, которое он озаглавил: «Встреча с русским народом».

Жизнь наша благодаря Ирине стала более благоприятно обставленною. Она проявила кулинарное искусство и очень улучшила наше питание. Заботясь о красоте, она придала нашей обстановке привлекательный вид. Как ученый энцефалограф, она стала членом Физиологического отделения в Медицинской школе Калифорнийского университета, но продолжать научные занятия энцефалографиею ей в 1957 г. не удалось. Профессор Lindsley, который мог бы организовать для этой цели лабораторию, оказался так перегруженным всевозможными обязанностями, что не в состоянии был найти время для этой работы.

В 1956 и 1957 гг. большое удовольствие доставляло нам знакомство с художником князем Борисом Алексеевичем Мещерским и его женою Мариею Александроною, преподавательницею русского языка в Калифорнийском университете. Князь Мещерский был внуком княгини Оболенской, основательницы хорошей женской гимназии в Петербурге.

После ее смерти дочь ее княгиня Мещерская была начальницею этой гимназии. Мещерские, и муж, и жена, были хорошие рассказчики с большим жизненным опытом. Борис Алексеевич рассказал нам интересную историю из жизни русского эмигранта, который был любителем птиц и знатоком их нравов. Живя в Париже, он заметил, что в песне французских соловьев есть только четыре колена, а у русских соловьев — восемь колен, иногда и больше. Он стал учить в Медоне французских соловьев петь по-русски и достиг своей цели. Восхищенный живым рассказом об оригинальном поступке эмигранта я сказал Борису Алексеевичу, что ему нужно напечатать этот рассказ. Через два месяца мы читали в «Новом Русском Слове» рассказ «Соловей», написанный так же живо, как он был рассказан.

В мае Борис Алексеевич сказал нам, что хочет нарисовать мой портрет и подарить его Андрею. Состоялось девять сеансов, во время которых был нарисован портрет карандашом и после этого Борис Алексеевич стал дома писать портрет маслом. Своей сестре Спечинской он писал в Вашингтон, как он гордится тем, что ему удалось написать портрет такого философа, как Лосский.

У Бориса Алексеевича живут в США две сестры и у Марии Александровны сестра. В июне они поехали на автомобиле в Вашингтон. В ста милях от Вашингтона автомобиль их свалился с горы и оба они погибли. У Марии Александровны был сломан позвоночник около шеи, следовательно, смерть должна была наступить моментально, а у Бориса Алексеевича была продавлена грудь и он умер по дороге в госпиталь, не приходя в сознание. Гибель их произвела потрясающее впечатление на всех нас, любивших и высоко ценивших их. Трудно примириться с мыслью, что так внезапно и насильственно прекращена жизнь этих двух лиц, способных к плодотворной работе и доброму общению со своими друзьями.

По окончании осеннего семестра 1957/58 года Андрей получил право не читать лекций в весеннем семестре (sabbatical semester) и в начале февраля мы поехали в Европу на семь месяцев. Восьмого февраля, когда нам оставалось менее суток до приезда в Гавр, мы получили на пароходе радиограмму „Vladimir décédé“ (Владимир умер). Седьмого февраля он

скоропостижно умер от сердечного припадка. За день до этого он пережил радостное для него событие: сын его Иван приехал из Соединенных Штатов в Париж, куда его перевели, чтобы он служил в американской армии, как переводчик с французского на английский и с английского на французский языки.

Заупокойную литургию по Владимире служили два епископа Патриаршей Церкви, епископ Николай и из Лондона прилетел епископ Антоний (Блюм), сказавший хорошее слово при отпевании. В сослужении было 14 духовных лиц всех юрисдикций, настолько Владимир пользовался известностью и уважением. Похоронен он на кладбище в St.e Geneviève des Bois.

Многолетний труд Владимира о Мейстере Экгарте, который он писал при Сорбонне, как диссертацию, был почти закончен им. Его шеф профессор Gondillac, читавший готовые главы труда и одобрявший их, сказал, что труд этот будет напечатан. В Богословском Институте St. Denis Владимир читал по-французски «Курс догматического богословия». Слушатель его француз, принявший православие, Olivier Clément, стенографировал этот курс. Свою запись Clément прочитал Владимиру, признавшему, что его мысли переданы точно. Книга эта будет напечатана. Книга Владимира „Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient“ переведена на английский язык и в 1957 г. издана в Лондоне.

Андрей работал в архивах Парижа, Лондона, Гааги и Амстердама, а я жил большею частью в городе Tours у сына своего Бориса. В Лондон мы поехали вместе с Андреем и провели там апрель, живя в дружеской нам семье Duddington'ов. Мистеру Duddington'у было в это время 93 года. При общении с ним всегда получалось впечатление, что он обладает несокрушимым здоровьем. Поэтому тяжело было заметить в средине апреля, что жизненные силы его ослабевают. Сын его Александр, доктор психиатрии, устроил отца в хорошей клинике, где у него нашли диабет и болезнь почек. Через несколько дней он в клинике скончался. Согласно его завещанию тело его было сожжено. Наш приезд в Европу крайне омрачился двумя смертями.

Борис получил из Лувра ответственное поручение устроить в Париже в здании Orangerie выставку «Французское ис-

кусство и Европа». Работу эту, требовавшую переписки со многими государствами, Борис удачно выполнил и выставка открылась в июле. Живя в Туре, я познакомился благодаря Борису со многими ценными трудами по истории искусства. Между прочим, нашлись у него и труды советских ученых, например ценная книга Жидкова «Русское искусство XVIII века».

В Тур приехала из СССР группа учителей французского языка для усовершенствования своих знаний языка. В Туре они пробыли только несколько дней, но успели зайти в Музей. Борис показал им свое детище, делая интересные пояснения. На прощание они в знак благодарности подарили ему альбом большого формата «Левитан», изданный в 1957 году. В нем находятся воспроизведения лучших картин Левитана. Даже и такая картина, как «Над вечным покоем» помещена в альбоме.

Внук мой Иван написал оригинальную драму на английском языке. Сущность ее такая. Отец семьи во время ссоры с женою и дочерью упал в обморок, продолжавшийся несколько минут. Это время наполнено было для него сложными переживаниями. Ему казалось, что он умер и попал в учреждение, где определяли, какие души отправить в рай и какие в ад. Его душа была отправлена в ад, и наказания, которым он подвергался в аду, были весьма своеобразны. Он встречал там лиц, которые были воплощением его пороков. Общение с ними было мучительно. Переживания его, длившиеся в действительности несколько минут, были так сложны, что, ему казалось, они наполняют несколько столетий. Когда он очнулся после обморока, он не мог сочетать пережитое с окружавшею обыденною действительностью и сошел с ума.

В июле Иван стал женихом студентки Сорбонны Моники Laffitte, занимавшейся в университете изучением химии. Отец ее — крупный промышленник в Бордо. В средине ноября состоялась свадьба их.

Из Франции мы вернулись в Лос-Анжелес 20 сентября. Началась обычная академическая деятельность Андрея. Но вскоре наша жизнь осложнилась важным семейным событием. Девятого ноября у Ирины родилась дочь, имя которой

будет Мария. Ребенок этот — крепенький, сильный, хорошо оформленный.

В 1957 и 1958 гг. я написал несколько статей, которые дадут мне много врагов. Во мне вызывает отвращение индусское учение об Атмане. Не будучи специалистом по индусской философии, я не мог написать статью об этом понятии. Но мне повезло. Монах Вивекананда, умерший в 1903 году, прочитал в конце девятнадцатого века ряд лекций в Соединенных Штатах и Великобритании. Пользуясь успехом, он основал во многих городах «Миссии Рамакришны», своего религиозного учителя, считаемого воплощением Бога. Одна из этих «Миссий» находится в Лос-Анжелесе. При ней есть храм Vedanta Temple и печатается небольшой журнал „East and West". В числе советников редакции находятся американский философ культуры Gerald Heard и знаменитый английский писатель Aldous Huxley. Почитатели Вивекананды недавно напечатали лекции его. Прочитав эту большую книгу, я мог написать статью «Индусское учение об Атмане» (Учение Вивекананды)». Она будет напечатана в „Anglican Theological Review" в январе 1959 года.

В «Богословском Сборнике» Св. Тихоновского монастыря напечатана моя статья «Христианство и буддизм», показывающая, до какой степени буддизм есть религия, противоречащая природе человека. Сущность ее знают, конечно, лишь ученые монахи, а не народные массы. Летом я написал статью «Учение отца Сергия Булгакова о Всеединстве и о Божественной Софии». Я большой почитатель творчества отца Сергия, но его учение об Абсолютном, как Всеединстве, так что всё положительное содержание мира находится в Боге (панэнтеизм и даже пантеизм), ведет к большим недостаткам его системы. В русской философии четыре выдающиеся философа придерживаются этого учения, — Вл. Соловьев, от. Сергий Булгаков, С. Л. Франк и Л. П. Карсавин. От. В. Зеньковский написал хорошую статью «Идея всеединства в философии Вл. Соловьева». Узнав от него, что у него нет времени, чтобы написать аналогичную статью об от. Сергии Булгакове, я взялся за эту работу. Самое большое количество врагов, и притом ожесточенных, вызовет моя статья «Украинский и белорусский сепаратизм». В ней я сообщаю

о нелепых подделках истории, производимых фанатиками украинского сепаратизма. Статья эта будет напечатана в «Гранях».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Двинский уезд, в котором мой отец родился и провел детство, вошел после второй мировой войны в состав Латвийской ССР. Не знаю, под каким названием надлежит искать в нем Креславку. Теперешнюю Дагду последняя Советская Энциклопедия характеризует как «поселок городского типа» со средней школой, клубом, домом культуры, маслодельным и двумя кирпично-черепичными заводами, окруженный богатыми рыбой озерами, льняными полями и пастбищами.

[2] Относительно рода Лосских, польские гербовники различают две семьи носящих это имя но пользующиеся разными гербами, из которых один называется Brodzic, а другой — Rogala. Мы принадлежим ко второй из этих семей, связанной общностью герба с большим количеством (около 75) польских родов, к которым принадлежат также три знакомые нам, тоже обрусевшие, семьи Левицких, Косинских и Завадских. Герб Rogala, на котором изображены олений и турий рог, был пожалован, по геральдическим преданиям, в 1109 году князем Болеславом Кривоустом состоявшему на его службе отважному немецкому рыцарю Биберштейну (до того носившему в своем гербу только один олений рог) после придворной потехи, на которой он сломал рог бросившемуся на него разъяренному туру. Являются ли все «рогалиты» потомками Биберштейнов и восходит ли этот германский род к Пепину Короткому и, через каролингский дом, к богатырям-Нибелунгам, судить нелегко.

Первое известное упоминание имени Лосских герба Rogala встречается в 1432 году. Несколько позже, в 1461 году, Краковский университет даровал степень баккалавра Николаю Лосскому, ставшему впоследствии каноником варшавской епархии. В XVI веке троим Лосским — Кристину, Юрию и Андриану — довелось быть мазовецкими воеводами. В книге Herby rycerstwa polskiego (Kraków, 1858, стр. 655) Бартош Папроцкий пишет: „Dom Chynowskych (т. е. господ вотчины Chynowo) w Mazowszu starodawny, zowią się Łoskimi, w onym kraju Rzeczy Pospolitej znacznie zasłużony, mężowie sławni z tego domu bywali." Известен был также в первой половине XVIII века Франциск-Алоизий Лосский, варшавский подкоморжий, написавший Głosy poetyckie i oratorskie.

К этим, почерпнутым из польских гербовников, данным следует прибавить некоторые семейные предания. Согласно им, наше имя сопровождал przydomek Монтвиц (Mątwic?) и род был как-то «побочно» связан с Боной Сфорца, женою короля Сигизмунда II, который для нее выстроил Вавельский дворец в Кракове. Любивший подтрунивать над «польским гонором» отец, вспоминая о некоторых польских родственниках, называл их иногда с юмористически-напыщенной интонацией „od królowej Bony pochodzące." В какую-то связь с

нашим захудалым родом ставили не утративших знатности потомков реформатора Яна Лаского.

Я слышал тоже, что известная в Бельгии семья Lotsy происходит вероятно от Лосских.

С семьею Лосских, к которой принадлежали знаменитый московский оперный режиссер Владимир Аполлонович и пражский профессор украинского университета Константин Владимирович, родства нам установить не удалось, как отец об этом и пишет в восьмой главе. Возможно, что они были носителями герба Brodzic, а не Rogala. Один из наших польских родственников или однофамильцев был при Наполеоне „chevalier de l'Empire et lieutenant du 2e Régiment de la Vistule" (vte Révérand, Armorial de l'Empire, Paris 1894—97, t. III., p. 147).

[3] Наверное к нашей семье принадлежал и униатский священник Лосский, замученный польскими повстанцами в 1863 году. Однако не знаю, можно ли со всем убеждением утверждать, что он был дедом моего отца, не будучи уверен в том, что отец был осведомлен об этом деле с молодости, а не слышал о нем в первый раз, как и я, только в 1929 году в Праге, от одного знакомого, который присутствовал в семье профессора фан дер Флита на чтении мемуаров (наверное оставшихся неизданными) его матери или тещи, где была рассказана эта ужасная история. Помню однако, что говорилось там не о распятии (это было бы не только зверством, но и кощунством невероятным в «христианской» среде), а о том, что убийцы содрали со своей жертвы заживо кожу.

[4] Девичья фамилия матери моего отца Аделаиды Антоновны была, с обоими przydomkami (не ручаюсь за их орфографическую точность), Przynajło z Przyłąk Przyłęcka. Имена представителей этого рода встречаются в мире краковской магистратуры в XVII веке.

Очень ясно помню ее благообразный старческий облик: невысокую фигуру, в просторном платье или шушуне, довольно строгое, хотя и кроткое лицо, обрамленное вдовьей черной наколкой, медленные и чинные движения. Во всем укладе ее жизни оставалось что-то доброкачественно-провинциальное, напоминавшее наверное обычаи мелкопоместных польских усадеб на белорусской земле. В сочельник «кутья и узвар» (блюда петербуржцам неизвестные) подавались на скатерть, постеленную на рассеянном по столу сене в память вифлеемских яслей. Летом, во время гроз, которые нагоняли на бабушку мистический ужас, творилась непрестанная молитва перед затепленной свечой-«громницей». Широкий образ жизни нашей семьи, с которой «бабушка Лосская» (в отличие от Стоюниной) проводила иногда каникулы (последние разы от 1915 до 1918 года) вызывал в ней несколько боязливое удивление. Очень надеюсь, что мы, дети, не очень огорчали ее своею бестактностью, недостаточно сдерживая усмешки на полонизмы, которыми была полна ее речь: «что ты там маэстришь?», «ходи-ж сюда», «прогоните-ж курей», позднее — «верно-ж повлюблялся» и т. д. Когда наша семья покидала Россию в 1922 году, она дала отцу гравюрку с изображением Остробрамской (или Ченстоховской) Богоматери, которую он всегда носил в своем бумажнике. Умерла она в конце зимы 1925 года.

[5] Тетушку отца Юлию Антоновну Оскерко видел я только в Семенове, когда был четырехлетним ребенком. Помню только ее очки с за-

темненными стеклами и что отец позднее говорил нам о ее тонком чувстве юмора и больших знаниях по части польской генеалогии. По ее указаниям отец составил в молодости что-то вроде нашей родословной, но затерял ее вскоре после.

[6] Детство, проведенное в непосредственной близости к деревне и увлечение в молодые годы естественными науками наложили на всю жизнь моего отца благотворную печать. Действительно, на летних каникулах деревенский житель (в какой-то умеренной степени) пробуждался в нем, и он нам много помогал своим примером и рассказами присматриваться и прислушиваться к растительному и животному миру. Искать в лесу можжевельник, чтобы его подбрасывать в костер, было у нас, как и в его детстве, первой заботой во время пикников.

[7] К Витебску, как и к другим местам, связанным с воспоминанием детства и юности, отец хранил нежные чувства. Когда при нем судили так и сяк о живописи Марка Шагала (который там родился в 1887 году, как раз когда отец был исключен из губернской гимназии), он всегда говорил, что находит во многих картинах этого художника частицы дорогого, ушедшего на задний план его помяти, мира. Когда мне случалось произносить имя Jacob, семьи эбенистов особенно прославившейся в наполеоновское время, ему всегда вспоминалась вывеска мастера тонких столярных изделий на витебской улице, на которой стояло: Жекопныя работы.

[8] Основателей философского кружка, который собирался сначала в доме Метальниковых, а потом у моей бабушки Стоюниной, прозвали в шутку семью мудрецами. В память их приездов в Артек жена С. И. Метальникова, Ольга Владимировна, написала масляной краской их имена на семи больших камнях, стоявших в парке их виллы, на приморском утесе. Несколько лет спустя, когда один из мудрецов оказался недостаточно идеальным супругом, Ольга Владимировна, будучи страстной ревнительницей добрых нравов и прав женщины, столкнула в гневе ногою его камень в море; вскоре после, камень с именем другого, тоже не безупречного в этом отношении члена кружка, «отвáлился сам».

Из семи мудрецов больше всего сблизились с нашей семьей С. А. Алексеев и С. И. Метальников, ставшие позднее крестными отцами меня и сестры Маруси.

Метальниковы жили в Царском Селе и мы нередко ездили к ним в воскресные дни, иногда с Алексеевыми, гулять вместе по дворцовым паркам или на масленицу кататься на вейках. Попав довольно рано в эмиграцию, Сергей Иванович получил лабораторию в парижском Пастеровском Институте и как только мы очутились в свою очередь за границей, связь между нашими семьями восстановилась настолько, что свои студенческие годы в Париже я провел живя у них. После войны, на исходе которой. С И. потерял рассудок, мой отец, проводя в Париже зиму 1945—1946 года, не раз навещал его, дома и в клинике душевнобольных, незадолго до его смерти.

О С. А. Алексееве см. N. Lossky, History of Russian Philosophy, New-York 1951, p. 380 sq.

[9] Плоский серебряный футлярчик для карандаша с надписью «до

свидания», подаренный ему моей матерью в память заграничной командировки 1901 года, отец носил при себе еще, помнится, в Праге и перестал пользоваться им только из-за прекращения фабрикации карандашей соответствующего формата.

[10] В описание тирольской велосипедной экскурсии явно вкрались ошибки топографического характера: чтобы на первом этапе добраться на велосипеде до St. Johann im Pongau, отец должен был покинуть поезд, идущий из Вены, где-нибудь на зальцбургской земле. Landeck находится на западе от Иннсбрука, там где долина Инна становится ущельем, прежде чем перейти в швейцарский Engadin, по которому отец, по всей видимости, и поднялся до Давоса.

[11] Гражданская свадьба моих родителей совершена была в мэрии Женевы, где чиновники переделали нашу фамилию в Losli, на швейцарский лад. Родителям было указано, что их дети, если их рождение будет зарегистрировано в этой мерии, смогут пользоваться правами граждан женевского кантона. О потере этой возможности, для которой в свое время ничего предпринято не было, они пожалели, когда в 1922 году мы попали в изгнание.

Пятиглавая церковка в Vévey, построенная в 1878 году в ложно-московском стиле по рисункам итало-русского архитектора Монигетти на средства графов Шуваловых, стоит до сего дня и обслуживается приезжающим из Женевы православным священником.

[12] Философские разногласия моего отца с его учителем Введенским, переходившие в личные ссоры, были не только темою семейных застольных разговоров, но стали также, в очень преувеличенном виде, притчей во языцех в университетской среде. Помню, как году в 1912 мы возвращались на дачном поезде с какой-то воскресной поездки и сидели с гувернанткой Аденькой, няней Лизой, или кем-то из друзей семьи в отделении вагона, куда родители за отсутствием места не попали. Находившимся тут же чужим студенту и курсистке (в моем воспоминании они слились с парочкой из картины Репина Какой простор!) захотелось поболтать с моей трех- или четырехлетней сестрой Марусей, которая не замедлила им сказать свое имя, фамилию и может быть даже, кто ее папа, после чего незнакомец объявил своей спутнице, употребляя модное, нам непонятное студенческое выражение: «Лосский и Введенский — два антагониста, два врага». В ту же приблизительно эпоху оплошная прислуга ввела в кабинет к отцу какого-то докучного просителя, в котором он распознал пьяницу-стрелка и поспешил, дав ему денег, выпроводить его вплоть до двери на лестницу. Мы, ребятишки, оказались тут же, и я, видя брезгливо-раздраженное лицо отца, робко спросил его: «Это наверно и есть Введенский?», на что ответа не последовало. В общем, как отец и пишет, отношения его с учителем были корректны, и мне известно, что родители время от времени обменивались с его семьей визитами. Я Введенского видел только раз, сопровождая отца на прощальный чай, который кто-то из университетских профессоров устроил у себя осенью 1922 года в честь трех высылаемых за границу коллег: отца, И. И. Лапшина и Л. П. Карсавина. Могу сказать, что оба «антогониста и врага» расстались в последний раз совсем сердечно. О трагической смерти в Чехии дочери и зятя Введенского, О. А. и В. В. Водовозовых, отец пишет в восьмой главе.

[13] Дом Тами и Дейчмана, построенный царскосельским архитектором Данини более менее в духе венского Сецессиона на Кабинетской улице 20, где бабушка и родители занимали с 1904 по 1922 г. соединенные в одну квартиры 21 и 22 на четвертом (по-русски 5-ом), залитом светом этаже и где родились я и младший брат Андрей, мне довелось увидеть в марте 1966 года, на теперешней «улице Правды», принявшей, благодаря «зазеленению», вид бульвара. Проникнуть внутрь, из-за неудобного часа, мне не удалось, как в 1956 году брату Владимиру, которого, когда он назвал себя внуком Стоюниной, радушно провели повсюду, вплоть до наших бывших квартир, теперь занятых классами. Так же сердечно были там приняты, летом 1967 г., моя племянница Екатерина с мужем, Сергеем Аслановым.

[14] Прелестное местечко Brandýs nad Orlicí в восточной Чехии нам довелось посетить вновь в 1932 году, когда мы проводили первое лето на вилле Vinice у Высокого Мыта. Помнится, родители узнали отель, где мы жили в 1906 г., а также и распятие так пугавшее брата Владимира.

[15] Пребывание нашей семьи в Крыму в 1908 году, когда мне минуло три года, уже входит в круг моих личных воспоминаний. Представляю себе, например, отца сидящего на крыльце перед комнатой, где совершалось крещение сестры Маруси, и старающегося маня убедить, что вокруг купели горят не четыре, а три свечи, а четвертая есть только отражение одной из них в застекленной двери. Вижу тоже его полулежащим в тени на шезлонге, с влажным платком на темени, после солнечного удара и себя, недоумевающего, как это солнце может кого-нибудь у д а р и т ь. Также помню его упражнения в ораторской дикции и «постановке голоса», когда, вставши у морского берега на камень, он произносил громко и в замедленном темпе все ту же фразу, которую Володя и я потом повторяли, становясь в ту же позицию: «Кант родился в Кенигсберге в 1724 году и умер там же в 1804 году».

[16] Серия каникул, проведенных в Машуке, была, как мне кажется, особенно благоприятна для творческой работы отца. Большой крытый балкон на верхнем этаже, на который выходила комната родителей и наша детская, и на котором можно было заниматься в любую погоду, открывался на лежащую под ним небольшую лужайку, фоном для которой служила березовая рощица. При воспоминании этого привлекательного вида мне всегда думается (не хочу проверять анахронизм ли это, или нет), что многократно встречающийся в гносеологических построениях моего отца пример березы с ее формой и цветом, колеблящимися ветвями, шелестом и запахом листьев, явился у моего отца на машуковском балконе, при работе, сливавшейся с любовным, всесторонним восприятием природы Средней России. Прибавлю к этому, что «интуитивные березы» (как мы впоследствии их называли в шутку с братом Владимиром) моего отца послужили в одном философском собрании поводом к ехидному замечанию Э. Л. Радлова: «не могу только взять в толк, как это у нас в голове могут расти березы».

[17] К перечислению машуковских дачников 1910 года следует приписать Нину Александровну Струве с пятью сыновьями Петра Бернгар-

довича: Глебом, Алексеем, Львом, Константином и Аркадием. Последнему, моему ровеснику, было пять лет здесь, а не в Швеции (1914 г.), как по ошибке было сказано в рукописи отца.

[18] О судьбе портрета М. Н. Стоюниной, который мог бы стоять в начале каталога произведений Льва Зака (ныне абстрактного художника парижской школы), оставшегося в нашей квартире на Кабинетской улице, мне в 1966 году узнать ничего не удалось. По поводу художников, писавших мою бабушку, прибавлю, что В. А. Серов, незадолго до своей смерти в ноябре 1911 года, собирался, благодаря посредничеству общих знакомых, приняться за ее портрет и предварительно, в виду этого, ему были переданы ее фотографии.

[19] Относительно Наталии Александровны Дэддингтон прибавлю, что большинство переводов на английский язык трудов моего отца принадлежит ее перу.

[20] В рассказ о лете 1914 года проведенном в Швеции внесу следующие дополнения и поправки:

Из Петербурга в Стокгольм через Гельсингфорс плыли мы на только что отремонтированном финляндском пароходе, которого название вошло, лет двадцать перед тем, в русскую поэзию со стихами Владимира Соловьева, заканчивающимися восклицанием «Солнце, солнце опять победило!» и озаглавленными На палубе Торнео. К перечисленным семи лицам следует приписать и Настю Иванову, бабушкину гимназистку-пансионерку. К обратному же пути членов семьи и домочадцев набралось одиннадцать. В Стокгольме остановились мы в Hôtel Excelsior, а по Готскому каналу спускались на ныне еще плавающем пароходе Motalaström, но не до Гетеборга, а до Трольгетского водопада, полюбовавшись на который, мы добрались поездом до Люнгшиле, ближайшей станции от курорта Люкорна. Другое место, где поселились русские друзья, было не город Уддевалла, а селенье Ульвезунд. Все эти местечки сообщались при помощи Motoryachten Drott, управляемого старым моряком Оссианом Андерсоном, который всегда оказывал особые знаки внимания и симпатии бабушке Стоюниной. На обратном пути, когда пароход Gauthiod, после опасной переправы через Ботнический залив, причалил к порту Раумо, находящиеся на нем русские составили благодарственный адрес Нобелю, чтение которого было поручено моему отцу.

[21] В этой части воспоминаний, повествующей о революционном пятилетии нашей жизни, хронологическая последовательность событий соблюдена не всегда и чувствуются во многом тридцать лет зарубежной жизни в эмигрантской среде, относившейся огульно-отрицательно ко всему происходившему на родине. Конечно, с самого начала Революции отец был деятельно-непримиримым и неутомимым противником марксистской идеологии, но рядом с этим считал себя лояльным подданным русского государства и не поддавался (ни до ни после изгнания) психологии пораженчества, за что и терпел немало осуждений от зарубежных соотечественников.

[22] Относительно постепенного возвращения отца к религии могу свидетельствовать о следующем:

До Революции из всей нашей семьи в церковь не ходил только он один. Помню однако, что в революционную весну 1917 года, когда

среди моих классных товарищей (детей 11—12 лет) стали подниматься разговоры о несуществовании Бога, что меня страшно огорчало, я уже знал хорошо, что за утешительными апологетическими аргументами надо было обращаться к отцу. Летом этого года, когда мы по случаю освящения колокола в церкви дачного поселка Карташевки (близ Сиверской) стояли на молебне, отец перекрестился и помню, что меня это поразило, как явление еще совсем непривычное. Говеть после тридцатилетнего перерыва (см. главу II) начал он, может быть, на страстную неделю 1918 года и, во всяком случае, был на духу перед Пасхой 1919 года, у отца Иоанна Слободского, который полгода перед тем хоронил мою сестру Марусю. Помню, что именно в этом году он убедил брата Владимира, переживавшего кризис неверия, не отвращаться от исповеди и причастия (что в следующие годы было бы совсем излишним).

[23] На лекции Бог в системе органического мировоззрения в Доме Искусства (который Ольга Форш прозвала Сумасшедшим кораблем в своей так озаглавленной повести) выступило много оппонентов. Андрей Белый в черной ермолке, которому недоедание придавало аскетический вид, занялся какими-то ментальными построениями, опуская перпендикуляр с одной из вершин пятиконечной звезды на прямую, соединяющую ее противолежащие вершины. Некий Штейн, наверно тоже «вольфилец», блистал мудреными терминами и заключил, что кроме недоумения, лекция вызвать у него ничего не могла. Иванов-Разумник (с которым отец тогда еще знаком не был), вставший на позицию не то байроновского героя, не то Ивана Карамазова, высказался в направлении не отрицания, а неприятия Бога, а пуще всего Его благодати. Какой-то человек, похожий на инженера, восклицал: «Лосский, царь философии, впал в обскурантизм». Смехотворный доктор Шапиро принял понятие «органическое» за «материалистическое». Наконец выскочил милейший полячок по имени Пигулевский и приветствовал присутствующих с тем, что они собрались не для обсуждения житейских или политических вопросов, но на своего рода духовный пир, на что ему было сказано, что говорит он не на тему. В газетах о лекции вышли, конечно, только грубо-невежественные отклики, под которыми вполне мог бы расписаться шекспировский Калибан. Недавно я узнал, что воспоминание о докладе отца нашло место (в более культурной форме) в чьих-то, изданных в Сов. Союзе, литературных мемуарах, где говорится, что среди его слушателей был и Александр Блок, которому оставалось еще полтора года жизни.

[24] Выступление отца на чествовании Гайдебуровской труппы после (а не до) юбилейного представления Свыше наших сил оставило во мне воспоминание довольно тягостное. Главным образом мне самому определенно казалось, что отец хотел во что бы то ни стало усмотреть и раскрыть религиозно-философские глубины и тонкости в пьесе Бьернсона, которая, напротив, слишком хорошо отвечала своему заглавию. Во всяком случае было ясно, что для собравшейся разношерстной публики, и даже для самой труппы, живописно расположившейся полусидя, полулежа на сцене, чтобы слушать похвалы а не доклады, это был «не в коня корм» и не удивительно, что в зале все время раздавался нетерпеливый кашель и скрип складных стульев.

Товарищ Ядвига, исказившая по-своему смысл пьесы Бьернсона, делая из нее грубый инструмент антирелигиозной пропаганды, говорила со всеми повадками тогдашних ораторов. Помнится, было там все: и неизбежная вступительная формула «когда 25 октября...», и упоминание о «наших мозолистых руках», и ритмическое размахивание правой рукою, как будто вбивающей гвозди в голову слушателя. За нею выступил картавящий брюнет, что-то вроде партинструктора, и приветствовал труппу в таком же изысканном стиле: «В вашем театре наши товарищи находили того к о е - ч е г о, чего они не находили в других театрах», причем сложенные щепоткой пальцы правой руки давали понять, что в этом к о е - ч е г о и был «самый цимес» ценимого пролетариатом искусства.

Что же до импровизированного выступления Питирима Сорокина, я помню со всею ясностью, как он, держа перед собою листики с заметками и взглядывая поверх очков на собравшихся, провозгласил в заключение, окая как семинарист: «а вместо чуда... — дохлая ворона». На Нила Сорского он ссылался в какой-то другой речи или лекции.

[25] Вокруг личности живоцерковника Введенского возникало много других недоразумений. Нередко путали его с профессором философии, тоже Александром. А упомянутый Пичулин, священник из интеллигентов (ходивший в рясе, как будто переделанной из бархатного красного дамского платья или занавески), рассказал нам однажды следующее: идя где-то по пригороду, он услышал за собой ускоренные шаги догонявшего его человека и оглянувшись увидел бабу, свирепо размахнувшуюся лопатой, которая должна была через секунду обрушиться на его голову. Увидев его лицо, воинственная незнакомка опустила оружие со словами: «Простите, батюшка, а я-то вас приняла за Введенского».

[26] Отец рассказывал нам еще об одной интересной встрече в здании ГПУ, на Гороховой 2, но уже в тюремном дортуаре, который был, по-видимому, устроен в бывшей полицейской казарме помещавшегося там до Революции Градоначальства. Когда их группу ввели в это мрачное помещение переполненное арестантами, они узнали в одном из них графа Валентина Платоновича Зубова, основателя Института Истории Искусства (в своем особняке на Исаакиевской площади), продолжавшего быть директором этого учреждения, которое стало после Революции частью Петроградского университета. На новоарестованных он произвел впечатление уже опытного тюремного обывателя, успевшего преодолеть в себе отвращение к похлёбке из селедочных голов и хвостов.

Об этой встрече вспоминает и гр. В. П. Зубов в своих недавно вышедших мемуарах «Страдные годы России».

[27] По поводу «добродушной жестокости» следователя Козловского (с ним, кажется, имела дело лет пять спустя Т. В. Сопожникова-Чернавина, автор воспоминаний Ж е н а В р е д и т е л я), вспоминаю нечто подобное из того же времени. Сидя у парикмахера, придурковатого парнишки Остапковича (который походил было в бабушкину гимназию, но скоро вернулся к семейному ремеслу) я ему сказал, что моего отца и других арестованных профессоров скоро выпустят ввиду высылки за границу, на что он мне ответил с важностью осведомлен-

ного человека: «Как бы не так, определенно всех расстреляют», так просто, как если бы говорил мне, что сейчас пойдет дождь.

[28] На рассвете 16-го ноября, отчаливающий пароход Preussen провожало всего человек шесть—семь из наших близких. Большая же толпа друзей всех отплывающих, в значительной мере нашей семьи, отцовских и бабушкиных учеников и учениц и наших товарищей и товарок по школе и университету, к которой присоединился Кареев, собралась на несколько часов долгой посадки накануне вечером.

Тоже много народу из бабушкиных эмигрировавших гимназисток и из московской группы высланных встретило петербургскую группу три дня спустя на Stettiner Bahnhof в Берлине.

[29] Причина поздней натурализации брата Владимира другая. Свои хлопоты о французском подданстве он предпринять смог только перейдя тридцатилетний возраст (после 1933 года), чтобы избежать необходимости отбывания воинской повинности, которая лишила бы его многодетную семью средств к существованию.

[30] Борящегося с сердечными припадками отца видеть мне больше всего приходилось в Праге, зимою 1925—26 года. Помнится, тогда же он обратился за рентгенологическим исследованием к одному русскому радиографу, который нашел, что аорта его расширена чуть ли не вдвое, что, конечно, самочувствия отца не улучшило. Нам говорили, что на рентгеновской проекции соседство пищевода могло дать ложный образ расширенной аорты, к чему я прибавил бы, что в подсознании, если не в сознании, врача мог присутствовать часто высказываемый им принцип, что «для спасения родины русских либералов надо систематически уничтожать». По счастию кто-то убедил отца обратиться за более точным исследованием в одну немецкую кардиологическую клинику, где ширина аорты была найдена „an der Grenze der normalen". Последний раз преодолевающего сердечный припадок отца видел я летом 1930 года в Париже на Gare de l'Est, при выходе из поезда после утомительного путешествия из Праги. С того времени, т. е. с шестидесятилетнего возраста, он мог вполне считаться человеком со здоровым сердцем, каковым его и находили врачи Русского Дома, в котором он провел последние годы жизни.

[31] По моим воспоминаниям это знакомство завязалось в самом начале нашего пребывания в Праге, зимою 1923 года, когда Г. М. Катков был еще начинающим студентом Карлова университета. Краус пришел к отцу с визитом в «Свободарню», вместе с каким-то, желавшим с ним познакомиться, английским или американским философом.

[32] С Магдалиной Шапиро, ставшей его женою, брат Владимир познакомился на собраниях Русского Студенческого Христианского Движения. Отец ее был до Революции директором Сибирского банка в Москве. Она умерла в марте 1968 г. и похоронена в могиле брата на кладбище Ste Geneviève des Bois, где недалёко лежит и мой отец.

[33] Теперь в русских литературных кругах известно, что С. Я. Эфрон был расстрелян очень скоро по своем возвращении в Россию, в конце 1937 года.

[34] Странным образом, на странице, посвященной Ф. И. Родичеву, ока-

зался забытым с ним связанный, очень памятный для нашей семьи эпизод. В конце 1917 года, скрываясь от неминуемого ареста и, наверно, расстрела, Федор Измайлович как-то появился у нас вечером и прожил неделю или две под инкогнито в кабинете отца, в глубине нашей квартиры, где жизнь, связанная с жизнью бабушкиной гимназии, била ключом, что наверное ему и помогло сбить со следу посланных за ним агентов Чека. Вскоре затем, покинув Петербург, Родичев перебрался, не помню как, за границу.

[35] Нетрудно себе представить, как тяжело было для отца и всей нашей пражской семьи переживание, в конце 1935 года, парижского «Спора о Софии», с газетными статьями и отголосками парижских разговоров, в которых всячески ошельмовывался Владимир Лосский. Одно время казалось даже вероятным, что следствием «благородного негодования» идеологических противников для моего брата могла быть потеря его заработка, на который с трудом существовала его семья, где ожидалось рождение четвертого ребенка. Создавшееся положение побудило моего отца писать трудно формулируемые письма разным лицам, в том числе Бердяеву. К последнему письму бабушка Стоюнина приложила свое, адресованное к супруге Николая Александровича, «от женщины к женщине», но на него ни ответа ни привета не получила, так как Бердяев ответил отцу один, вполне корректно, с заявлением, что позиция, принятая моим братом, была не в духе либеральной традиции семьи Стоюниных и Лосских.

Когда «Спор о Софии» несколько затих, Владимир сделал попытки возобновить человеческое общение с Булгаковым, но не преуспел в этом из-за его злобного окружения. Несколькими письмами они, однако, обменялись и в последнем из них О. Сергий высказал пожелание, чтобы плодом богословского ума и таланта брата был бы не критический, но созидательный труд. Таковым и явился, вышедший вскоре после смерти О. Сергия, его Essai sur la théologie mystique de l'Eglise d'Orient. (Paris, éd. Aubier, 1944).

[36] Умер О. Сергий Булгаков года через три после прощального письма, предназначенного моему отцу. Брат Владимир с женою присутствовали на его похоронах среди многочисленного народа, пришедшего несмотря на трудности передвижения из-за воздушных налетов на Париж.

[37] Православный приход латинского обряда был основан в Париже в начале 1937 года.

[38] Опасность быть арестованным в года «Протектората» была для моего отца довольно реальной. Уже тот факт, что его дети были гражданами и солдатами Франции и Соединенных Штатов, ставил наших родителей в особое положение среди русской колонии. К этому надо прибавить, что в настроениях пражской эмигрантской среды стал нагло доминировать дух пораженчества, подхалимства, презрения к стране, оказавшей ей гостеприимство и ненависти к соотечественникам либерального склада, которых прозвали «белыми жидами». У людей, подходящих более или менее под эту категорию, создался обычай приходить к моим родителям на чай, в условленный «приемный» день недели, и говорить, как будто, на свободе. Однако же это оказалось не совсем верным, потому что, начиная с четвертого или пятого собрания, на второй или третий день отца вызывал к себе от-

ветственный политический старшина «Профессорского Дома» и, доказавши ему, что знает о всем сказанном в его квартире, делал ему соответствующий «превентивный» нагоняй.

Продолжая свои дружеские отношения с пражским православным духовенством и состоя в приходском совете, отец резко осуждал (что в то время требовало большого гражданского мужества) многие предложения и мероприятия, исходившие от его слишком рьяных членов. Так он высказался раз по поводу проекта изгнать с помощью властей из Николаевского собора приход Чехословацкой Национальной Церкви (с которым русский приход делил помещение с начала Первой Республики), что такой низкий поступок заклеймит русскую церковную общину заслуженным позором. Если же к этому прибавить, что от того же совета исходили повестки, с требованием расписки о получении, об обязательном присутствии на молебнах часто неприемлемых по предмету для людей дорожащих свободой совести, то не трудно заключить, что избрание отца на кафедру Братиславского университета и отъезд из Праги спасли его от сильного риска попасть в концентрационный лагерь.

[39] Арестован как бродяга Бетховен был у заставы Wiener Neustadt'a, у которой он оказался заблудившись на прогулке во время летнего пребывания в местечке Baden, расположенном в 22 километрах на север от этого городка. Как раз на полпути между ними находится деревушка Hölles bei Matzendorf, где было Arbeitskommando, откуда я писал родителям в 1941 году.

Свидания же наши состоялись после моего возвращения в Stammlager (Stalag) XVII A, находившемся в деревне Kaisersteinbruch, в пяти километрах от Bruck an der Leitha, в Burgenland. С возвышенной части лагеря виднелась на горизонте гора Theben или Děvín, на которую можно было смотреть с мыслью, что она входит и в поле зрения родителей. Добраться до Kaisersteinbruch'a им удалось два раза: в сентябре 1942 года (в тот же день приехала в первый раз и моя жена из Праги) и в самом начале 1943-го, за пять недель до смерти матери.

[40] Освобождение нашего лагеря из плена произошло в деревне Neukirchen у Braunau (Oberösterreich), 5 мая 1945 года.

[41] Заведующий Культпросветом «Общества советских патриотов» был князь Сергей Сергеевич Оболенский, бывший младоросс, как и большинство членов этого объединения. Хотя обе статьи, написанные отцом для их органа Советский патриот и были аполитичны и явно проникнуты идеалистическим духом, это выступление отца вызвало резкие осуждения в остальной русской зарубежной прессе, даже со стороны таких представителей либеральных тенденций, как Мельгунов, не говоря уже о реакционерах вроде супруги одного из очень видных писателей, которая сказала моей жене, встретив ее на улице, что «все Лосские красненькие».

По этому поводу полезно сказать, что с самого начала своей ученой и общественной жизни, отец был одолеваем потребностью формулировать и проповедовать свои мысли устно или письменно, пользуясь без разбора всеми предоставляемыми ему случаем «трибунами», как это может легко усмотреть читатель этой книги. Отсюда и большинство недоразумений, которыми было время от времени отягощено его существование. Под впечатлением одного из них он сказал мне в

одном письме, что считал должным в своей жизни «поступать как философ, а не только профессор философии».

В течение той же зимы 1945—46 года, прежде чем переселиться из Парижа в Соединенные Штаты, он принимал активное участие в разных собраниях, между прочим в Collège philosophique сорбоннского профессора Jean Wahl'я, где он прочел доклад, не знаю на какую тему. В то время его раздражало распространение теорий Jean-Paul Sartre и раз, прочтя в Figaro статейку, озаглавленную Qu èst-ce que l'existentialisme?, предназначенную для информации салонных снобов и госпож Хохлаковых (каковых и в Париже достаточно), послал в редакцию этой газеты краткую и энергичную критику, заканчивавшуюся выражением „mentalité de femme ménage", которая, как и следовало ожидать, напечатана не была.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

С потрясения, нанесенного отцу смертью брата Владимира, начался постепенный уподок его здоровья и состояния духа.

В начале лета 1960 года он еще погостил у нас в Париже и Туре. Не помню, тогда ли, или два года перед тем, приезжал с ним встретиться один его «заочный ученик» послевоенного времени: Dr. Wilhelm Goerdt, ассистент при философской кафедре Мюнстерского университета, теперь наверное ставший профессором в новом вестфальском университете, недавно основанном в его родном городе Bochum'e. Будучи мобилизован во время последней войны, он попал в плен и, проведя несколько лет на тяжелых физических работах в Сов. Союзе, вернулся на родину со знанием русского языка, которое способствовало его ориентации на философию Лосского. Посетивши его в 1963 году, проезжая через Münster, я видел в его кабинете, вместе с висящими на стенах снятыми им фотографиями отца, почти полное собрание его книг, в оригиналах или фотокопиях.

Wilhelm Goerdt может в настоящее время считаться одним из хранителей философского наследия Лосского, вместе с находящимися в Америке профессорами С. А. Левицким (Washington), Р. В. Плетневым (Montréal) и Л. П. Шеиным (Hamilton, Canada).

В декабре 1960 года, в Los Angeles'e, отцу минуло девяносто лет, и это была грань (как и для бабушки Стоюниной в ноябре 1936 г.) за которой богатая восприятием впечатлений и внутренне осмысленная жизнь очень скоро превратилась в тусклое и тягостное существование. Главным толчком к этому была неудачно сошедшая, хотя и сделанная в дорогой клинике, операция простаты, от следствий которой отец так и не оправился. Дела сложились так, что лучшим выходом для него было переселение на жизнь во Францию, хотя покидая Калифорнию он и терял право на страческую пенсию и больничную кассу.

В начале июня он прилетел в Париж, и когда мы с Магдалиной (вдовой старшего брата) его встретили и довезли до ее квартиры, он нам очень твердо объявил, как бы «раз навсегда», что его организм разрушен, и главное, единственное о чем он молится, есть скорейшее ниспослание ему смерти. К этому он прибавил, что лежать хотел бы на русском кладбище Ste Geneviève, вблизи от могилы сына Владимира.

Несколько дней спустя мы его перевезли в мою семью в Тур, где

он прожил до поздней осени. Тягостно было наблюдать, как с жизненными силами постепенно угасал его рассудок и как механизировалась или просто вырождалась умственная деятельность: разговоры, чтение книг, писание писем. Проснувшись от послеполуденного сна, он очень часто принимал вечер за утро.

С начала октября моя жена, на которую падал весь физический уход за отцом, должна была возобновить свое преподавание русского языка в турских гимназиях, и уже давно перед тем нам стало ясно, что нуждающийся в медицинском надзоре и постоянном дневном и ночном санитарном уходе больной в семейной обстановке зимы провести не сможет. Мысль поместить его в клиническое помещение в Русский Дом в Ste Geneviève-des-Bois оказалась во всех отношениях самой удачной. Директриса дома, княгиня Мещерская, знакомая семьи Владимира, пошла навстречу нашему проекту, обещав принять отца в качестве платного пансионера. Скрепя сердце, мы одним вечером объяснили положение отцу, и он с большой простотой и понятливостью одобрил наш план. В начале ноября, бывший тогда во Франции младший брат Андрей заехал в Тур на автомобиле, и мы втроем направились в Русский Дом.

Магдалина и я навещали там отца регулярно, она чаще, а я, живя в провинции, реже. Первое время мы его заставали сидящим за столом перед начатым письмом или открытой книгой, которую он явно не читал. Слушал он наши рассказы внимательно и как будто все понимая, но с течением времени память стала его покидать и те же вопросы стали механически возвращаться раз пять на протяжении получаса. Года два спустя, многие вещи уже как-то совсем не доходили до его сознания и, разговаривая с ним, я не знал за кого из сыновей он меня принимает. В начале 1965 года столо ясным, что жизнь его покидает окончательно. На последнем свидании, лежа в постели с закрытыми глазами, он на все мои рассказы говорил неизменно: «всем, всем от меня кланяйся. Угас он вечером 24 января 1965 года «безболезненно и мирно», как будто заснул. Долгожданная им смерть посетила его, как старца на когда-то любимой им гравюре немецкого романтика Alfred Rethel'я, Tod als Freund.

Отпевали его в часовне Русского Дома, а на погребении присутствовала только наша семья и несколько друзей нашего поколения. Через несколько дней стали приходить соболезнования от далеких друзей отца, из которых стоит воспроизвести полностью письмо Федора Августовича Степуна:

«Большое спасибо за Ваше печальное сообщение. Рассуждая рационально, не приходится протестовать, что Ваш отец покинул здешний мир. Он осуществил все, для чего был призван и навсегда вошел в историю русской философской мысли. Хорошо помню возникновение его имени и мое впечатление от его первой прочитанной мною книги «Обоснование интуитивизма». Очень существенна была также его «Логика». Всегда интересны, но для меня в известном смысле спорны, были его поздние религиозно-философские размышления и построения. Пишу Вам все это, только чтобы Вы знали, что я всегда очень интересовался творчеством Вашего отца. Познакомились мы с ним еще в Петербурге, кажется, в доме Стоюниной. Видались потом не слишком часто в Праге, но всегда думали друг о друге. Есть у меня, если не пропало, письмо Николая Онуфриевича, что он как-то хорошо и приветливо подумал обо мне за утренним умыванием. Приятно

было прочесть в Вашем письме, что уже больным, он отозвался на Ваш рассказ о посещении меня в Мюнхене словами: «Живописная у него наружность».

Людей пока что канувшей в вечность России остается совсем не много. Если не считать политиков, то из писателей только двое: Зайцев и я. Странным образом исчезновение людей не уничтожает памяти о том мире, к которому они принадлежали, а даже усиливает ее, чему, конечно, способствует жизнь на чужбине.

Буду очень рад, если Вы мне пришлете воспоминания Вашего отца. Надо думать, что в них много интересного для истории русской философии, да и духовной русской жизни вообще. Надеюсь, что их можно будет напечатать. Все-таки у нас три журнала в эмиграции».

На панихиде в сороковой день после смерти отца, Отец Князев, служивший ее и упомянувший в своем слове других скончавшихся за последние недели русских интеллигентов, Льва Зандера и Отца Василия Зеньковского, объявил также только что пришедшую новость о смерти Федора Степуна.

На могиле моего отца теперь водружен крест работы иконописца Леонида Александровича Успенского, с резными по дереву Распятием, образом Николая Чудотворца и надписью Свят, Свят, Свят Господь Саваоф.

Потомство Н. О. Лосского состоит в настоящее время из следующих членов, начиная с детей и внуков покойных старшего брата Владимира и его жены Магдалины:

Николай, agrégé d'anglais и его жена Вероника (рожд. Бельская), agrégée de russe, оба ассистенты Парижского Университета в Nanterre и в Grand Palais, трое детей: Андрей, Анна и Владимир; — Иван, синхронный переводчик O. N. U. в Женеве и его жена Monique (рожд. Laffitte), служит по электронической части, трое детей: София, Филипп и Николай; — Мария и ее муж Jean-Paul Semon, оба agrégés de russe и ассистенты Парижского Университета в Nanterre, двое детей: Елизавета и Екатерина; — Екатерина и ее муж Сергей Асланов, секретарь Institut d'Etudes Slaves, двое детей: Кирилл и Григорий.

Пушущий эти строки Борис, Conservateur du Musée National du Château de Fontainebleau и его жена Надежда (рожд. Георгиева), maîtresse auxiliaire de russe, двое дочерей: Мария, archiviste-paléographe, замужем за François Avril, membre de l'Ecole Française de Rome, оба работают в Bibliothèque Nationale; — Елена, готовится к вступительному конкурсу в Ecole Nationale des Chartes.

У младшего сына Н. О. Лосского, Андрея, профессора истории XVII века в University of California, Los Angeles, остались от жены Ирины (рожд. Нехорошевой), доктора медицины, погибшей в 1963 г. в автомобильной катастрофе, двое детей: Мария и Алексей, десяти и восьми лет.